

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

БЕЛЛА  
АХМАДУЛИНА



СНЫ  
О  
ГРУЗИИ





БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

СНЫ  
О  
ГРУЗИИ

*Намногомисе милой,  
кекхо мობით —  
ბაღ  
28.11.79*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕРАНИ» ТБИЛИСИ, 1979

P2  
891.71—1  
A954

Редактор-составитель  
Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ

Художник Б. МЕССЕРЕР

А  $\frac{70402-3-44}{M 604 (08)-79}$  108—79

© Издательство «Мерани», 1979

## КОГДА НА НАС ГЛЯДИТ ПОЭТ

Название этой книги не случайно связано с Грузией. В ней собраны произведения Беллы Ахмадулиной самых разных жанров — стихи и поэмы, переводы и проза, в том числе очерковая и критическая, а также живое, удержанное стенограммой или магнитной записью слово поэта. Грузия же и грузинская поэзия представлены здесь в естественном соседстве с Россией, с ликами и судьбами русских поэтов, от которых и ведет, собственно, свою поэтическую родословную Белла Ахмадулина. У них же — у великих русских поэтов двух слившихся в ее душе столетий — наследует она свою сердечную привязанность к Грузии. Нити этого родства проходят через всю книгу, объединяя стихи о Грузии со стихами, задуманными, написанными или же впервые опубликованными в Грузии. Произведения эти неотделимы, вместе с тем, от других пластов и сфер ее творчества, олицетворяя в целокупности, говоря ее же словами, «непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта», возвещая нам дивной музыкой и гармонией своей благородную повесть о том, как приходит к Человеку «сильная, горячая, вечно прекрасная жизнь и одаряет его своим справедливым, несравненным благом». Целомудренная и мудрая в своей гордой и взыскательной, звонкой и великодушной человечности, Музыка ее поэзии, в какие бы русла она ни выливалась, отыскала Белле Ахмадулиной особое, единственно ей предназначенное и сбывшееся место — и в общем могучем течении русской поэзии, в неразрывной последовательности самых высоких ее гребней, и, конечно же, в созвездии ярчайших поэтических светил нашего времени, нашего века. Связь же со временем, родство с веком у нее в крови и не требует заверений в своем благонадежном существовании. И человеческий идеал, бросающий свет на ее

поэзию, вернее, светящийся из самой ее сердцевины, излучаемый ею, — это всегда неповторимое инобытие того бессмертного света, который человечество пронесло, выстраданно и победоносно, через Природу и Историю, через Античность и библейско-евангельские страсти, через Возрождение и штурмы всесветных бастилий, через «век девятнадцатый, железный», но и одухотворенный небывалыми творениями, раздумьями и манифестами, через «конец столетья», когда назрело то, о чем она сама скажет так в своей родословной поэме:

Конец столетья. Резкий крен основ.  
Волненье. Что там? Выстрел. Мешанина.  
Пронзительный русалочий озноб  
вдруг потрясает тело мешанина.  
Предчувствие серьезной новизны  
томит и возбуждает человека.  
В тревоге пред-войны и пред-весны,  
в тумане вечерющего века  
мерцает лбом симбирский гимназист,  
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,  
тот свежий свет так остросеребрист  
и так существенен в судьбе вселенной.

Да, человечество пронесет этот «свежий свет» и передаст с доверием и упованием Новому небу и Новой жизни в этом поднебесье:

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,  
на твоём повороте мгновенном  
электричеством бьет по локтям  
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,  
оглашающий древние своды,  
по огромной округлости губ,  
называющих имя Свободы.

И, как прекрасно и точно сказал об этом Павел Григорьевич Антокольский, «Ахмадулина прежде всего внутри истории, внутри необратимого исторического потока, связывающего каждого из нас с прошлым и будущим... Революционный смысл этих строф как будто не нуждается в подчеркивании. Важно установить только одно: Ахмадулина гораздо прямее в своем гражданском пафосе, нежели обычно представляют себе. Еще и еще раз: она внутри истории. На то она и поэт». И она, конечно, могла бы повторить, по праву, мысль, высказанную Борисом Пастернаком Тициану Табидзе, продолженную им затем в переписке с вдовой поэта: «именно»

но из революционного патриотизма верьте уж лучше себе... Забирайте лучше земляным буравом без страха и пощады, но в себя, в себя. И если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде искать...» «Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом? Только фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово, не заботясь о том, осталось ли у него какое-нибудь значение...» «Все усилия человека должны быть сосредоточены в его деятельности, успешной, смелой и производительной, а остальное доделывает жизнь. В каких-то высших областях существования, каковы любовь (не только женская, но любовь к родине или любовь современников), творчество и пр. это счастье либо дано, либо не дано вовсе, и тут не о чем заботиться, потому что никакими стараниями и хлопотами тут ничего не сделаешь, или это будет подделка». Под этими словами могла бы подписаться и Белла Ахмадулина. Она и подписалась под ними всей своей «успешной, смелой и производительной» деятельностью и своим доверием к жизни (которая и впрямь «доделывает остальное»), своей верностью поэтическому же выражению этого завета, согласно которому надо — «...ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Ведь она же сама при случае выразила по-своему этот поэтический императив:

Мне нравится, что жизнь всегда права,  
что празднует в ней вечная повадка —  
топырить корни, ставить дерева  
и меж ветвей готовить ялод подарка.

Что же касается «высших областей существования», в том числе и любви к родине и современникам, то разве в такой скупой, сдержанной и сосредоточенной концовке стихотворения о дальнем и длительном зарубежном путешествии поэта не больше этого счастливого и обязующего дара, чем в иных хладнокровных рифмованных декларациях? —

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,  
он берет эту ранку на память. Прощай минюлетность.  
Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,  
с недоверием косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.  
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.  
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,  
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.



Тут, по сокровенному смыслу целомудренно приглушенных строк, возникает перезвон с классическими переделкинскими строфами, вылившимися в канун Отечественной войны:

...В горячей духоте вагона  
Я отдавался целиком  
Порыву слабости врожденной  
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии  
И годы войн и нищеты  
Я молча узнавал России  
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,  
Я наблюдал, боготворя.  
Здесь были бабы, слобожане,  
Учащиеся, слесаря...

Это одна, «лицевая», что ли, сторона жизнеотношения поэта, и она не исключает, а предполагает неприятие бесчеловечного начала на земле. И к тому «русалочьему ознобу», пронзившему «тело мещанина» и мещанства, Поэзия и Музыка добавят поистине уничтожающие удары. И тут тоже прав Павел Антокольский, уточнивший: не просто мещанства, а ничтожества. Или, скажем так: мещанства — не в литературно-бытовом только, а в самом безразмерном смысле этого околочеловеческого, возлеюдского, межеумочного порождения, в самой разнообразной его многоликости, в самых многообразных мимикрических его обличиях, с самым широким диапазоном его бездарной и безнравственной самодеятельности — от равнодушия до бешенства, от изобретательнейшего конформизма до скорпионовой жестокости, от домовито-елейного пригласения на казнь до вурдалачьего фашизма, какую бы прописку и какие бы псевдонимы он себе ни избирал...

Но весь этот натиск гневного ямба, дробящего камня, совершается, как мы знаем, лишь во имя «непреклонного добра Труда, Свободы, Любви и Таланта». И под сенью такого, и чистого, и грозного неба вонистину впору встретиться Пушкину с Руставели, Бараташвили с Лермонтовым, Шекспиру с Важа Пшавела, Галактиону с Блоком, Тициану Табидзе с Пастернаком, Шостаковичу с Ладом Гудиашвили, Антокольскому с Симоном Чиковани и Марине Цветаевой с Анной Каландадзе. И растет свои корни, и ветвится родословная, опровергая замкнутость кровного и приветствуя безбрежность духовного родства:

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,  
в предки не взять и родство опровергнуть?  
Ваше — во мне, если в почву вошла  
косточка, — выйдет она на поверхность.

...Прошло двадцать два года с тех пор, как «в почву вошла косточка», с тех пор, как Белла Ахмадулина впервые ступила на грузинскую землю. За это время она много-много раз гостила в Грузии и еще больше думала о ней, чувствовала ее вблизи и на расстоянии, ведя молчаливый о ней разговор с Пушкиным и Лермонтовым, с Галактионом и Пастернаком, с Тицианом Табидзе и Симоном Чиковани, а то и громко, вслух, переговариваясь в дни и ночи дружеских блдений с подвластными ее доброй воле сверстниками и товарищами. Она так глубоко познала душу этой земли, возлюбя ее плоть, такие заветные страницы ее дум, восторгов и вожделений смогла вычитать, такой законченный образ грузина и Грузии поселила в своем сердце, что мало кто дерзнул бы соревноваться с нею в этом постижении, даже среди нас, грузин. Ибо таков закон своего рода «гносеологической оптики» — быт часто заслоняет бытие, и надобно порою землю и ее людей застать врасплох, с пронзительной внезапностью «любви с первого взгляда», или же «с небес поэзии броситься» к ним, чтобы убедиться в их истинной сущности или возродить в себе полноту их познания. И поистине нужно видеть вещие сны, дабы удержать в себе благословенную явь.

А потом ведь есть еще у поэта, да? осилить пути, которые, как и у его инспиратора, неисповедимы. Это и имел в виду Симон Чиковани, когда восклицал, отсылая Белле Ахмадулиной едва ли не самые любимые свои стихи «Армзаского цикла»: «Я просто не могу себе представить, что именно эти стихи переведешь не ты. И вот почему. Этот мой микроцикл родился после мцхетских раскопок, открывших могилу двадцатидвухлетней прекрасной девушки. Эти странные и причудливые строфы были для меня попыткой перекинуть мост в прошлое, проникнуть в него. Я почувствовал это прошлое своим воспоминанием. А воспоминание для меня — особый способ постижения современности. Воспоминание рождается чем-то сегодня увиденным, что будит и тянет за собою память. А кто, кроме тебя, может пройти через эти дебри с живым и трепетным ощущением и истории, и современности...»

Что еще сказать об этом? Разве что сослаться на незабываемый день января 1959 года, когда великий грузинский

ученый Павле Ингороква, как редко кто из своих современников обнявший знаниями и сознанием, душою и «шестым чувством» грузинскую и русскую культуру, увидел опубликованные в «Литературной Грузии» ахмадулинские переводы из **Ашпы** Каландадзе? Он читал их при **Симоне** Чиковани и при мне в редакции журнала «Мнатоби», и если б можно было передать словами впечатление, этими переводами на него произведенное, наверное, это и было бы высшей благодарностью поэту.

...А сны о Грузии не были бы снами о Грузии, если бы в них не отразились волшебные видения добрососедствующих муз — без этого добрососедства Грузия и грузинское слово не мыслили себя с того, по крайней мере, дня, с которого запечатлен тысячелетний путь грузинской словесности. Отсюда скупые, но столь любезные грузинскому слуху и духу армянские, абхазские, балкарские странницы этой книги.

И тут пора сказать об одном из главных чудес, совершившихся в этой книге. Силе, вдохновляющей или инспирирующей поэтов, конечно же ведомо, что часто сам дар больше одаренного, что, как правило, явление поэта глубже, шире и чище персонального носителя поэтического дара, хотя именно личная, человеческая основа избранника удаляется этой инспирации — было бы что возвышать и очищать в ней этой чудодейственной силе. О да. «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», многое в его быту протекает иначе. Но право ссылаться на этот закон имеет лишь тот, кто не таится под сению закона, в том числе и этого. И вот в этой книге объединены в одну дружную семью не просто разные люди, а разные поэты и, следовательно, осталось за бортом поэзии все мелкое, суетное, что в жизни могло духовно и душевно разделять их. В этой книге дружны и «одною круговою порукой добра» связаны поэты, возможно, еще вчера, а может, и сегодня не столь уж любезные друг другу или даже друг с другом в своей повседневной жизни. Остались за бортом поэзии и за границами поэтических душ и инстинкты, нет-нет, а дающие себя знать в эгоизме личном или этническом, духовном или практическом. Конечно, это относится лишь к тем, к кому это относится. И пусть любой из живых наших современников, стихи которого попали в круг поэтических видений создателя этой книги, возрадуется и возгордится всякий раз, отмечая свое совпадение с образом поэта, попавшего в этот круг, и пусть он испытает горечь самоуничижения, если поймает себя на несовпадении с этим обра-

И пусть он и в том, и в другом случае с благодарностью или за поддержкой обратит свои мысли к тем, в этой же книге присутствующим собратям, которых нет с нами лишь физически, чьи образы могут служить ему вечным и немеркнущим образом и в те промежутки жизни, когда он не призван еще Аполлоном — Пушкин ли это или Бараташвили, Лермонтов или Галактион Табидзе, Ованес Туманян или Тициан Табидзе, Аветик Исаакян или Георгий Леонидзе, Борис Пастернак или Марина Цветаева, Симон Чиковани или Дмитрий Шостакович. Эта книга в своих чистых и ясных пределах снимает все мнимые противоречия и благословляет все допущенные в эти пределы души на их истинном пути — пути разума и человечности, то есть все того же «непреклонного добра Труда, Свободы и Таланта».

Так вот и сбывлись они — сны о Грузии.

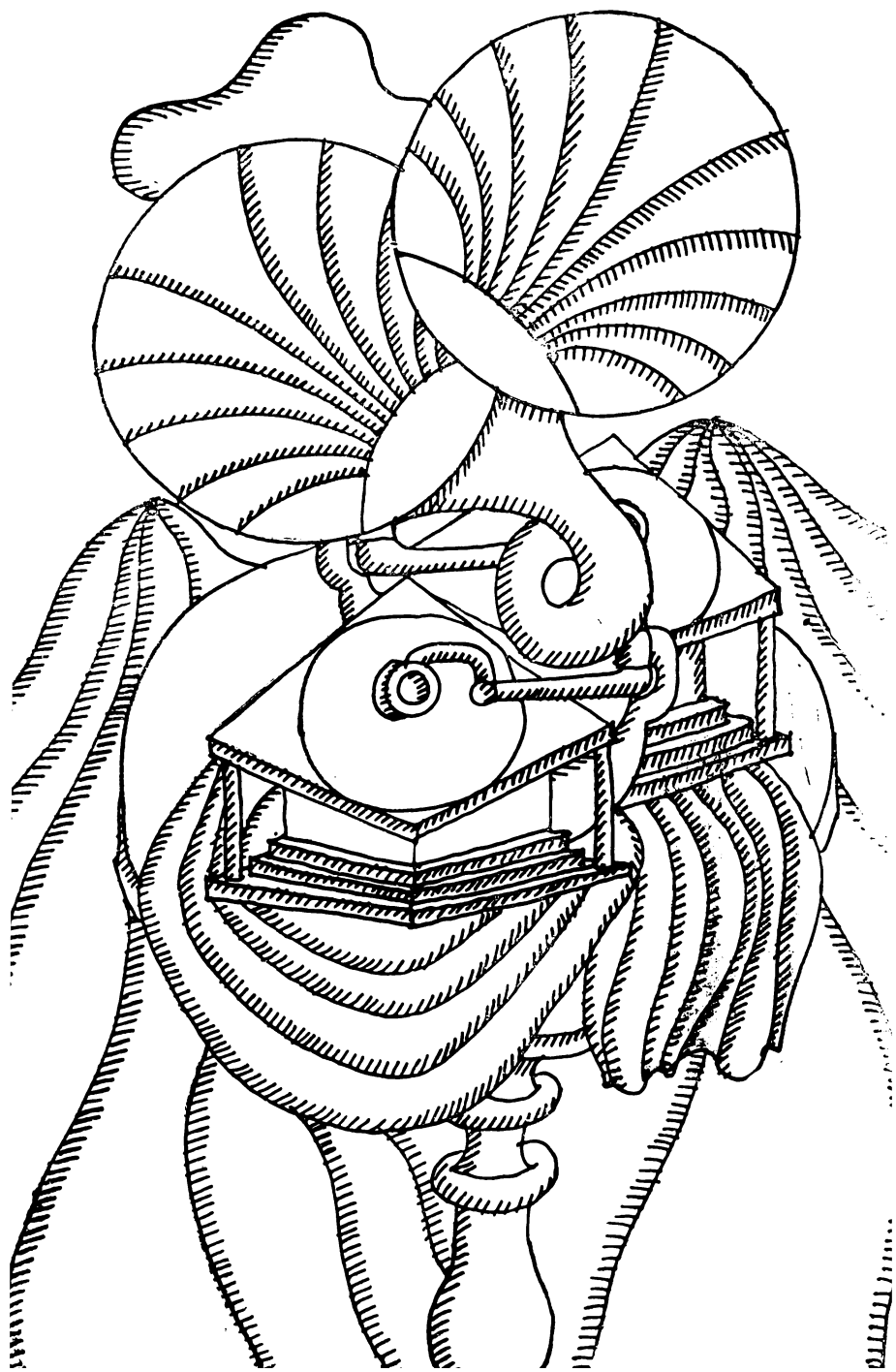
Каким же почтительным напутствием предварить еще и сопроводить эту книгу, что сказать еще о ней, пожелав ей доброго пути? Что она — эта книга — отразила свечение и сияние, богатство и щедрость натуры своего творца? Что нашей же благодарностью поэту должна обернуться ее безоглядная благодарность миру — общая ли это наша — планетарного значения — победа над фашизмом, или грузинская речь, двадцать два года дразнящая уста поэта, каждый раз откликавшегося на ее соблазн — своей родной, сказочной красоты, речью? Что ее непоколебимое доверие к Грузии и вечный ей привет мы-то должны воспринимать как адресованные, так сказать, «субстанционной» Грузии, ее бессмертной «форме», как говорил Пастернак об этой «стране неотсроченной краски и ежесуточной действительности», а если и нам, смертным, то лишь как заклинание, внушение, приказ — быть такими, какими обязывает нас быть эта субстанция, эта форма, и какими продолжает видеть нас любящая сестра наша Русская Поэзия... Сказано же в этой книге, хоть и по иному поводу:

Мы все прекрасны несказанно,  
пока на нас глядит поэт.

Да глядят на нас вечно очи поэта!..

**Георгий Маргвешавили**





# Стихи

## СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радость!  
И под утро так чиста  
виноградная сладость,  
осенившая уста.  
Ни о чем я не жалею,  
ничего я не хочу —  
в золотом Свети-Цховели  
ставлю бедную свечу.  
Малым камушком во Мцхета  
воздаю хвалу и честь.  
Господи, пусть будет это  
вечно так, как ныне есть.  
Пусть всегда мне будут в новость  
и колдуют надо мной  
родины родной суровость,  
нежность родины чужой.

## ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море парусы плутали,  
и, непричастные жаре,  
медлительно цвели платаны  
и осыпались в ноябре.



И лавочка в старинном парке  
бела вставала и нема,  
и смутно виноградом пахли  
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,  
который к морю выбегал  
и выплывал, как черный лебедь,  
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,  
бежала по камням к воде,  
и каблучки по ним ломала,  
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,  
вплетаясь утром в водопад,  
и капли сохли, и мелели,  
и загорались невпопад.

И заглушая олеандры,  
собравши все в одном цветке,  
вitalo имя Ариадны  
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,  
там приникал к воде причал.  
«Цисана!» — из окошка звали,  
«Натэла!» — голос отвечал...



Смеясь, ликуя и бунтуя,  
в своей безвыходной тоске,  
в Махинджаури, под Батуми,  
она стояла на песке.

Она была такая гордая —  
вообразив себя рекой,

она входила в море голая  
и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,  
так шла и шла наискосок.  
Она расстегивала лифчик,  
чтоб сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного  
дразнил и душу бередил.  
Там белое пошло по смуглому,  
где раньше ситец проходил.

Она смеялась от радости,  
в воде ладонями плеча,  
и перекатывались радуги  
от головы и до плеча.

## АБХАЗСКИЕ ПОХОРОНЫ

Две девочки бросали георгины,  
бросали бережливо, иногда,  
и женщины устало говорили:  
— Цветы сегодня дороги — беда...

И с жадным страхом улица глядела  
как девочки ступали впереди,  
как в отблесках дешевого газета  
белым-белели руки на груди.

Несли венки, тяжелые, скупые,  
старушек черных под руки влекли.  
Да, все, что на приданое скопили,  
все превратилось в белые венки.

На кладбище затеяли поминки,  
все оживились, вздрогнули легко,  
и лишь глаза у женщины поникли  
и щеки провалились глубоко.

Но пили, пили стопкою и чашкой —  
и горе отпустило, отлегло,  
и на дороге долго пахло чачей,  
и голоса звучали тяжело.

И веселились песни хоровые,  
забывшие нарочно про беду...  
Так девочку Геули хоронили.  
Давно уже — не в нынешнем году.



— Все это надо перешить, —  
сказал портной, — ведь дело к маю.  
— Все это надо пережить, —  
сказала я, — я понимаю.

И в кольцах камушки сменить,  
и челку рыжую подрезать,  
и в край другой себя сманить,  
и вновь по Грузии поездить.

## ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает.  
На грех наводит, за собой маня.  
Моя работа мне не помогает  
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,  
пишу стихи у краешка стола,  
и все-таки меня снедает ревность,  
когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто,  
и у меня в тбилисском том духано,

в картинной галерее и в кино  
завистливо заходится дыхание.

Когда возводит красную трубу  
печник на необжитом новом доме,  
я тоже вытираю об траву  
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор —  
послушно перенять его пример  
и, пристально прикинув к аппаратам,  
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревце сажать,  
из лейки лить на грядках неполитых  
и линии натурщиц отражать,  
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной  
меня жестоко требует к ответу.  
Но не прошу я участи иной.  
Благодарю скупую радость эту.

## СВЕТОФОРЫ

Светофоры. И я перед ними  
становлюсь, отступаю назад.  
Светофор. Это странное имя.  
Светофор. Святослав, Светозар.

Светофоры добры, как славяне.  
Мне в лицо устремляют огни  
и огнями, как будто словами,  
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смещение  
этих двух разноцветных огней,  
но во мне происходит смещение  
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,  
о, извечно бесчинствовал спор:  
этот добрый рассудок славянский  
и косою азиатский напор.

Видно, выход — в движенье, в движенье,  
в голове, наклоненной к рулю,  
в бесшабашном головокруженье  
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,  
говорю себе: «Погоди».  
Отдаю себя на съеденье  
этой скорости впереди.



Ты говоришь — не надо плакать.  
А может быть, и впрямь, и впрямь  
не надо плакать — надо плавать  
в холодных реках. Надо вплавь

одолевать ночную воду,  
плывущую из-под руки,  
чтоб даровать себе свободу  
другого берега реки.

Недаром мне вздыхалось сладко  
в Сибири, в чистой стороне,  
где доверительно и слабо  
растенья никнули ко мне.

Как привести тебе примеры  
того, что делалось со мной?  
Мерцают в памяти предметы  
и отдают голубизной.

Байкала потаенный омут,  
где среди медленной воды

посверкивая ходит омуль  
и перышки его видны.

И те дома, и те сараи,  
заметные на берегах,  
и цвета яркого саранки,  
мгновенно сникшие в руках.

И в белую полоску чудо —  
внезапные бурундуки,  
так испытующе и чутко  
в меня вперявшие зрачки.

Так завлекала и казнила  
меня тех речек глубина.  
Граненая вода Кизира  
была, как пламень, холодна.

И опровергнуто лукавство  
мое и все слова твои  
напоминающей лекарство  
целебной горечью травы.

Припоминается мне снова,  
что там, среди земли и ржи,  
мне не пришлось сказать ни слова,  
ни слова маленького лжи.



Мне невтерпеж, мне невтерпеж  
от влажности, от полнолуния,  
и я брожу, как полоумная.  
— Вам не в Тергеш? — Мне не в Тергеш.

А парень смотрит из кабины  
и держит дверцу на весу.  
— Вам не в Тергеш? Вот как обидно,  
а я-то думал — подвезу.

— Ну, что же, — говорю, — поедemте,  
а можно сяду я за руль? —  
Смеется: — Разве вы умеете? —  
и не пускает руль из рук.

И рассказала я водителю,  
какая сильная луна.  
Озера с мелкою водицею  
просвечиваются до дна.

— Вот видите, у вас уборка,  
всю ночь не спят грузовики,  
и рядом выглядят убого  
две слабые мои руки.

Да и сама я в них не верила,  
когда еще в Москве жила.  
Я ими поступала ветрено,  
как будто кружево плела.

Но оказалось, что-то есть  
в моих руках необразованных,  
какой-то есть задор и честь  
в их мускулах необрисованных.

К ним долго целина приглядывалась,  
чему-то обучала их.  
Иная линия прокладывалась  
в ладонях нынешних моих.

Вот я переключаю скорости  
навстречу ветру и луне,  
и нет уже той прежней скованности,  
той оробелости во мне.

Водитель слушал, удивлялся,  
кивал устало головой.  
То близок был, то удалялся  
Тергеш за сопкой голубой.

## ДРЕВНИЕ РИСУНКИ В ХАКАССИИ

Неведомый и древний лучник,  
у первобытного огня  
он руки грел. Он женщин лучших  
любил. Он понукал коня.

Но что тревожило рассудок,  
томило, отводило сон?  
О втиснутый в скалу рисунок!  
Как дерзок и наивен он!

Он тяжело рисовал и скупю,  
как будто высекал огонь.  
И близилось к нему искусство,  
и ржал его забытый конь.

Он нежно трогал эти стены.  
Но кто он? Что случилось с ним?  
И долго мы на эти стрелы,  
как бы в глаза его, глядим.

## КЕМЕРОВО

К нам города чужие строги  
и словно замкнуты в себе,  
пока мы озираем стройки,  
не ведая о их судьбе.

Со смутным чувством одиноким  
прошла я на исходе дня  
сибирским городом далеким,  
и он не замечал меня.

В свои заботы и заводы  
он был глубоко погружен  
Дома, деревья и заборы  
Мне нехотя доверил он.



Он восходил дымами в небо  
и мне свободу даровал,  
и все же сумрачно и немо  
смотрел и мне не доверял.

Но вот взошла я на пригорок  
над Томью, и, вздохнув легко,  
мне вдруг открылся этот город  
доверчиво и далеко.

Велик он был. Но кто начало  
его воздвиг, разбил жильё?  
О Кемерово, что означало  
издревле прозвище твое?

И так взволнованно, пристрастно,  
как будто город был моим,  
оглядывала я пространство,  
могуче занятое им.

И город тот, меня проверив,  
гудел, дымил, мерцал огнем.  
Он величав был и приветлив,  
и мне не позабыть о нем.

## ЦВЕТЫ

Цветы росли в оранжерее.  
Их охраняли потолки.  
Их корни сытые жирели,  
и были лепестки тонки.

Им подсыпали горький калий  
и множество других солей,  
чтоб глаз анютин желто-карий  
смотрел круглей и веселей.

Цветы росли в оранжерее.  
Им дали света и земли

не потому, что их жалели  
или надолго берегли.

Их дарят празднично на память,  
но мне — мне страшно их судьбы,  
ведь никогда им так не пахнуть,  
как это делают сады.

Им на губах не оставаться,  
им не раскачивать шмеля,  
им никогда не догадаться,  
что значит мокрая земля.

## ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Какой безумец праздник затеял  
и щедро Днем поэзии нарек?  
По той дороге, где мой след затерян,  
стекается на праздник народ.

О славный день, твои гуляки буйны.  
Я на себя их смелость не беру.  
Ты для меня — торжественные будни.  
Не пировать мне на твоём пиру.

А в публике — доверье и смущенье.  
Как добрая душа ее проста.  
Великого и малого смешенье  
не различает эта доброта.

Пока дурачит слух ее невежда,  
пока никто не видит в этом зла,  
мне остается смутная надежда,  
что праздники случаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,  
не зря, когда звучат их голоса,  
у мальчиков и девочек сияют  
восторгом и неведением глаза.

И снова, как огни мартенов,  
огни грозы над темнотой.  
Так кто же победил — Мартынов  
иль Лермонтов в дуэли той?

Дантес иль Пушкин?  
Кто там первый?  
Кто выиграл и встал с земли?  
Кого дорогой этой белой  
на черных санках повезли?

Но как же так! По всем приметам,  
другой там победил, другой,  
не тот, кто на снегу примятом  
лежал курчавой головой.

Что делать, если в схватке дикой  
всегда дурак был на виду,  
меж тем как человек великий,  
как мальчик, попадал в беду.

Чем я утешу пораженных  
ничтожным превосходством зла?  
Прославленных и побежденных  
поэтов, погибавших зря?

Что расскажу я им о битвах  
ума с безумьем роковым,  
о малых и больших обидах,  
о женщинах, неверных им?

Я так скажу: — На самом деле,  
давным-давно, который год,  
забыли мы и проглядели,  
а все идет наоборот.

Мартынов пал под той горюю.  
Он был наказан тяжело.  
И воронье ночной порою  
его терзало и несло.

А Лермонтов зато — сначала  
все начинал и гнал коня,  
и женщина ему кричала:  
«Люби меня! Люби меня!»

Дантес лежал среди сугроба,  
подняться не умел с земли,  
а мимо медленно, сурово,  
не оглянувшись, люди шли.

Он умер или жив остался —  
никто того не различал.  
А Пушкин — пил вино, смеялся,  
ругался и озорничал.

Стихи писал, не знал печали,  
дела его прекрасно шли,  
и поводила все плечами  
и улыбалась Натали.

Для их спасения — навечно  
порядок этот утвержден,  
и торжествующий невежда  
приговорен и осужден.

## ХЕМИНГУЭЙ

### 1

В стране, не забывающей Линкольна,  
в селе, где ни двора и ни кола,  
как женщина, печальна колокольня.  
По мне, по мне звонят колокола.

По юношам, безвременно погибшим  
на этой победительной войне,  
по женщинам, усталым и поникшим,  
и все-таки они звонят по мне.

По старикам, давным-давно усопшим,  
по морякам, оставшимся на дне,  
по мумиям, загадочным, усохшим,  
и, все-таки — по мне, по мне, по мне.

## 2

Прекрасен не прекрасной синерамой  
тот алчный и надменный материк,  
а тем, что бородатый, синеглазый  
вдоль побережья шествует старик.

О эта чистота на грани детства  
и равенство с прохожими людьми!  
Идет он легкой поступью индейца  
и знает толк в охоте и любви.

К большим ступням он примеряет ласты,  
и волны подступают к бороде,  
и с выраженьем мудрости и ласки  
смеется он, ступает по воде.

О президентов выборы и крики!  
Как там шумят и верховодят всласть...  
И все же книги — как над нами книги  
неумолимо проявляют власть!

Над миром простирается защита,  
защита их отцовской доброты.  
Стоит охотник и солдат. Защита  
его одежда. Помыслы чисты.

И многоопытный свидетель века,  
в том звоне различает он опять:  
о, не обидь, несчастье, человека,  
не смей его у женщины отнять!

В тревоге неумолчной, сердобольной  
туда, к вершине солнца и дождей,  
восходит этот гомон колокольный,  
оплакивая горести людей.

## НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смушаюсь в робею пред листом  
бумаги чистой.  
Так стоит паломник  
у входа в храм.  
Пред девичьим лицом  
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь  
я озираю алчно и любовно,  
чтобы потом пером ее терзать,  
марзя ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок  
недолог. Перевернута страница.  
Бумаге белой нанесен урон,  
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,  
я безрассудно и навечно кану,  
одна среди сияющих листов  
неся свою ликующую кару.

## СТАРИННЫЙ ПОРТРЕТ

Эта женщина минула,  
в холст глубоко вошла.  
А была она милая,  
молодая была.

Прожила б она красивая,  
вся задор и полнота,  
если б проголодь крысиная  
не сточила полотна.

Как металася по комнате,  
как кручинилась по нем.  
Ее пальцы письма комкали  
и держали над огнем.

А когда входил уверенно,  
громко спрашивал вина —  
как заносчиво и ветрено  
улыбалася она.

В зале с черными колоннами  
маскерады затевал  
и манжетами холодными  
ее руки задевал.

Покорялись руки бедные,  
обнимали сторяча,  
и взвивались пальцы белые  
у цыгана-скрипача.

Он опускался на колени,  
смычком далеким обольщал  
и тонкое лицо калеки  
к высоким звездам обращал.

...А под утро в спальне темной  
тихо свечку зажигал,  
перстенок, мизинцем теплый,  
он в ладони зажимал.

И смотрел, смотрел печально,  
как, счастливая сполна,  
безрассудно и прощально  
эта женщина спала.

Надевала платье черное  
и смотрела из дверей,  
как к крыльцу подводят чопорных,  
приозябших лошадей.

Поцелуем долгим, маетным  
приникал к ее руке,  
становился тихим, маленьким  
колокольчик вдалеке.

О высокие клавиши  
разбивалась рука.  
Как над нею на кладбище  
трава глубока.

## МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла  
как повезло нам в этот час,  
когда бегущая пластинка  
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,  
как уж, изъятый из камней,  
но очертания Шопена  
приобретала все слышней.

И тоненькая, как мензурка  
внутри с водицей голубой,  
стояла девочка-мазурка,  
покачивая головой.

Как эта с бедными плечами,  
по-польски личиком бела,  
разведала мои печали  
и на себя их приняла?

Она протягивала руки  
и исчезала вдаль,  
сосредоточив эти звуки  
в иглой расчерченном кружке.

## ВУЛКАНЫ

Молчат потухшие вулканы,  
на дно их падает зола.  
Там отдыхают великаны  
после содеянного зла.

Все холоднее их владенья,  
все тяжелее их плечам,  
но те же грешные виденья  
являются им по ночам.



Им снится город обреченный,  
не знающий своей судьбы,  
базальт, в колонны обращенный  
и обрамляющий сады.

Там девочки берут в охапки  
цветы, что расцвели давно,  
там знаки подают вакханки  
мужчинам, тянушим вино.

Все разгораясь и глупея,  
там пир идет, там речь груба.  
О девочка моя, Помпея,  
дитя царевны и раба!

В плену судьбы своей везучей  
о чем ты думала, о ком,  
когда так храбро о Везувий  
ты опиралась локотком?

Заслушалась его рассказов,  
расширила зрачки свои,  
чтобы не вынести раскатов  
безудержной его любви.

И он челом своим умнейшим  
тогда же, на исходе дня,  
припал к ногам твоим умершим  
и закричал: «Прости меня!»

## САДОВНИК

Я не скрипеть прошу калитку,  
я долго около стою.  
Я глажу тонкую калину  
по загорелому стволу.

И, притаясь в листве веселой,  
смеюсь тихонько в кулаки.

Вот он сидит, мой друг высокий,  
и починает башмаки.

Смешной, с иголкою и с дратвой,  
еще не знает ничего,  
а я кричу свирепо: «Здравствуй!»—  
и налетаю на него.

А он смеется или плачет  
и топчет грядки босиком,  
и красный сеттер возле пляшет,  
в меня нацелясь языком.

Забыв в одной руке ботинки,  
чуждак, садовник, педагог,  
он в подпол лезет и бутылки  
из темноты мне подает.

Он бегаёт, очки роняя,  
и, на меня взглянув тайком,  
он вытирает пыль с рояля  
своим рассеянным платком.

Ах, неудачник мой, садовник!  
Соседей добрых веселя,  
о, сколько фруктов несъедобных  
он поднял из тебя, земля!

Я эти фрукты ем покорно.  
Они солены и крепки,  
и слышно, как скребут по горлу  
семян их острых коготки.

И верю я одна на свете,  
что зацветут его сады,  
что странно засияют с веток  
им совершенные плоды.

Он говорит: — Ты представляешь —  
быть может, через десять лет  
ты вдруг письмо мне присылаешь,  
а я пишу тебе в ответ...

Я представляю, и деревья  
я вижу — глаз не оторву.  
Размеренные ударенья  
тяжелых яблок о траву...

Он машет вилкою с селедкой,  
глазами голодно блестит,  
и персик, твердый и соленый,  
на крепких челюстях хрустит...



О, слово точное — подонки!  
Меж них такая кутерьма.  
Темны их лица и подобны  
одно другому.

Я сама

толкаюсь в их движенье тесном,  
не в силах скрыться в стороне,  
как бы измазанные тестом,  
их руки липнут и ко мне.

Все, что удобно и съедобно,  
так безудержно их влечет.  
Они ко мне добры сегодня  
и обещают мне почет.

Но будут глухи их удары,  
когда придет пора моя,  
и, как надменные удавы,  
они посмотрят на меня.

— Погибнет это дарованье! —  
мне напроорочат за глаза.  
Неведомы и деревянны  
их лики, словно образа.

Им предстоит удел обратный.  
Он их настигнет все равно.

Но сколько предано объятий  
и душ нестойких растлено!

Есть утешение скупое —  
в их жизни, алчной и лихой,  
они наказаны собою,  
своей бездарностью глухой.

## ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки  
надменной отдаленности своей.  
Лунатики протягивают руки  
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознания,  
весомостью дневной утомлены,  
летят они, прозрачные созданы,  
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупое,  
взамен не обещая ничего,  
влечет меня далекое искусство  
и требует согласья моего.

Смогу ли побороть его мученья  
и обаянье всех его примет  
и вылепить из лунного свеченья  
тяжелый осязаемый предмет?..



Человек в чисто поле выходит,  
травку клевер зубами берет.  
У него ничего не выходит.  
Все выходит наоборот.

И в работе опять не выходит.  
И в любви, как всегда, не везет.  
Что же он в чисто поле выходит,  
травку клевер зубами берет?

Для чего он лицо поднимает,  
улыбается, в небо глядит?  
Что он видит там, что понимает  
и какая в нем дерзость гудит?

Человече, тесно ль тебе в поле?  
Погоди, не спеши умереть.  
Но опять он до звона, до боли  
хочет в белое небо смотреть.

Есть на это разгадка простая.  
Нас единой заботой свело.  
Человечеству сроду пристало  
делать дерзкое дело свое.

В нем согласие беды и таланта  
и готовность опять и опять  
эти древние муки Тантала  
на большие плеча принимать.

В металлическом блеске конструкций,  
в устремленном движенье винта  
жажда вечная — неба коснуться,  
эта тяжкая жажда видна.

Посреди именин, новоселий  
нет удачи желанней, чем та,  
не уставшая от невезений,  
воссиявшая правота.

## ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Мороз, сиянье детских лиц,  
и легче совладать с рассудком,  
и зимний день — как белый лист,  
еще не занятый рисунком.

Ждет заполнения пустота,  
и мы ей сделаем подарок:  
простор листа, простор холста  
мы не оставим без помарок.

Как это делает дитя,  
когда из снега бабу лепит, —  
творить легко, творить шутя,  
впадая в этот детский лепет.

И, слава богу, все стоит  
тот дом среди деревьев дачных,  
и моложав еще старик,  
объявленный, как неудачник.

Вот он выходит на крыльцо,  
и от мороза голос сипнет,  
и галка, отряхнув крыло,  
ему на шапку снегом сыплет.

И, стало быть, недорешен  
удел, назначенный молвою,  
и снова, словно дирижер,  
он не робеет стать спиною.

спиною к нам, лицом туда,  
где звуки ждут его намека,  
и в этом первом «та-та-та»  
как будто бы труда немного.

Но мы-то знаем, как велик  
труд, не снискавший одобренья.  
О зимний день, зачем велишь  
работать так, до одуренья?

Позволь оставить этот труд  
и бедной славой утешаться.  
Но — снег из туч! Но — дым из труб!  
И невозможно удержаться.



Влечет меня старинный слог.  
Есть обаянье в древней речи.  
Она бывает наших слов  
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —  
какая вспылчивость и щедрость!  
Но снизойдет и на меня  
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,  
навек проиграв сражение,  
и вот придет на память мне  
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!  
Дитя, наученное веком,  
возьму коня, отдам коня  
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,  
о конь мой, конь мой, конь ретивый.  
Я безвозмездно повод твой  
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,  
в степи пустой и порыжелой.  
А мне наскучил тарарам  
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!  
И на манер средневековый  
ложится под ноги мои  
лишь след, оставленный подковой.

## СНЕГУРОЧКА

Что так Снегурочку тянуло  
к тому высокому огню?  
Уж лучше б в речке утонула,  
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом  
вспорхнула — ноженьки видны —  
и нет ее, она подобна  
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась  
и кончилась ее пора.  
Играть с огнем — вот наша шалость,  
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,  
так нам проходу не дает.  
Ему поддавшись, тело тает  
и телом быть перестает.

Но пуце мы огонь раскурим  
и вовлечем его в игру,  
и снова мы собой рискуем  
и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим,  
в дыму еще неразличим.  
То ль из него живые выйдем,  
то ль навсегда сольемся с ним.



Живут на улице Песчаной  
два человека дорогих.  
Я не о них.

Я о печальной  
неведомой собаке их.



Эта японская порода  
ей так расставила зрачки,  
что даже страшно у порога —  
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая  
и победительно сопя,  
надменным взглядом самурая  
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела  
одна пришла я в этот дом,  
и на диване я сидела,  
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,  
все различавший в тишине,  
пес умудренный, семилетний,  
сидел и думал обо мнe.

И голова его мигала.  
Он горестный был и седой,  
как бы поверженный микадо,  
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пес. Ах, Тошка,  
ты понимаешь все. Ответь,  
что так мне совестно и тошно  
сидеть и на тебя глядеть?

Все тонкий нюх твой различает,  
угадывает наперед.  
Скажи мне, что нас разлучает  
и все ж расстаться не дает?

## НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,  
красивой, завитой,  
под белою навесной  
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки,  
в колечках ледяных,  
чтобы сходились рюмки  
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,  
пророчил сыновей,  
чтобы друзья с подарками  
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,  
тарелки, кружева...  
Чтоб в щеку целовали,  
пока я не жена.

Платье мое белое  
заплакано вином,  
счастливая и бедная  
сизу я за столом.

Страшно и заманчиво  
то, что впереди.  
Плачет моя мамочка, —  
мама, погоди.

...Наряд мой боярский  
скинут на кровать.  
Мне хорошо бояться  
тебя поцеловать.

Громко студья ставятся  
рядом, за стёной...  
Что-то дальше станется  
с тобою и со мной?...

## **КОРОЛЕВА**

Но вот проходит королева,  
качая медленной серьгой.  
Благоговейно кавалеры  
следят за маленькой ногой.

Она похрустывает шелком,  
глубины глаз ее влажны:  
ее ресницами, как шоком,  
мгновенно все поражены.

Как высока ее осанка!  
Держа поднос над головой,  
идет она — официантка  
в кафе под крышей голубой.

Нуждаются в ее советах  
тот посетитель и другой,  
и пики снежные салфеток  
взмывают под ее рукой.

И над прическою короткой  
плывет, надменна и строга,  
ее крахмальная корона,  
холодная, как жемчуга.

## **В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ «СОКОЛ»**

Не знаю, что со мной творилось,  
не знаю, что меня влекло.  
Передо мною отворилось,  
распавшись надвое, стекло.

В метро на остановке «Сокол»  
моя поникла голова.  
Спросив стакан с томатным соком,  
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась  
и говорила невпопад:  
— За красоту твою и милость  
благодарю тебя, томат.

За то, что влагою ты влажен,  
за то, что овощем ты густ,

за то, что красен и отважен  
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,  
направленные вверх и вниз,  
как опаляющие вихри,  
над головой моей неслись.

У каждой девочки, скользящей  
по мрамору, словно по льду,  
опасный, огненный, косящий  
зрачок огромный цвел во лбу.

Вдруг все, что тех людей казнило,  
все, что им было зна~~ть~~ дано,  
в меня впилось легко и сильно,  
словно иголка в полотно.

И утомленных женщин слезы,  
навек прилипшие к глазам,  
по мне прошли, будто морозы  
по обнаженным деревьям.

Но тут владычица буфета,  
вся белая, как белый свет,  
воскликнула:

— Да что же это!

Уйдешь ты все же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,  
пойдем со мною, брось тужить!  
Мы в роще Марьиной прекрасной  
с тобой две Марьи будем жить.

В метро на остановку «Сокол»  
с тех пор я каждый день хожу.  
Какой-то горестью высокой  
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной  
припав, как к доброму стволу,  
потягиваю сок холодный  
иль просто около стою.

## БОГ

За то, что девочка Настасья  
добро чужое стерегла,  
босая бегала в ненастье  
за водкою для старика. --

ей полагался бог красивый  
в чертоге, солнцем залитом,  
щеголеватый, справедливый,  
в старинном платье золотом.

Но посреди хмельной икоты,  
среди убожества всего  
две почерневшие иконы  
не походили на него.

За это — вдруг расцвел цинкорий,  
порозовели жемчуга,  
и раздалось, как хор церковный,  
простое имя жениха.

Он разом вырос у забора,  
поднес ей желтый медальон  
и так вполне сошел за бога  
в своем величье молодом.

И в сердце было свято-свято  
от той гармошки гулевой,  
от вин, от сладкогласья свата  
и от рубашки голубой.

А он уже глядел обманно,  
платочек газовый снимал  
и у соседнего амбара  
ей плечи слабые сминал...

А Настя волос причесала,  
взяла платок за два конца,  
а Настя пела, причитала,  
держала руки у лица.

«Ах, что со мной ты понаделал,  
какой беды понатворил!  
Зачем ты в прошлый понедельник  
мне белый розан подарил?»

Ах, верба, верба, моя верба,  
не вянь ты, верба, погоди.  
Куда девалась моя вера —  
остался крестик на груди».

А дождик солнышком сменялся,  
и не случалось ничего,  
и бог над девочкой смеялся,  
и вовсе не было его.



Я думала, что ты мой враг,  
что ты беда моя тяжелая,  
а ты не враг, ты просто враль  
и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежной  
бросал монету в снег.  
Загадывал монетой,  
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал  
там, в Александровском саду,  
и руки грел, а все обманывал,  
все думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,  
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься,  
в глазах ни сине, ни черно.  
О, проживешь, не опечалишься,  
а мне и вовсе ничего.

Но как же все напрасно,  
но как же все нелепо!  
Тебе идти направо.  
Мне идти налево.



Глубоким голосом пророка,  
дonesшимся издалека,  
«Возьми!» — сказала мне природа  
о чистых струях родника.

Она мне воду даровала,  
назначенную для корней,  
поскрипывая деревянно,  
ступени приводили к ней.

Среди цветов, густых, истошных,  
воды желающих, воды,  
в моих ладонях тек источник.  
В нем были камушки видны.

— Ну, пей же, пей, — земля просила, —  
купайся, запускай суда.  
— Да, да, — сказала я, — спасибо,  
какая чистая вода.

Как все живое к ней стремится,  
как сохнет в горле у него,  
а вот она — ко мне струится,  
желанья ищет моего.

Но я не жажду утоленья.  
Я долго на воду смотрю.  
И медлю я. И промедленья  
никак в себе не поборю.

●

Жилось мне весело и шибко.  
Ты шел в заснеженном плаще,  
и вдруг зеленый ветер шипра  
вздымал косынку на плече.

А был ты мне ни друг, ни недруг.  
Но вот бревно. Под ним река.  
В реке, в ее ноябрьских недрах,  
вайметя пламенем рука.

А глубоко? — Попробуй, смеряй! —  
Смеюсь, зубами лист беру  
и говорю: — Ты парень смелый.  
Пройдись по этому бревну.

Ого — тревоги выраженье  
в твоей руке. Дрожит рука.  
Ресниц густое ворошенье  
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком),  
о, поскорей бы, поскорей!  
над темным холодом, над бойким  
озябшим ходом пескарей.

А ты проходишь по перрону,  
закрыв лицо воротником,  
и тлеющую папиросу  
в снегу кончаешь каблуком.

## ЖАЛЕЙКА

Я уеду ранним утром  
наставленьям вопреки,  
я проснусь в домишке углом  
возле пасмурной реки.



Залюбуюсь сивым дедом,  
что проходит босиком.  
Ах, откройте, что он сделал  
с тем зеленым тростником.

Он спускается с пригорка,  
бабы смотрят из ворот.  
Так ли тонко, так ли горько  
та тростиночка поет!..

Я стою с тяжелой лейкой.  
Спелых грядок не полью.  
Пожалей меня, жалейка,  
что я песен не пою.

Промычало мимо стадо,  
запестрело на лугу...  
Я болею, я устала  
оттого, что не могу.

Водят кони вострым ухом,  
дождь пузырится у ног,  
и метет лебяжьим пухом  
тополиный ветерок.

А по теплым тем сугробам,  
по глубокой той воде,  
все идет с лицом суровым  
дед с тростинкой в бороде.

## ЛОДКА

В траве глубоко и сыро,  
если шагнуть с крыльца.  
Держу я чужого сына,  
похожего на отца.

Держу высоко, неловко  
и говорю: «Смотри!

Видишь, какая лодка  
синяя изнутри!

Возьмем леденцы, орехи,  
что у меня в столе.  
Посмотрим, какие реки  
водятся на земле.

Есть и река смешная.  
Она течет далеко.  
Наверно, она смешала  
воду и молоко.

Сахарных рыб немало  
в гуще ее рябой...»  
Но бровью поводит мама,  
глядя на нас с тобой.

Нам не устроить побега,  
речек не увидеть.  
Сына после обеда  
строго уложат спать.

Окна, закройте плотно,  
лампочка, не гори!  
А сыну приснится лодка,  
синяя изнутри.



Вот звук дождя как будто звук домбры,—  
так тренькает, так ударяет в зданья.  
Прохожему на площади Восстанья  
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали. —  
К его курчавой головенке шикну  
и говорю: — Пусти скорее нитку,  
освободи зеленые шары.

На улице; где публика галдит,  
мне белая встречается собака,  
и взглядом понимающим собрата  
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,  
по бледности я отличаю скрягу.  
Облюбовав одеколону склянку,  
томится он под вывеской «Тэжэ».

Я говорю: — О, отвлекись скорей  
от жадности своей и от подагры,  
прибери богатые подарки  
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везет мне, не везет.  
Меж мальчиков и девочек пригожих  
и взрослых, чем-то на меня похожих,  
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.  
Теней я замечаю удлиненье,  
а также замечаю удивленье  
прохожих, озирающих меня.

## ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,  
меня встречал и в щеку чмокал.  
Как будто рыба из воды,  
сервиз выглядывал из стекол.

И пес выскакивал ко мне,  
как галка маленький, орущий,  
и в беззащитном всеоружьи  
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли  
я шла озябшим делегатом,

и дом смотрел в глаза мои  
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда  
он не навлек, себя не выдал.  
Дом клялся мне, что никогда  
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст. —  
Я говорила: — Где-то, где-то... —  
Он говорил: — И пусть. И пусть.  
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва  
платка или иной приметы,  
но дом твердил свои слова,  
перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.  
О, как он притворился ловко,  
что здесь не падало слезы,  
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор  
смыл все: и туфель отпечатки,  
и тот пустующий прибор,  
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пес забыл,  
с кем он играл, и гвоздик малый  
не ведал, кто его забил,  
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,  
как будто выпал снег и стаял.  
Припомнить не могли цветы,  
кто их в стакан граненый ставил...

О дом чужой! О милый дом!  
Прощай! Прошу тебя о малом:  
не будь так добр. Не будь так добр.  
Не утешай меня обманом

## АВГУСТ

Так щедро август звезды расточал.  
Он так бездумно приступал к владенью,  
и обращались лица ростовчан  
и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.  
Так падали мне на плечи созвездья,  
как падают в заброшенном саду  
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,  
соседей наших клавиши сердили,  
к старинному роялю музыкант  
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.  
О, можно было инструмент расстроить,  
но твоего созвучия со мной  
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,  
так недалеко звезды пролегали,  
бульварами шагали моряки,  
и девушки в косынках пробегали.

Все то же там паденье звезд и зной,  
все так же побережье неизменно.  
Лишь выпали из музыки одной  
две ноты, взятые одновременно.

## АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.  
Вот мальчики — им хочется в походы.  
В апреле изменения погоды  
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,  
так ищешь ты к себе расположенья,  
так ты бываешь щедр на одолженья,  
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,  
приблизिшь ты любое отдаленье,  
безумному даруешь просветленье  
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.  
Нет алчности просить тебя об этом.  
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом  
и свет гашу, и в комнате темно.

## НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,  
вещественных полна примет.  
И нежность обретает внешность  
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой  
вдруг станет на краю стола,  
и ты склонишься удивленный  
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,  
и будут все поражены.  
— Откуда появилась ваза? —  
ты строго спросишь у жены.

— И антиквар какую плату  
спросил? —  
О, не кори жену —  
то просто я смеюсь и плачу  
и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,  
так их паденья тяжелы,

они звенят, как бы стаканы,  
разбитые среди тишины.

За то, что мне тебя не видно,  
а видно — так на полчаса,  
я безобидно и невинно  
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,  
как в горных высях повелось.  
Ты закричишь: — Мне нет покою!  
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,  
не бойся, «чур» не говори —  
то нежности моей кристаллы  
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно  
наколдовала в стороне,  
и вот образовалось нечто,  
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,  
опять играя в эту власть,  
я сохраню тебя от бедствий  
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!  
Забудется игра моя.  
Но сказки твоим малым детям  
останутся после меня.

## НЕСМЕЯНА

Так и сижу — царевна Несмеяна,  
ем яблоки, и яблоки горчат.  
— Царевна, отвори нам! Нас немало! —  
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми  
и в горницу являются гурьбой,  
**здороваются**, кланяются, имя  
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,  
проходят, златом-серебром звеня.  
Но вам своим богатством и бахвальством,  
**царевичи**, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,  
стараясь ради красного словца!  
Но **я** сама слышу я не напрасно  
глупей глушца, мудрее мудреца.

Кричат **они**: — **Какой** верна присяге,  
царевна, ты — в суровости своей? —  
Я говорю: — Царевичи, присядьте.  
Царевичи, по стойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели  
и шапки примеряли к головам?  
На той неделе, **о**, на той неделе —  
смеялась **я**, как не смеяться вам.

Входил **он** в эти визкие хоромы,  
сам из татар, гулявших по Руси,  
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!  
Вина отведай, хлебом закуси».

— А кто он был? Богат **он** или беден?  
В какой он проживает стороне? —  
Смеялась я: — Богат он или беден,  
румян иль бледен — не припомните **мне**.

Никто не покарает, не измерит  
вины его. Не вышло ни черта.  
И все же он, гуляка и изменник,  
не вам чета. Нет. Он не вам чета.



●

В тот месяц май, в тот месяц **мой**  
во мне была такая легкость,  
и, расстилаясь над землей,  
влекла меня погоды летность.

Я так щедра была, щедра  
в счастливом предвкушенье **пенья**,  
и с легкомыслием щегла  
я окунала в воздух перья.

Но, слава богу, стал мой взор  
и пронизательней, и строже,  
и каждый вздох и каждый **взлет**  
обходится мне все дороже.

И я причастна к тайнам дня.  
Открыты мне его явления.  
Вокруг оглядываюсь я  
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,  
над черным снегом нависая,  
как скучно женщины глядят,  
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,  
не соблюдая клумб и грядок,  
чужое бегают дитя  
и нарушает их порядок.

●

О, еще с тобой случится  
все — и молодость твоя.  
Когда спросишь: «Кто стучится?» —  
Я отвечу: «Это я!»

Это я! Ах, поскорее  
выслушай и отвори.  
Стихнули и постарели  
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —  
листик с веточки одной.  
Как же ты стареть собрался.  
не советуясь со мной!

Ах, да вовсе не за этим  
я пришла сюда одна.  
Это я — ты не заметил.  
Это я, а не она.

Над примятою постелью,  
в сумраке и тишине,  
я оранжевой пастелью  
рисовала на стене.

Рисовала сад с травой,  
человечка с головой,  
чтобы ты спросил с тревогой:  
— Это кто еще такой?

Я отвечу тебе строго:  
— Это я, не спорь со мной.  
Это я смешной и стройный  
человечек с головой.

Поиграем в эту шалость  
и расплачемся над ней.  
Позабудем мою жалость,  
жалость к старости твоей.

Чтоб ты слушал и смирялся,  
становился молодой,  
чтобы плакал и смеялся  
человечек с головой.

Нас одурачил нынешний сентябрь  
с наивностью и хитростью ребенка.  
Так повезло раскинутым сетям —  
мы бьемся в них, как малая рыбешка.

Нет выгоды мне видеться с тобой.  
И без того сложны переплетенья.  
Но ты проходишь, головой седой  
оранжевые трогая растенья.

Я говорю на грани октября:  
— О, будь неладен предыдущий месяц.  
Мне надобно свободы от тебя,  
и торжества, и празднества, и мести.

В глазах от этой осени пестро.  
И, словно на уроке рисованья,  
прилежное пишу тебе письмо,  
выпрашивая расставанья.

Гордилась я, и это было зря.  
Опровергая прошлую надменность,  
прошу тебя: не причиняй мне зла!  
Я так на доброту твою надеюсь!

Не уделяй мне много времени,  
вопросов мне не задавай.  
Глазами добрыми и верными  
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,  
по следу следа моего.  
Я знаю — снова не получится  
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости  
хожу, с тобою не дружу?  
Я не из гордости — из горести  
так прямо голову держу.

## СЕНТЯБРЬ

*Ю. Нагибину*

### I

Что за погода нынче на дворе?  
А впрочем, нет мне до погоды дела —  
и в январе живу, как в сентябре,  
настойчиво и оголтело.

Сентябрь, не отводи твое крыло,  
твое крыло оранжевого цвета.  
Отсрочь твое последнее число  
и подари мне промедленье это.

Повремени и не клонись ко сну.  
Охваченный желанием даренья,  
как и тогда, транжирь свою казну,  
побалуй все растущие деревья.

Что делалось! Как напряглась трава,  
чтоб зеленеть с такою полнотою,  
и дерево, как медная труба,  
сияло и играло над землею.

На палисадники, набитые битком,  
все тратилась и тратилась природа,  
и георгин показывал бутон,  
и замирал, и ожидал прироста.

Испуганных художников толпа  
на цвет земли смотрела воровато,  
толпилась, вытирала пот со лба,  
кричала, что она не виновата:

Она не затевала кутерьму,  
и эти краски красные пролиты  
не ей — и в доказательство тому  
казала свои бедные палитры.

Нет, вы не виноваты. Все равно  
обречены менять окраску ветви.  
Но все это, что желто и красно,  
что зелено, — пусть здравствует вовеки.

Как пачкались, как били по глазам,  
как нарушались прежние расцветки.  
И в этом упоении базар  
все понижал на яблоки расценки.

## II

И мы увиделись. Ты вышел из дверей.  
Все кончилось. Все начиналось снова.  
До этого не начислялось дней,  
как накануне рождества Христова.

И мы увиделись. И в двери мы вошли.  
И дома не было за этими дверями.  
Мы встретились, как старые вожди,  
с закинутыми головами —

от гордости, от знанья, что к чему,  
от недоверия и напряженья.  
По твоему челу, по моему челу  
мелькнуло это темное движенье.

Мы встретились, как дети поутру,  
с закинутыми головами —  
от нежности, готовности к добру  
и робости перед словами.

Сентябрь, сентябрь, во всем твоя вина,  
ты действовал так слепо и неверно.  
Свобода равнодушья, ты одна  
будь проклята и будь благословенна.

Счастливы подзащитные твои —  
в пределах крепости, поставленной тобою,  
неуязвимые для боли и любви,  
как мстительно они следят за мною.

И мы увиделись. Справлял свои пиры  
сентябрь, не проявляя недоверья.  
Но, оценив значительность игры,  
отпрянули все люди и деревья.

### III

Прозрели мои руки. А глаза —  
как руки, стали действенны и жадны.  
Обильные возникли голоса  
в моей гортани, высушенной от жажды

по новым звукам. Эту суть свою  
впервые я осознаю на воле.  
Вот так стоишь ты. Так и я стою —  
звучащая, открытая для боли.

Сентябрь добавил нашим волосам  
оранжевый оттенок увяданья.  
Он жить учил нас, как живет он сам, —  
напрягшись для последнего свиданья...

### IV

Темнеет наше отдаленье,  
нарушенное, позади.  
Как щедро это одаренье  
меня тобой! Но погоди —

любимых так не привечают.  
О нежности перерасход!  
Он все пределы превышает.  
К чему он дальше приведет?

Так — жемчугами осыпают,  
и не спасает нас навес,

так — музыкою осеняют,  
так — дождик падает с небес.

Так ты протягиваешь руки  
навстречу моему лицу,  
и в этом — запахи и звуки,  
как будто вечером в лесу.

Так — головой в траву ложатся,  
так — держат руки на груди  
и в небо смотрят. Так — лишаются  
любимого. Но погоди —

сентябрь ответит за растрату  
и волею календаря  
еще изведает расплату  
за то, что крал у октября.

И мы причастны к этой краже.  
Сентябрь, все кончено? Листы  
уж падают? Но мы-то — краше,  
но мы надежнее, чем ты.

Да, мы немалый шанс имеем  
не проиграть. И говорю:  
— Любимый, будь высокомерен  
и холоден к календарю.

Наш праздник им не обозначен.  
Вне расписания его  
мы вместе празднуем и плачем  
на гребне пира своего.

Все им предписанные будни  
как воскресения летят,  
и музыка играет в бубны,  
и карты бубнами лежат.

Зато как Новый год был жалок.  
Разлука, будни и беда  
плясали там. Был воздух жарок,  
а лед был груб. Но и тогда

там елки не было. Там было  
иное дерево. Оно —  
сияло и звалось рябина,  
как в сентябре и быть должно.

## V

Сентябрь — чудак и выживать мастак.  
Быть может, он не разминется с нами,  
пока не будет так, не будет так,  
что мы его покинем сами.

И станет он, покинутый тобой,  
и осень обнажит свои прорехи,  
и мальчики и девочки гурьбой  
появятся, чтоб собирать орехи.

Вот шелкают и потрошат кусты,  
репейники приклеивают к платью  
и говорят: — А что же плачешь ты? —  
Что плачу я? Что плачу?

Наладится такая тишина,  
как под водой, как под морской водою.  
И надо жить. У жизни есть одна  
привычка — жить, что б ни было с тобою.

Изображать счастливую чету,  
и отдышаться в этой жизни мирной,  
и преступить заветную черту  
блаженной тупости. Но ты, мой милый,

ты на себя не принимай труда  
печалиться. Среди зимы и лета,  
в другие месяцы — нам никогда  
не испытать оранжевого цвета.

Отпразднуем последнюю беду.  
Рябиновые доломаем ветки.  
Клянусь тебе двенадцать раз в году:  
я в сентябре. И буду там вовеки.



## ДЕКАБРЬ

Мы соблюдаем правила зимы.  
Играем мы, не уступая смеху,  
и, придавая очертанья снегу,  
приподнимаем белый снег с земли.

И, будто бы предчувствуя беду,  
прохожие толпятся у забора,  
снедает их тяжелая забота:  
а что с тобой имеем мы в виду.

Мы бабу лепим, только и всего.  
О, это торжество и удивленье,  
когда и высота и удлинение  
зависят от движенья твоего.

Ты говоришь: — Смотри, как я леплю. —  
Действительно, как хорошо ты лепишь  
и форму от бесформенности лечишь.  
Я говорю: — Смотри, как я люблю.

Снег уточняет все свои черты  
и слушается нашего приказа.  
И вдруг я замечаю, как прекрасно  
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,  
мимо прохожих, с выраженьем дерзким.  
С лицом таким же пристальным и детским,  
любимый мой, всегда играй в игру.

Поддайся его долговому труду,  
о моего любимого работа!  
Даруй ему удачливость ребенка,  
рисующего домик и трубу.

●

Мы расстаемся — и одновременно  
овладевает миром перемена,  
и страсть к измене так в нем велика,  
что берегами брезгает река,  
охладевают к небу облака,  
кивает правой левая рука  
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,  
да, мая не видать вам никогда,  
и распадается иван-да-марья.  
О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,  
долготы отстранились от широт,  
и белого не существует цвета —  
остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разрухе,  
отливы превращаются в прибой,  
и молкнут звуки — по вине разлуки  
меня с тобой.

●

*К. А. и Я. С. Рыкачевым*

Опять в приюде перемена,  
окраска зелени груба,  
и высится высокомерно  
фигура белого гриба.

И этот сад собой являет  
все небеса и все леса,  
и выбор мой благословляет  
лишь три любимые лица.

При свете лампы умирает  
слепое тело мотылька,  
и пальцы золотом марает.  
и этим брезгает рука.

Ах, господи, как в это лето  
покой в душе моей велик.  
Так радуге избыток цвета  
желать иного не велит.

Так завершенная окружность  
сама в себе заключена  
и лишнего штриха ненужность  
ей незавидна и смешна.

## МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,  
о мотороллер розового цвета!  
Слежу за ним, не унимая слез,  
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку  
с ликующей и гибельной улыбкой,  
кажусь я приникающей к листку,  
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня  
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.  
Две радуги, два неба, два огня,  
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,  
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.  
Вдруг из меня какой-то странный плач  
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,  
и песенки мотив так прост и вечен.

Но, видишь ли, веселый твой полет  
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки  
и не опасно головокруженье,  
что по другую сторону доски  
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,  
твой шум летит в лужайках отдаленных.  
Пока моя походка тяжела,  
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись! — покуда я стою.  
Так лепечи! — покуда я немею.  
Всю легкость поднебесную твою  
я искупаю тяжестью своею.

## ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

Вот к будке с газированной водой,  
всех автоматов баловень надменный,  
таинственный ребенок современный  
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,  
монету влажную он опускает в щелку,  
и, нежным брызгам подставляя щеку,  
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг  
и фамильярность с тайною простую!  
Но нет, я этой милости не стою,  
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,  
несет в ладони семь стеклянных граней,  
и отблеск их летит на красный гравий  
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру  
и поддаюсь с блаженным чувством риска  
соблазну металлического диска,  
и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,  
родится омут сладкий и соленый,  
неведомым дыханьем населенный  
и свежей толчею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,  
пронзают небо в сладости короткой,  
и вот уже, разнеженный щекоткой,  
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа  
взирает с добротой старомодной,  
словно крестьянка, что рукой холодной  
даст путнику напиток из ковша.

## ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,  
когда зима грязна и белоснежна,  
печаль моя печальна не вполне,  
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,  
и лишь твое лицо не лицемерно.  
Рука твоя на голову мою  
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.  
Открытыми объятия ты держишь.  
Все говоры, все шепоты твои  
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,  
чтоб выбирать меж севером и югом.

Свершилась поздней осени беда,  
былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит.  
Живой и мрачной силой он напрягся.  
То, что тебя покинуть норовит, —  
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,  
как будет он использовать свободу.  
Я медленно иду по октябрю,  
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом доме, не знаю почему,  
я бег моих колен остановила.  
Вы пробовали жить в чужом дому?  
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,  
и я могла уйти. Но так случилось,  
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,  
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба  
и потому — с доверьем и тоскою —  
тот слабый скрип, той песенки слова  
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,  
что так, друг друга не опровергая,  
два пустяка природы — он и я —  
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,  
я запою — он отвечать умеет.  
Ну, хорошо. А где же снам моим,  
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,  
где высочайший юноша вселенной  
меж гуч и солнца, меж добра и зла  
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,  
как в медленном недоуменье танца,  
течения Арагвы и Куры  
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.  
Души его воинственна молитва.  
В ней гром мечей, и лошадиный храп,  
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь  
еще живет всей свежестью размаха,  
где малый камень с легкостью вместил  
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?  
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью  
в моем мозгу и чернотой меж век,  
все плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой судьбе,  
в своей нижайшей муке превосходства,  
хотя б сверчок любимому, тебе,  
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,  
где — только-то! — через четыре года  
сомкнется над тобою навсегда  
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам  
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.  
Возьму себе всем зреньем, не отдам,  
и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей  
чужой земли таинственная новость,  
тем яростней соблазн земли твоей,  
нужней ее сладчайшая суровость.

**СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ  
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ  
В ТБИЛИСИ**

Мне — пляшущей под мцхетскую луну,  
мне — плачущей любою мышцей в теле,  
мне — ставшей тенью, слабою длиною,  
не умещенной в храм Свети-Цховели,  
мне — обнаженной ниткой серебра  
продернутой в твою иглу, Тбилиси,  
мне — жившей под звездою, до утра,  
озябшей до крови в твоей теплице,  
мне — не умевшей засыпать в ночах,  
безумьем растлевающей знакомых,  
имеющей зрачок коня в очах,  
отпрянувшей от снов, как от загонов,  
мне — в час зари поющей на мосту:  
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.  
Обугленных желудков нищету  
позолоти своим подарком, хаши»,  
мне — скачущей наискосок и вспять  
в бессоннице, в ее дурной потехе, —  
о господи, как мне хотелось спать  
в глубокой, словно колыбель, постели.  
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.  
Спать — медленно, как пригублять напиток.  
О, спать и сон посасывать, как сладь,  
пролив слюною сладости избыток.  
Проснуться поздно, глаз не открывать,  
чтоб дальше искушать себя секретом  
погоды, осеняющей кровать  
пока еще не принятым приветом.  
Мозг слеп, словно остывшая звезда.  
Пульс тих, как сок в непробужденном древе.  
И— снова спать! Спать долго. Спать всегда.  
Спать замкнуто, как в материнском чреве.



## ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:  
прошай, любить не обязуйся.  
С ума схожу. Иль восхожу  
к высокой степени безумства.

Как ты любил? Ты пригубил  
погибели. Не в этом дело.  
Как ты любил? Ты погубил,  
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет  
тебе прощенья. Живо тело,  
и бродит, видит белый свет,  
но тело мое опустело.

Работу малую висок  
еще вершит. Но пали руки,  
и стайкою, наискосок,  
уходят запахи и звуки.



По улице моей который год  
звучат шаги — мои друзья уходят.  
Друзей моих медлительный уход  
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,  
нет в их домах ни музыки, ни пенья,  
и лишь, как прежде, девочки Дега  
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит **страх**  
вас, беззащитных, среди этой ночи.  
**К предательству таинственная страсть,**  
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!  
Посверкивая циркулем железным,  
как холодно ты замыкаешь круг,  
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!  
Твой баловень, обласканный тобою,  
утешусь, прислонясь к твоей груди,  
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,  
на том конце замедленного жеста  
найти листву, и поднести к лицу,  
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,  
твоих концертов строгие мотивы,  
и — мудрая — я позабуду тех,  
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,  
свой тайный смысл доверят мне предметы.  
Природа, прислонясь к моим плечам,  
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,  
из бедного невежества былого  
друзей моих прекрасные черты  
появятся и растворятся снова.

## МОИ ТОВАРИЩИ

### 1

— Пока! — товарищи прощаются со мной.  
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! —  
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! —  
пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,  
и поднимаются их голоса обратно.  
Им надо долго ехать — до Арбата,  
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памятли давно  
мне все приметы этой обстановки.  
Мои товарищи стоят на остановке,  
и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,  
и что-то занимается другое.  
Закрыв окно, я говорю: — О горе,  
входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,  
они сидели здесь и говорили,  
еще восходит над столом дымок —  
это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.  
Лицо его покойно и довольно.  
И я смотрю и говорю: — Довольно!  
Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: — Я уважаю их.  
Но вряд ли им удастся отличиться.  
— О, им еще удастся отличиться  
от всех постылых подвигов твоих.

Удачам все завидуют твоим —  
и это тоже важное искусство,  
и все-таки другое есть Искусство, —  
мои товарищи, оно открыто им.

И снова я прощаюсь: — Ну, всего  
хорошего, во всем тебе удачи!  
Моим товарищам не надобно удачи!  
Мои товарищи добьются своего!

*А. Вознесенскому*

2

Когда моих товарищей корят,  
я понимаю слов закономерность,  
но нежности моей закаменелость  
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,  
я головой киваю. слаб Андрей!  
Он держится за рифму, как Антей  
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:  
кошунственно венчать «гараж» с «геранью»,  
и все-таки о том судить Гераклу,  
поднявшему Антея над землей.

Оторопев, он свой автопортрет  
сравнил с аэропортом, — это глупость.  
Гораздо больше в нем азарт и гулкость  
напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?  
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?  
Все это так. Но все ж он мой товарищ.  
А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,  
выходит мальчик с резвостью жонглера.  
По правилам московского жаргона  
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,  
как у скворца, поигрывает в горле.  
Люблю и тот, неведомый и горький,  
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нем, хвали или кори,  
есть от пророка, есть от скомороха,  
и мир ему — горяч, как сковородка.  
сжигающая руки до крови.

Все остальное ждет нас впереди.  
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!  
Да будем думать, что они прекрасны!  
Терять их страшно, бог не приведи!

## МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,  
обременяющей чело, —  
мне маленькие самолеты  
все снятся, не пойму с чего.

Им все равно, как снится мне:  
то, как птенцы, с моей ладони  
они зерно берут, то в доме  
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они  
носами глупыми: рыбешка  
так ходит возле ног ребенка,  
щекочет и смешит ступни.

Порой вкруг моего огня  
они толкаются и слепнут,  
читать мне не дают, и лепет  
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми  
ко мне пришли, и со слезами,  
едва с моих колен слезали,  
кричали: «На руки возьми!»

Прогонишь — снова тут как тут:  
из темноты, из блеска ваксы,  
кося белком, как будто таксы,  
тела их длинные плывут.

Что ж, он навек дарован мне —  
сон жалостный, сон современный,  
и в нем — ручной, несоразмерный  
тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,  
иду я на аэродромы —  
следить огромные те громы,  
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты  
всесильный действует пропеллер,  
я думаю — ты все проверил,  
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром  
всех обманул — на самом деле  
ты крошка, ты дитя, ты еле  
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой  
на разных полюсах пространства.  
Наверно боязно расстаться  
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесен,  
во тьме всех позывных мелодий,  
пускай мой добрый, странный сон  
хранит тебя, о самолетик!

## МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,  
в той нищенской, в той суверенной,  
где старомодным чудаком  
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,  
среди беды претенциозной,  
капроновые два крыла  
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,  
во глубине магнитофона,  
уже не защищенный мной,  
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,  
жестокий медиум колдует

и душу слабую мою  
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной  
в зеленом облаке окна  
танцует голосок старинный  
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко  
является чужим очам,  
как будто девочка-сиротка,  
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,  
воспитанный моей гортанью,  
лукавящий на каждом «эль»,  
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,  
моим губам еще родимый,  
вспорхнув, остался в стороне,  
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,  
изведавший ее приятность,  
уж он вкусил свободы той  
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,  
старик к нему взывает снова,  
в застиранные два крыла  
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным  
магнитофон во тьме хлопочет,  
мой бедный голос пятки им  
прозрачным пальчиком шекочет.

Пока я сплю — злорадству их  
он кажет нежные изьяны  
картавости — и снов моих  
нецеломудренны туманы.

## СОН

О опрометчивость моя!  
Как видеть сны мои решаюсь?  
Так дорого платить за шалость —  
заснуть? Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп  
сентябрьский воздух. Все знакомо:  
осенняя пригожесть дома,  
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод  
разделяет сад знакомый  
и говорит, что он законный  
владелец. И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз  
я знала здесь печаль и гордость,  
и нежную шагов нетвердость,  
и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней,  
а нежность — облаком вчерашним,  
а нежность — обмороком влажным  
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена  
меня приветствует жеманно.  
Я говорю: — Как здесь туманно...  
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.  
— Лет сто? Вы шутите?  
— Да нет же!  
Шутить теперь? Когда так нежно  
столетием прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а все свежи  
в ладонях нежности — к родимой  
коре деревьев, запах дымный  
в саду все тот же.



— Не скажи! —

промолвил садовод в ответ.

Затем спросил: — Под паутиной,  
со старомодной челкой длинной,  
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд  
с тех давних пор, когда в кручине,  
не помню, по какой причине,  
вы умерли — лет сто назад.

— Возможно, но — жить так давно,  
лишь тенью в чердаке остаться,  
и все затем, чтоб не расстаться  
с той нежностью? Вот что смешно.



Кто знает — вечность или миг  
мне предстоит бродить по свету.  
За этот миг иль вечность эту  
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не клянупь,  
а лишь благословляю легкость:  
твоей печати мимолетность,  
моей кончины тишину.

## ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне — я проживу  
счастливой нищей, доброй каторжанкой,  
озябшею на севере южанкой,  
чахоточной да злой петербуржанкой  
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу  
той хромоножкой, вышедшей на паперть,  
тем пьяницей, проникнувшим на скатерть,  
и этим, что малюет божью мать,  
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу  
той грамоте наученной девчонкой,  
которая в грядущести нечеткой  
мои стихи, моей рыжея челкой,  
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу  
сестры милосердней милосердной,  
в военной бесшабашности предсмертной,  
да под звездой Марининой пресветлой  
уж как-нибудь, а все ж я проживу.



Однажды, покачнувшись на краю  
всего, что есть, я ощутила в теле  
присутствие непоправимой тени,  
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь  
заметила, что я задула свечи,  
зажженные для сотворенья речи, —  
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла  
к скончанью мук! Не молвила ни слова.  
А это просто возраста иного  
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.  
Но с той поры я мукою земною  
зову лишь то, что не воспето мною,  
все прочее — блаженством я зову.

## СЛОВО

«Претерпевая медленную юность,  
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,  
пишу стихи, мне говорят: порви!  
А вы так просто говорите слово,  
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна»,—  
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,  
хозяевам вслепую спать мешая,  
о воздух спотыкаясь, как о пень,  
стыдясь своей громоздкой неудачи,  
над каждой книгой обмирая в плаче,  
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь—в Перми живет ребенок странный,  
владеющий высокой и пространной,  
невнятной речью, и, когда горит  
огонь созвездий, принятых над Пермью,  
озябшим горлом, не способным к пенью,  
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели  
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье  
гортани, погруженной в темноту,  
была такая чистота проема,  
чтоб уместить во всей красе объема  
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова  
насушный шум, занявший место слова  
там, в легких, где теснятся дым и тень,  
и шее не хватает мощи бычьей,  
чтобы дыханья суетный обычай  
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,  
терзает горло ссадиной кровавой,  
заговорю — и обагрю платок.  
В безмолвие, как в землю, погребенной,  
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,  
который слово выговорить мог.

## НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?  
Кто мой голос из горла увел?  
Не умеет заплакать о нем  
рана черная в горле моем.

Сколь достойны хвалы и любви,  
март, простые деянья твои,  
но мертвы моих слов соловьи,  
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляют уста  
снегопада, обрыва, куста.  
Я кричу, но, как пар изо рта,  
округлилась у губ немота.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной  
вдох мгновенья душою немой,  
не спасет ее выдох иной,  
кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, идохну, илгу,  
что еще не останусь в долгу  
пред красою деревьев в снегу,  
о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс —  
как угодно, нечаянно, пусть!  
И во все, что воспеть тороплюсь,  
воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,  
и любила всех слов имена,  
и устала вдруг, как умерла, —  
сами, сами воспойте меня.

## ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,  
уж целый год не знаю, не умею  
слагать стихи и только немогу  
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,  
четыре строчки в ней, она готова.  
Я не о том. Во мне уже стара  
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.  
Я не о том. Как это прежде было?  
Когда происходило — не строка —  
другое что-то. Только что? — Забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,  
когда шалило голосом так смело,  
само, как смех, смеялось на устах  
и плакало, как плач, если хотело?

## ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —  
достаточно, чтобы озябли ноги.  
Осенние прогулки вдоль дороги  
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как господь.  
Как ангелы на крыльях стрекозиных,  
слетают насморки с небес предзимних  
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж дерев и стен,  
сам для себя неведомый и странный,  
пока еще банальности туманной  
костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,  
но вот тебе с улыбкой добродушной  
простуда шлет свой поцелуй воздушный,  
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник  
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.  
Благоговейно подтверждает Цельсий  
твой сан особый среди людей иных.

Ты слышишь, как шекочет, как течет  
под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас  
определит серебряная точность,  
какой тебе оказывать почет.

И аспирина тягостный глоток  
дарит тебе непринужденность духа,  
благие преимущества недуга  
и смелости недобрый холодок.

## ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук  
в блаженстве той свободы пустяковой,  
когда былой уже закончен труд  
и — лень и сладко труд затеять новый.  
Как труд былой томил меня своим  
небыстрым ходом! Но — за проволочку —  
теперь сполна я расквиталась с ним,  
пощечиной в него вклеивши точку.  
Меня прощает долгожданный сон.  
Целует в лоб младенческая легкость.  
Свободен — легкомысленный висок.  
Свободен — спящий на подушке локоть.  
Смотри, природа, — розов и мордаст,  
так кротко спит твой бешеный сангвиник,  
всем утомленьем вклеившись в матрац,  
как зуб в десну, как дерево в суглинок.  
О, спать да спать, терпеть счастливый гнет

неведенья рассудком безрассудным.  
Но день воскресный уж баклуши бьет  
то детским плачем, то звонком посудным.  
Напялив одичавший неуют  
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,  
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,  
и пробуждает ноздри запах кофе.  
Пора вставать! Бесстрастен и суров,  
холодный душ уже развесил розги.  
Я прыгаю с постели, как в сугроб —  
из бани, из субтропиков — в морозы.  
Под гильотину ледяной струи  
с плеч голова покорно полетела.  
О умывальник, как люты твои  
чудовища — вода и полотенце.  
Прекрасен день декабрьской теплоты,  
когда туманы воздух утолщают  
и зрелых капель чистые плоды  
бесплодье зимних веток утешают.  
Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,  
ликую я — твой добрый обыватель,  
вдыхатель твоей влажности густой,  
твоих сосулк теплых обрыватель.  
Дай созерцать твой белый свет и в нем  
не обнаружить малого пробела,  
который я, в усердии моем,  
восполнить бы желала и умела.  
Играя в смех, в иные времена,  
нога ледок любовно расколола.  
Могуществом кофейного зерна  
язык так пьян, так жаждет разговора.  
И, словно дым, затмивший недра труб,  
глубоко в горле возникает голос.  
Ко мне крадется ненасытный труд,  
терпящий новый и веселый голод.  
Ждет насыщенья звуком немота,  
зияя пустотою, как скворешник,  
весну корящий, — разве не могла  
его наполнить толчеей сердечек?  
Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев  
мне не бродить. Но что все это значит?  
Бумаги белый и отверстый зев  
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,  
наскучившего и опять родного.  
В ладонь склоняясь тяжестью лица,  
я из безмолвья вызволяю слово.  
В неловкой позе у стола присев,  
располагаю голову и плечи,  
чтоб обижал и ранил их процесс,  
к устам влекущий восхождение речи.  
Я — мускул, нужный для ее затей.  
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,  
свершить звукорождение и затем  
забыть меня навеки и покинуть.  
Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.  
Пускай дудит и веселит окрестность.  
А мне опять — заснуть, как умереть,  
и пробудиться утром, как воскреснуть.

## СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода  
от явных чисел века, года, дня.  
Когда? — Неважно. Вот открытость входа  
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,  
ни в деревьях, исполненных любви,  
нет доказательств этого столетья, —  
бери себе другое— и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа  
возвращена в аллеи старины,  
бреду по ним. И встречная старуха,  
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.  
Но в сумерках мои глаза вольны  
увидеть дом, где счастливо семейство,  
где не попад и пылко влюблены,



где вечно ждут гостей на именины —  
шуметь, краснеть и руки целовать,  
где и меня к себе рукой манили,  
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным  
стать тишиною неба и воды, —  
чьи пальчики по клавишам лепечут?  
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,  
тот медленный, затеянный людьми,  
старинный вальс, старинная примета  
чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха  
вести игру, где действуют река,  
пустое поле, дерево, старуха,  
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка  
блуждает там, в беспомысленстве, вдали,  
в той родине, чья странная ошибка  
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок  
трезвеет, рыщет, снова хочет знать  
живых вещей отчетливый рисунок,  
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,  
я слышу, как на диком языке  
мне шлет свое проклятие транзистор,  
зажатый в непреклонном кулаке.

## **В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА**

Впасть в обморок беспомысленства, как плод,  
уснувший тихо среди ветвей и грядок,  
не сознавать свою живую плоть,  
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.  
В нем — мышцы влаги, красота пигмента,  
то тех, то этих действий толчея.  
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравой детей,  
не совладаешь со своим же телом,  
не предусмотритишь всех его затей,  
не расплетишь его переплетений.

И так надоедает под конец  
в себя смотреть, как в пациента лекарь,  
все время слышать треск своих сердец  
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,  
вот отвернусь, но любопытно глазу.  
Так музыка на верхнем этаже  
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,  
под снегом, вырастающим на кровле,  
живу одна и будто бы вдвоем —  
со вздохом в легких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,  
то бьется пульс, как бабочка в ладони.  
Ну, слава богу, думаю, живой  
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,  
мой организм, живой зверек природы,  
верши, верши простую жизнь свою,  
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!  
В глубоком одиночестве, зимою,  
я в власть повеселюсь средь пустоты,  
тесно и шумно населенной мною.

## ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,  
неграмотным я рыщу взглядом.  
Я мало смыслю в декабре,  
что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад — не различить.  
Здесь свадьба двух стихий творится.  
Их совпадение различить  
не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь  
не вклинится! Им не заметен  
медопролитный крах плодов,  
расплющенных объятьем этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!  
Погибнут дождь и сад друг в друге,  
оставив мне решать судьбу  
зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь  
для мимолетной шели светлой,  
чтоб птицы маленькая дрожь  
вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,  
что в промежуток их раздора  
мне б следовало втиснуть дом,  
где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна  
два раза вытерпеть усладу:  
страдать от сада и дождя  
и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нем все мертво!  
Не я ли совершила это?  
Приют сиротства моего  
моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,  
но все ж не то и не настолько,  
чтоб выпрошенной мной бедой  
чужие вышибало стекла.

Все дождь и сад сведут на нет,  
изгнав из своего объема  
не обязательный предмет  
вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нишей конуре  
так возгордиться духом слабым,  
чтобы препятствовать игре,  
затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,  
с ее деревьями и мглою,  
чужое место на земле,  
некстати занятое мною?



Зима на юге. Далеко зашло  
ее вниманье к моему побегу.  
Мне — поделом. Но югу-то за что?  
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду  
растений полумертвые подранки.  
Гнев севера меня имел в виду,  
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?  
Сил не было иметь температуру,  
которая бездомью моему  
не даст погибнуть спяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,  
под натиском ее несправедливым,

я отступала в теплый тыл земли,  
пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,  
повис над морем — если море это:  
волна, недавно бывшая водой,  
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,  
мороз кончины им сулят прогнозы.  
Не твой ли ямб, любовь моей души,  
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне теплицы красоты!  
Я удалюсь и все это улажу.  
Зачем влекла я в чуждые сады  
судьбы своей громоздкую пещлажу?

Мой ад — при мне, я за собой тяну  
суму своей печали неказистой,  
так альпинист, взмывая в тишину,  
с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь — так облаглеть и занестись,  
чтоб дисциплину климата нарушить!  
Вернулась я, и обжигает кисть  
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,  
лишила юг опалы снегопада.  
Сладчайшего цветения прилив  
был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.  
Краса мурашек серебрит мне спину.  
И, в сущности, я псльщена весьма  
влюбленностью зимы в мою ангину.

## ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,  
все слаще обмирает улей.  
Все глубже осень, и душа  
все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив  
плода, из пустяка пустого  
отлитого. Как кропотлив  
труд осению, как тяжко слово.

Значительнее, что ни день,  
природа ум обременяет,  
похожая на мудрость лень  
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед  
влекущее,  
вертя педалью,  
вдруг поглядит на белый свет  
с какой-то ясною печалью.

## БОЛЕЗНЬ

О боль, ты — мудрость. Суть решений  
перед тобою так мелка,  
и осеняет темный гений  
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах  
был разум мой высок и скуп,  
но трав целебных поределых  
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,  
я, с точностью того зверька,  
принюхавшись, нашла свой выход  
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!  
О, всех простить, всем передать  
и нежную, как облученье,  
вкусить всем телом благодать.

Прошаю вас, пустые скверы!  
При вас лишь, в бедности моей,  
я плакала от смутной веры  
над капюшонами детей.

Прошаю вас, чужие руки!  
Пусть вы протянуты к тому,  
что лишь моей любви и муки  
предмет, не нужный никому.

Прошаю вас, глаза собачьи!  
Вы были мне укор и суд.  
Все мои горестные плачи  
досель эти глаза несут.

Прошаю недруга и друга!  
Целую наспех все уста!  
Во мне, как в мертвом теле круга,  
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,  
как в белых дребезгах перин,  
и уж не тягостен мой локоть  
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.  
Жду одного: на склоне дня,  
охваченный болезнью схожей,  
пусть кто-нибудь простит меня.

## ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать  
уж сыплется, уж смотрит с неба.  
Иду и хоронюсь от света,  
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья  
так выразил в сосульках этих!  
И, запрокинув свой беретик,  
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,  
со сладкой льдинкою во рту,  
оскальзываясь, приседая,  
по снегу белому иду.

## ЗИМА

О жест зимы ко мне,  
холодный и прилежный.  
Да, что-то есть в зиме  
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг  
из темноты и муки  
доверчивый недуг  
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,  
заденет лоб мой снова  
целебный поцелуй  
колечка ледяного.

И все сильней соблазн  
встречать обман доверьем,  
смотреть в глаза собак  
и прикипать к деревьям.

Прощать, как бы играть,  
с разбега, с поворота,  
и, завершив прощать,  
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,  
с его пустым овалом,



и быть всегда при нем  
его оттенком малым.

Свести себя на нет,  
чтоб вызвать за стеною  
не тень мою, а свет,  
не заслоненный мною.

## БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Все началось далекою порой,  
в младенчестве, в его начальном классе,  
с игры в многозначительную роль:  
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,  
без промаха — непоправимо мимо,  
чтоб стать любимой менее, чем все,  
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?  
Полюбит ли мышинный сброд умишек  
то чудище, несущее во тьму  
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств  
и счетовод безумств витиеватых  
не зря не любит излученье уст,  
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,  
чей голосок, нечаянно могучий,  
его освобождает от труда  
старательно содеянных созвучий?

В приют ее — меж грязью и меж льдом!  
Но в граде чернокаменном, голодном,  
что делать с этим неуместным лбом?  
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума  
тоску и непомерность превосходства,  
она насквозь минует терема  
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра  
жестокосердно примирится с горем,  
с избытком рокового мастерства —  
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!  
Ты гнал ее, как принято, как надо,  
но мрак твоих обоев и белил  
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,  
с надменностью ты целовал ей руки,  
но все же был лишь захолустьем крыш,  
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,  
с непревзойденным бедствием столицы,  
где рыщет Марс над плесенью воды,  
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,  
чернеет двор последнего страданья,  
где так она нища и голодна,  
как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы  
Елабуге, пред прочею землею.  
Кунсткамерное чудо головы  
изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было горло и рука,  
в пути меж ними станет звук строкою,  
все тот же труд меж горлом и рукою,  
и смертный час — не больше, чем строка.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,  
поглядывать зрачком — красна ль рябина,  
и целый август вытерпеть? О, впрямь  
ты — сильное чудовище, Марина.

## КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком: на крыльце чужом,  
как виселица, криво и отдельно  
поставленном, не приводящем в дом,  
но выводящем из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,  
стесняющий огромный мускул горла,  
так и сидишь, уже отбив, допев  
труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым острием локтей  
ребенка с удивленно улыбкой,  
которой смерть влечет к себе детей  
и украшает их черты улыкой.

Тяжелой болью памяти к тебе,  
когда, хлебная безвоздушность горя,  
от задыхания твоих тире  
до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,  
брала себе тебя и воровала,  
забыв, что ты—чужое, ты—нельзя,  
ты—богово, тебя у бога мало.

Последней исхудалостию той,  
добившею тебя крысиным зубом.  
Благословенной родиной святой,  
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру  
вседобрым африканцем небывалым,  
который созерцает детвору.  
И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,  
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —  
клянусь убить Елабугу твою.  
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

старухи будут их страшать в ночи,  
что нет ее, что нет ее, не зная:  
«Спи, мальчик или девочка, молчи,  
ужо придет Елабуга слепая».

О, как она всей путаницей ног  
припустится ползти, так скоро, скоро.  
Я опущу подкованный сапог  
на щупальцы ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,  
в затылок ей—и продержат подольше.  
Детенышей ее зеленый сок  
мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо  
я брошу в землю, раз земля бездонна,  
ни словом не обмолвись про крыльцо  
Марининогo смертногo бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,  
зловоньем ила, жабами колодца,  
примеривая желтый глаз ко мне,  
убить меня Елабуга клянется.

## УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,  
что, как меня, —  
озябшею гортанью  
не говорю: тебя—как свет! как снег! —  
усильем шеи, будто лед глотаю,

стараюсь вымолвить тебя, как всех,  
учили музыке. (О крах ученья!  
Как если бы, под богов плач и смех,  
свече внушали правила свеченья).

Не ладили две равных темноты:  
рояль и ты — два совершенных круга,  
в тоске взаимной глухонемоты  
терпя иносязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены  
в неразрешимой и враждебной встрече:  
рояль и ты—две сильных тишины,  
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес  
решает дело. Что рояль? Он узник  
безгласности, покуда в до-диез  
мизинец свой не окунет союзник.

А ты—одна. Тебе—подмоги нет.  
И музыке трудна твоя наука —  
не утруждая ранящий предмет,  
открыть в себе кровотечение звука.

Марина, до! До—детства, до—судьбы,  
до—ре, до—речи, до—всего, что после,  
равно, как вместе мы склоняли лбы  
в той общедетской предрояльной позе,

как ты, как ты, вцепившись в табурет, —  
о карусель и Гедике ненужности! —  
раскручивать сорвавшую берет,  
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это все—для красоты  
придуманно, в расчете на удачу  
раз накричатся: я — как ты, как ты!  
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

●

Четверть века, Марина, тому,  
как Елабуга ластится раем  
к отдохнувшему лбу твоему,  
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,  
что тебе удалось как удача,  
я добавлю бесформенный звук  
дважды мною пропетого плача.

Две бессмыслицы — мертв и мертва,  
две пустынности, два ударенья —  
царскосельских садов дерева,  
переделкинских рощиц дерева.

И усилием двух этих кончин  
так исчерпана будущность слова.  
Не осталось ни уст, ни причин,  
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда  
есть свобода и есть безмятежность:

перед кем пламенеть от стыда,  
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?  
Без прощенья, без обещанья  
имена их любовью твоей  
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей  
только два тебе есть утешенья:  
что не знала двух этих смертей  
и воспела два этих рожденья.

## СВЕЧА

Всего-то — чтоб была свеча,  
свеча простая, восковая,  
и старомодность вековая  
так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо  
к той грамоте витиеватой,  
разумной и замысловатой,  
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях  
все чаще, способом старинным,  
и сталактитом стеариным  
займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,  
и ночь прошла, и гаснут свечи,  
и нежный вкус родимой речи  
так чисто губы холодит.

## СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал  
и еще до свершения тьмы  
Переделкино переиначил  
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку  
он отринул и вытер с доски  
и возвысил в полях электричку  
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,  
их ничтожный размер одолев,  
возымела значенье природы  
невеликая сумма деревьев.

На горе, в тишине совершенной,  
голос древнего пенья возник,  
и уже не села, а вселенной  
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,  
сам дивясь, что он здесь и таков,  
пролетел лучезарно здоровый  
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,  
этот лыжник, земля и луна —  
лишь причина для стихосложенья,  
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом  
ясен разум и воля свежа,  
в промежутке меж звуком и словом  
опротчетливо медлит душа.

## МЕТЕЛЬ

Февраль — любовь и гнев погоды.  
И, странно воссияв окрест,  
великим севером природы  
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,  
открыв длину и ширину,  
берет себе непринужденно  
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —  
метель посвящена тому,  
кто эти деревья и дачи  
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное течение,  
сосну, понурившую ствол,  
в иное он вовлек значенье  
и в драгоценность перевел.



Не потому ль, в красе и тайне,  
пространство, загрузив о нем,  
той речи бред и бормотанье  
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,  
вдруг, на мгновенье, прервалась  
меж домом тем и тем кладбищем  
печали пристальная связь.

### СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,  
в глубокий день зимы и снегопада,  
когда душа свободна и проста,  
снегов успокоителен избыток  
и пресной льдинки маленький напиток  
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом, —  
подумать, и увидеть, что Симон  
идет один к заснеженной ограде.  
О, нет, зимой мой ум не так умен,  
чтобы поверить и спросить: — Симон,  
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков  
с твоей землею, где, навек заплакав  
от нежности, все плачет тень моя,  
где над Курой, в объятой богом Мцхете,  
в садах зимы берут фиалки дети,  
их называя именем «Иа»?

И, коль ты здесь, кому теперь видна  
пустая площадь в три больших окна  
и цирка детский круг кому заметен?  
О, дома твоего беспечный храм,  
прилив вина и лепета к губам  
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,  
и в наше время от зимы до лета  
полгода жизни, лёта два часа.  
И приникаю я лицом к Симону  
все тем же летом, тою же зимою,  
когда цветам и снегу нет числа.

Пускай же все само собой идет:  
сам прилетел по небу самолет,  
сам самовар нам чай нальет в стаканы.  
Не будем звать, но сам придет сосед  
для добрых восклицаний и бесед,  
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,  
любуйся его милой худобою,  
возьми себе, не отпускай домой.  
Но уж звонит во мне звонок испуга:  
опять нам долго не видать друг друга  
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.  
Я предалась заботам января,  
вздыхнув во сне легко и сокровенно.  
И снова я тоскую поутру.  
И в сад иду, и веточку беру,  
и на снегу пишу я: Сакартвело.

## ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

*Юрию Васильеву*

Итог увяданья подводит октябрь.  
Природа вокруг тяжела и серьезна.  
В час осени крайний — так скучно локтям  
опять ушибаться об угол сиротства.

Соседской четы непомерный визит  
все длится, и я, всей душой утомляясь,  
ни слова не вымолвлю—в горле висит  
какая-то глухонемая туманность.

В час осени крайний—огонь погасить  
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,  
что некогда звали тебя погостить  
в дому у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,  
напялив калоши,—скорее, скорее  
туда, где, румяные щеки надув,  
художник умеет играть на свирели.

О милое зрелище этих затей!  
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,  
играет свирель и двух малых детей  
печальный топочет вокруг хороводик.

Два детские личика умудрены  
улыбкой такую усталой и вечной,  
как будто они в мирозданье должны  
нестись и описывать круг бесконечный.

Как будто творится века напролет  
все это: заоблачный лепет свирели  
и маленьких тел одинокий полет  
над прочностью мира, во мгле акварели.

И я, притаившись в тени голубой,  
застыв перед тем невесомым весельем,  
смотрю на суровый их танец, на бой  
младенческих мышц с тяготеньем вселенным.

Слабею, впадаю в смятенье невежд,  
когда, воссияв над трубою подзорной,  
их в обморок вводит избыток небес,  
терзая рассудок тоской тошнотворной.

Но полно! И я появляюсь в дверях,  
недаром сюда я брела и спешила.  
О счастье, что кто-то так радостно рад,  
рад так беспредельно и так беспричинно!

Явленью моих одичавших локтей  
художник так рад, и свирель его рада,

и щедрые ясные лица детей  
даруют мне синее солнечное взгляда.

И входит, подходит та, милая, та,  
простая, как холст, не насыщенный грунтом.  
Но кроткого, смиренного лба простота  
пугает предчувствием сложным и грустным.

О скромность холста, пока срок не пришел,  
невинность курка, пока пальцем не тронешь,  
звериный, до времени спящий прыжок,  
нацеленный в близь, где играет звереныш.

Как мускулы в ней высоко взведены,  
когда первобытным следит исподлобьем  
три тени родные, во тьму глубины  
запущенные виражом бесподобным.

**О девочка цирка, хранящая дом!**  
Все ж выдаст болезненно-звездная бледность—  
во что ей обходится маленький вздох  
над бездной внизу, означающей бедность.

Какие клинки покидают ножны,  
какая неисповедимая доблесть  
улыбкой отвечает гневу нужды,  
каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,  
как слабо затылок ее позолочен,  
но неколебимо хранит прямоту  
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.

И радостно мне любоваться опять  
лицом ее, облаком неочевидным,  
и рученьку боязно в руку принять,  
как тронуть скорлупку в гнезде соловьином.

И я говорю: — О, давайте скорей  
кружиться в одной карусели отвесной,  
подставив горячие лбы под свирель,  
под ивовый дождь ее частых отверстий!

Художник на бочке высокой сидит,  
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.  
Давайте, давайте кружиться всегда,  
и все, что случится,—еще на беда,  
ах, господи боже мой, вот вечеринка,  
проносится около уха звезда,  
под веко летит золотая соринка,  
и кто мы такие, и что это вдруг  
цветет акварели голубенький дух,  
и глина краснеет, как толстый ребенок,  
и пыль облетает с холстов погребенных,  
и дивные рожи румяных картин  
являются нам, когда мы захотим.

Проносимся! И посреди тишины  
целуется красное с желтым и синим,  
и все одиночества душ сплочены  
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два  
и дольше, но дому еще не наскучить,  
случайно узнать, что стоят деревья  
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,

с утра втихомолку собраться домой,  
брести облегченно по улице снежной,  
жить дома, пока не придет за тобой  
любви и печали порыв центробежный.

## ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

*Б. Окуджав*

Станный гость побывал у меня в феврале.  
Снег занес мою крышу еще в январе,  
предоставив мне замкнутость дум и деяний.  
Я жила взаперти, как огонь в фонаре  
или как насекомое, что в янтаре  
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,  
и тем более странен был этот визит,  
что снега мою дверь охраняли сурово.  
Например — я зерно моим птицам несла.  
«Можно ль выйти наружу?» — спросила. —  
«Нельзя», —  
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.  
Он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь,  
кем-то вбитый извне для неведомой цели.  
Впрочем, что же еще оставалось ему,  
коль в дому, замурованном в снежную тьму,  
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость — он в гостях не гостил, а царил.  
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,  
из-за пазухи выпустил свинку морскую  
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом  
я ушибся, когда проходил напролом  
в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.  
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —  
вот мой маленький юг среди выюг справедливых.  
Что касается бедной царевны морей —  
ей давно приготовлен любовью моей  
плод капусты, возвращенный в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,  
что я склонен к слезам, но не склонны к следам  
мои ноги промокшие. Весь я — загадка!»  
Я ему объяснила, что я не педант  
и за музыкой я не хожу по пятам,  
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон  
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!  
Очень плохи дела ваших духа и плоти!  
Потому без стыда я явился сюда,  
что мне ведома бедная ваша судьба».  
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.  
Опрометчивость уст его речи свела  
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:  
«Протяжение спора угодно душе!  
Вы—дитя мое, баловень и протезе.  
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью белел—  
ошибитесь, возьмите счастливый билет!  
Выбирайте любую утеху мирскую!»  
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,  
до поры отвергаю я ваши дары.  
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злomu сиротству сестра?  
Как остра эта грусть — озираться со сна  
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.  
О, как нежно марина, моряна, моря  
неизбежно манят и минуют меня,  
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном—благодарна я доброй судьбе.  
Я живу, как желаю,—сама по себе.  
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.  
Старый пес мой взмывает к щеке, как щенок.  
И широк дивный выбор всевышних щедрот:  
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.  
Это старый товарищ ко мне приезжал.  
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?  
Говорила: когда тебя вижу, Булат,  
два зрачка от чрезмерности зренья болят,  
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.  
Не бывало саней в этом сиром снегу.  
Мой товарищ с товарищем пьет в Ленинграде.  
И давно уж собака моя умерла—  
стало меньше дыханьем в груди у меня.  
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь». В это время открылась закрытая дверь. Снег все падал и падал, не зная убытка. Сколь вошедшего облик был смел и пригож! И влекла петербургская кожа калош след—лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет, как во мраке лица серебрился зрачок, как был рус африканец и смугл россиянин! Я подумала — скоро конец февралю— и сказала вошедшему: «Радость! Люблю! Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

## ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя: а вдруг и впрямь, по логике нантя, заведомо безнравственно дитя, рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей на пир созвал **всех алчущих, как тонок был плач того, кто между двух огней еще не гугенот и не католик.**

Еще птенец, едва поющий вздор, еще в ходьбе не сведущий козленок, он выжил и присвоил первый вздох, изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми дитя твое цветочным млеком меда, в его опрятной маленькой крови живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще, не знает организм непросвещенный, что ненасытно, сладко, горячо вкушает дух гортани пресеченной.



Повадился дышать! Не виноват  
в религиях и гибелях далеких.  
И принимает он кровавый чад  
за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча  
он спит в уюте детства и злодейства.  
Но и палач, и жертва палача  
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются—смотреть,  
какой судьбою в нем взойдет отравы?  
Отрадой—умертвить? Иль умереть?  
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,  
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,  
вы так бесстрашно нянчите детей,  
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,  
не беспокойтесь — малость виновата:  
немного растревожена десна  
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,  
морозом жути кожу задевая, —  
не бойтесь! Это личики детей,  
взлеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,  
тот плач звучит в честь выбора другого,  
и хрупкость беззащитную свою  
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,  
всей музыкой, не объясненной в нотах.  
А в общем-то — какие пустяки!  
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

●

Последний день живу я в странном доме,  
чужом, как все дома, где я жила.  
Загнав зрачки в укрытие ладони,  
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли — беспечность совершенства.  
Бела бумага.  
Знаю, что должна  
Блаженствовать я в этот час блаженства.  
Но вновь молчит и бедствует душа.

## РИСУНОК

*Борису Мессереру*

Рисую женщину в лиловом.  
Какое благо — рисовать  
и не уметь! А ту тетрадь  
с полузабытым полусловом  
я выброшу! Рука вольна  
томиться нетерпением новым.  
Но эта женщина в лиловом  
откуда? И зачем она  
ступает по корням еловым  
в прекрасном парке давних лет?  
И там, где парк впадает в лес,  
лесничий ею очарован.  
Развязный? Как он смел взглянуть  
прилежным взором благосклонным?  
Та, в платье нежном и лиловом,  
строга и продолжает путь.  
Что мне до женщины в лиловом?  
Зачем меня тоска берет,  
что будет этот детский рот  
ничтожным кем-то поцелован?  
Зачем мне жизнь ее грустна?  
В дому, ей чуждом и суровом,

родимая и вся в лиловом,  
кем мне приходится она?  
Неужто розовой, в лиловом,  
столь не желавшей умирать,—  
все ж умереть?  
А где тетрадь,  
чтоб грусть мою упрочить словом?

## НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!  
Не писать! Даровать ей свободу—  
не воспетою быть, нависать  
над землей, принимающей воду!

Разве я ей сегодня судья,  
чтоб хвалить ее: радость! услада! —  
не по чину поставив себя  
во главе потрясенного сада!

Разве я ее сплетник и враг,  
чтобы, пристально выследив, наспех,  
величавые лес и овраг  
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму  
быть немым очевидцем природы,  
не добавив ни слова к тому,  
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль стола?  
Это отдых, награда за муку,  
когда темною тяжестью лба  
упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.  
И рука моя пишет и пишет.  
Навсегда разминулись — гроза  
и влюбленный уродец эпитет.

Между тем удается руке  
детским жестом придвинуть тетрадку  
и в любви, в беспокойстве, в тоске  
все, что есть, описать по порядку.



*А. Н. Корсаковой*

Весной, весной, в ее начале,  
я опечалившись жила.  
Но там, во мгле моей печали,  
о, как я счастлива была,

когда в моем доме любимом  
и меж любимыми людьми  
плыл в небеса опасным дымом  
избыток боли и любви.

Кем приходились мы друг другу,  
никто не знал, и все равно—  
нам, словно замкнутому кругу,  
терпеть единство суждено.

И ты, прекрасная собака,  
ты тоже здесь, твой долг высок  
в том братстве, где собрат собрата  
терзал и пестовал, как мог.

Но в этом трагедийном детстве  
былых и будущих утрат  
свершался, словно сон о детстве,  
спасающий меня антракт,

когда к обеду накрывали,  
и жизнь моя была проста,  
и Александры Николавны  
являлась странность и краса.

Когда я на нее глядела,  
я думала: не зря, о, нет,

а для таинственного дела  
мы рождены на белый свет.

Не бесполезны наши муки,  
и выгоды не сосчитать  
затем, что знают наши руки,  
как холст и краски сочетать.

Не зря обед, прервавший беды,  
готов и пахнет, и твердят  
все губы детские обеты  
и яства детские едят.

Не зря средь праздника иль казни,  
то огненны, то вдруг черны,  
несчастны мы или прекрасны,  
и к этому обречены.



Прощай! Прощай! Со лба сотру  
воспоминанье: нежный, влажный  
сад, углубленный в красоту,  
словно в занятие службой важной.

Прощай! Все минет: сад и дом,  
двух душ таинственные распри  
и медленный любовный вздох  
той жимолости у террасы.

В саду у дома и в дому  
внедрив многозначенье грусти,  
внушала жимолость уму  
невнятный помысел о Прусте.

Смотрели, как в огонь костра,  
до сна в глазах, до мути дымной,  
и созерцание куста  
равнялось чтенью книги дивной.

Меж наших двух сердец — туман  
клубился! Жимолость и сырость,  
и живопись, и сад, и Сван—  
к единой муке относились.

Прощай! Но сколько книг, дерев  
нам вверили свою сохранность,  
чтоб нашего прощанья гнев  
поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть, — из них,  
кто губит души книг и леса.  
Претерпим гибель нас двоих  
без жалости и интереса.

## ПРЕРЕКАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем, как ступить на балкон,  
я велю тебе, богово чудо:  
пребывай в отчужденье благом!  
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,  
постыдись этой детской уловки.  
Я-то знаю твой кроткий разбой,  
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,  
проболтавшийся баловень пыток,  
смертным выдохом ран горловых  
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем  
не тарашь и предайся блаженству.  
Хватит рыскать в рассудке моем  
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,  
выпит мед из таинственных амфор.

И по чину ль твоей красоте  
примерять украшенья метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил  
семицветие белого света,  
как голодным тщеславьем твоим  
клянчишь ты подаяний поэта?

Прогоняю, стращаю, клянчу,  
выхожу на балкон. Озираюсь.  
Вижу дерево, море, луну,  
их беспамятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,  
говорю: о, даруй мне пощаду,—  
погуби меня, только прости!  
И откуда-то слышу: — Прощаю...



Мне вспоминать сподручней, чем иметь.  
Когда сей миг и прошлое мгновенье  
соединятся, **будто медь и медь,**  
их **общий звук и суть стихотворенья.**

Как я люблю минувшую весну,  
и дом, и сад, чья сильная природа  
трудом горы держалась на весу  
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю **сейчас, но,** подлежа весне,  
я ощущала только страх и вялость  
к объему моря, **что в ночном окне**  
мерещилось и подразумевалось.

Когда **сходились** море и луна,  
студил **затылок** холодок мгновенный,  
как будто я, **превысив** чин ума,  
посмела **фамильярничать** с вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —  
не слишком ли? Но оставалась радость,  
что, возымев во времени былом  
день нынешний, — за все я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне  
их расточать и обмирать от чувства:  
они живут воочью, как вчерне  
и набело, навек во мне очнутя.

Что происходит между тем и тем  
мгновеньями? Как долго длится это —  
в душе крепчает и взрослеет тень  
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,  
чьи правила: смертельный страх и  
доблесть, —  
блеск бытия изжить, спалить дотла  
и выгадать его бессмертный отблеск?

## ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ

В тот день случился праздник на земле.  
Для ликования все ушли из дома,  
оставив мне два фонаря во мгле  
по сторонам глухого водоема.

Еще и тем был сон воды храним,  
что, намертво рожден из алебаstra,  
над ним то ль нетопырь, то ль херувим  
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недальяя родня —  
среди насмешек и неодобренья  
он нежно передразнивал меня  
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,  
неизлечимо и неугасимо



пульсировала бледная звезда,  
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил  
вид полночи. Я заново дивилась  
неистовству, с которым на мужчин  
и женщины человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе  
так припекала, что зрачок слезился,  
мне так хотелось быть живой, как все,  
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

В удобном сходстве с прочими людьми  
не сводничать чернилам и бумаге,  
а над великим пустяком любви  
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела — при звезде в окне,  
при скорбной лампе, при цветке в стакане.  
И безутешно ластилось ко мне  
причастий шелестящих пресмыканье.

## СЕМЬЯ И БЫТ

Сперва дитя явилось из потемок  
небытия.

В наш узкий круг щенок  
был приглашен для счастья.

А котенок  
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.  
В миг волшебства сама зажглась свеча:  
к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,  
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.  
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.

Где ты, грядущий новичок родимый?  
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры  
по лестнице — мы отойдем и ждем.  
Но все ж и мы не так наги и сиры,  
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь вошедший!  
Ты сам увидишь, как по вечерам  
мы возжигаем наш фонарь волшебный.  
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,  
вполне бесстрашном, если я жива,  
проговорюсь моей ночной свободе,  
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.  
Стареет пес. Сиротствует тетрадь.  
И лишь дитя, все больше молодое,  
все больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил  
от жара лоб, так тихо, что почти —  
подумало, дитя сказало: — Ежик,  
прости меня, за все меня прости.

И впрямь — прости, любая жизнь живая!  
Твою, в упор глядящую звезду  
не подведу: смертельно убывая,  
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витает, вырастая, наша стая,  
блистая правом жить и ликовать,  
блаженность и блаженство сочεται,  
и все это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.  
Дитя, собака, бледный кот и я  
идем во двор и там непревзойденно  
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,  
несущим мысль про хлеб и молоко,  
что нам пустей, что смехотворней славы?  
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,  
и все бегут с учений и работ,  
нас осыпает золото улыбок  
у станций метро «Аэропорт».

## ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,  
развязный грешник, я взяла себе  
и хищно и неопытно владела  
углом стола и лампой на столе.  
На каторге таинственного дела  
о вечности радел петух в селе,  
и, пристальная, как монгол в седле,  
всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора  
между луной и душами зверей,  
впадали в длинный воздух коридора,  
исторгнутые множеством дверей,  
течения полуночного вздора,  
что спит в умах людей и словарей,  
и пререкались дактиль и хорей —  
кто домовый и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,  
но ослабел для совершенья сна,  
из глубин лбов, как из отверстых амфор,  
рассеивалась спертость ремесла.  
Обожествляла влюбчивость метафор  
простых вещей невзрачные тела.  
И постояльца прежнего звала  
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чем важный смысл чудовищной затеи:  
вникать в значение света на столе,  
участвовать, словно в насущном деле,  
в судьбе светил, играющих в окне,  
и выдержать такую силу в теле,  
что тень его внушила шрам стене!  
Не знаю. Но еще зачтется мне  
бесславный подвиг сотворенья тени.

## ОПИСАНИЕ КОМНАТЫ

Ты, населивший мглу вселенной,  
то явно видный, то едва,  
огонь невнятный и нетленный  
материи иль божества,  
ты — ангелы или природа,  
спасение или напасть,  
что ты ни есть, твоя свобода,  
твоя торжественная власть.  
Не благодать твою, не почать,  
судьба земли, оставь за мной  
лишь этой комнаты непрочность,  
ничтожную в судьбе земной.  
Зачем с разбега бесприютства  
влюбилась я в ее черты  
всем разумом — до безрассудства,  
всем зрением — до слепоты!  
Кровать, два стула ненадежных,  
свет лампы, сумерки, графин,  
и вид на изгородь продолжен  
красой невидимых равнин.  
Творилась в этих бедных стенах,  
оставшись тайною моей,  
печаль пустых, благословенных,  
от всех сокрытых зимних дней.  
Здесь совмещались стол и локоть,  
тетрадь ждала карандаша,  
и, провожая мимолетность,  
беспечно мучилась душа.

## ОПИСАНИЕ УДОДА

Анина мама, гуляя у дома,  
каждое утро встречает удода.

Длинному, длинному носу удода  
мошек вылавливать очень удобно.

Требуют пищи, любви и ухода  
малые, милые дети удода.

Ах, ненаглядная птица удода!  
Я по сравненью с тобою—урод.

Короток нос мой, и челка убога.  
Нет во мне страсти и прыти удода.

Но не хочу утешенья другого —  
дайте мне долго смотреть на удода!

Только одна мне удача угодна —  
пусть процветает семейство удода!

Пусть говорит восхищенный народ:  
— Славься, прекрасная птица удода.

## ОПИСАНИЕ БОЛИ В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ

Сплетенье солнечное — чушь!  
Коварный ляпус астрономов  
рассеянных! Мне дик и чужд  
недуг светил неосторожных.  
Сплетались бы в сторонней мгле!  
Но хворым силам мирозданья  
угодно бедствовать во мне —  
любимом месте их страданья.  
Вместившись в спину и в живот,  
вблизи наук, чья суть целебна,  
болел и бредил небосвод

в ничтожном теле пациента.  
Быть может, сдуру, сгоряча  
я б умерла в том белом зале,  
когда бы моего врача  
Газель Евграфовна не звали.  
— Газель Евграфовна! — изрек  
белейший медик.  
О удача!  
Улыбки доблестный цветок,  
возросший из расщелин плача.  
Покуда стетоскоп глазел  
на загнанную мышцу страха,  
она любила Вас, Газель,  
и Вашего отца Евграфа.  
Тахикардический буян  
морзянкою предкатастрофной  
производил всего лишь ямб,  
влюбленный ямб четырехстопный.  
Он с Вашим именем играл!  
Не зря душа моя, как ваза,  
изогнута (при чем Евграф!)  
под сладкой тяжестью Кавказа.  
Простите мне тоску и жуть,  
мой хрупкий звездочет, мой лекарь!  
Я вам вселенной прихожусь —  
чрезмерным множеством молекул.  
Не утруждайте нежный ум  
обзором тьмы нечистоплотной!  
Не стоит бездна скорбных лун  
печали Вашей мимолетней.  
Трудов моих туманна цель,  
но жизнь мою спасет от краха  
вспоминанье про Газель,  
дитя добрейшего Евграфа.  
Судьба моя, за то всегда  
благодарю твой добрый гений,  
что смех детская звезда  
живет во мгле твоих трагедий.  
Лишь в этом смысл — марасть тетрадь,  
печалиться в канун веселья,  
и болью чуждых солнц хворать,  
и умирать для их спасенья.



Случилось так, что двадцати семи  
лет от роду мне выпала отрада  
жить в замкнутости дома и семьи,  
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,  
с которым справедливая природа  
следит за увяданием в бору  
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,  
не ведать мысли, не промолвить слова  
и в детском неразумии дерев  
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,  
чиста душой, как прочие растенья,  
не более умна, чем деревья,  
не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,  
в пустой пробел, где близко и приметно  
белел во мраке очевидный бог,  
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать  
и так близка большая ласка бога,  
что прядь со лба—чтоб легче целовать—  
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,  
я углублялась в землю и деревья.  
Никто не знал, как мука велика  
за дверью моего уединенья.

## НОЧЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,  
а все руке недостает отваги,  
чтобы пробиться к белизне бумаги  
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой  
стыдится своего несовершенства,  
не допускает руку до блаженства  
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,  
ожог во лбу от выдумки неточной,  
мощь кофеина и азарт полночный  
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим  
рассудок мой в безумье этих бдений,  
раз возбужденье, жаркое, как гений,  
он все ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!  
Соблазн так сладок, так невинна малость—  
нарушить этой ночи безымянность  
и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,  
любой предмет глядит с кокетством женским,  
красуется, следит за каждым жестом,  
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,  
бубнит и клянчит голосок предмета,  
его душа желает быть воспета,  
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,  
любимый свет ее предать огласке  
и предоставить неусыпной ласке  
эпитетов! Но я опять молчу.



Какая боль — под пыткой немоты  
все ж не признаться ни единым словом  
в красе всего, на что зрачком суровым  
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна  
в пустом дому, средь снежного разлива,  
писать не хорошо, но справедливо —  
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне бог бесстыдства пред листом  
бумаги, беззащитной предо мною,  
пред ясной и бесхитростной свечою,  
перед моим, плывущим в сон, лицом.

## ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега  
блистать и стыть с прилежностью металла,  
пока пуховой шали не сняла  
та девочка, которая мечтала  
склонить к плечу оранжевый берет,  
пустить на волю локти и колени,  
чтоб не ходить, но совершать балет  
хожденья по оттаявшей аллее,  
пока апрель не затевал возни,  
удобной насекомым и растениям, —  
взяв на себя несчастный труд весны,  
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь  
сугробов, ледоколов, конькобежцев  
он гнев весны претерпевал один,  
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,  
как будто смерть предпочитал неволе,  
как будто бинт от кожи отрывал,  
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?  
То ль сильный дух велел искать исхода,  
то ль слабость щитовидной железы  
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды  
владеют им. Но говорят преданья,  
что, ринувшись на поиски беды, —  
как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!  
Не гений я! И, стало быть, впустую,  
гордясь огромной выпуклостью лба, .  
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.  
Он говорил в отчаянной отваге:  
— О господи! Твой худший ученик —  
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.  
Он все отринул, что грозит блаженством.  
Желал он мукой обострить свой ум,  
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!  
Гнушаясь их красою бесполезной,  
вбивал он алкоголь и никотин  
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,  
сказав: — Как страшно просыпаться утром!  
Как жжется этот раскаленный ад,  
который именуется уютom!

Он жил в чужом доме, в чужом саду  
и тем платил хозяйке любопытной,  
что, голый и огромный, на виду  
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,  
шептались меж собой, но не корили

затем, что жутким будням их бытия  
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,  
то пил коньяк в гостиных полусвета  
и понимал, что это — гонорар  
за представленье: странности поэта.

Ему за то и подают обед,  
который он с охотою съедает,  
что гостя, умница, искусствовед,  
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об острие угла  
разбил он лоб, казня его ничтожность,  
но не обрел достоинства ума  
и не изведal истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,  
он клял дурного мозга неприлчье,  
и высоко над ним плыл Пастернак  
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек  
в проступке суеты и нетерпенья.  
Виновен ли немой, что он не мог  
использовать торгана для ископенья?

Его встречали в чайных и пивных,  
на площадях и на скамьях вокзала.  
И, наконец, он головой поник  
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мой, мне минет тридцать лет,  
увы, итог тридцатилетья скуден.  
Мой подвиг одиночества нелеп,  
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,  
мне лишь одна, не много и не мало:  
всегда пребуду только тем, что есть,  
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,  
привнесших в кожу белый шрам ожога?  
Уверен в том, что мимолетный звук  
мне явится; и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,  
судьбе моей воздам благодаренье,  
припомню эту бедную весну  
и напишу о ней стихотворенье.



Я думаю: как я была глупа,  
когда стыдилась собственного лба —  
зачем он так от гения свободен?  
Сегодня, став взрослее и трезвей,  
хочу обедать посреди друзей.  
Лишь их привет мне сладок и угоден.  
Мне снится сон: я мучаюсь и мчусь,  
лицейскою возвышенностью чувств  
пылает мозг в честь праздника простого.  
Друзья мои, что так добры ко мне,  
должны собраться в маленьком кафе  
на площади Восстанья в полшестого.  
Я прихожу и вижу: собрались.  
Благословляя красоту их лиц,  
плач нежности стоит в моей гортани.  
Как встарь, моя кружится голова.  
Как встарь, звучат прекрасные слова  
и пенье очарованной гитары.  
Я просыпаюсь и спешу в кафе,  
я оставляю шапку в рукаве,  
не ведая сомнения пустого.  
Я твердо помню мой недавний сон  
и стол прошу накрыть на пять персон  
на площади Восстанья в полшестого.  
Я долго жду и вижу жизнь людей,  
которую прибоем площадей  
выносит вдруг на мой пустынный остров.  
Так мне пришлось присвоить новость встреч,

чужие тайны и чужую речь,  
борьбу локтей неведомых и острых.  
Вошел убийца в сером пиджаке.  
Убитый им сидел невдалеке.  
Я наблюдала странность их общенья.  
Промолвил первый:

— Вот моя рука,  
но все ж не пейте столько коньяка —  
И встал второй и попросил прощенья.  
Я у того, кто встал, спросила:

— Вы  
однажды не сносили головы,  
неужто с вами что-нибудь случится? —  
Он мне сказал:

— Я узник прежних уз.  
Дитя мое, я, как тогда, боюсь, —  
не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.  
Друзья мои, прекрасен наш союз!  
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.  
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,  
заточена, словно мигрень во лбу.  
Друзья мои, я требую пощады!

И все ж, пока слагать стихи смогу,  
я вот как вам солгу иль не солгу:  
они пришли, не ожидая зова,  
сказали мне: — Спешат твои часы. —  
И были наши помыслы чисты  
на площади Восстанья в полшестого.



Так дурно жить, как я вчера жила, —  
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу  
и пошлости нетрезвая жара  
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах  
нести две влажных черноты в глазницах

и пребывать не сведеньем в умах,  
а вожделенной притчей во языцех.

Довольствоваться роскошью беды —  
в азартном и злорадном нераденье  
следить за увяданием звезды,  
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,  
понурить шею среди пекл безводных,  
от скудных скверов отвращать лицо,  
не смея быть при детьях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:  
без тех, без лучших мыкалась по свету,  
а без себя? Не велика печаль!  
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин.  
и снова выжить, как это ни сложно,  
под доблестной защитою мужчин,  
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,  
но хитрой слепотою дальновидной  
надеяться, что будет ночь в саду  
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,  
чьей выгоде мое спасенье сладко,  
коль мне дано по окончанье дня  
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река  
готовы выдать тайну вековую,  
и с первобытной меткостью рука  
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша  
спешит служить и жертвовать длиною.  
И так чиста суровая душа,  
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,  
всему чужой, иноязыкий идол,  
царю во тьме огромностью лица,  
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,  
пред новым днем не знаю сожаленья  
и медленно стираю прядь со лба  
для пущего удобства размышленья.



Как долго я не высыпалась,  
писала медленно, да зря.  
Прощай, моя высокопарность!  
Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и легкость!  
А то всю ночь в дыму сижу,  
и тяжело тащится мой локоть,  
строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,  
всплывает в глубине окна  
лицо мое, словно чужая  
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,  
мне тяжело мое чело,  
и все затем, чтоб добрый критик  
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку  
и, выбравши любой предлог,  
описываю по порядку  
все, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею  
и опишу одну из сред,

когда меня позвал к обеду  
сосед-литературовед.

Он был настолько ~~выше~~ быга  
и так воспитан и умен,  
что обошла его обида  
былых и нынешних ~~времен~~.

Он обещал мне, что наука,  
известная его уму,  
откроет мне, какая мука  
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета  
открыла дверь в тепло и свет  
жена литературоведа,  
~~сама литературовед~~.

~~Пока с меня пальто снимала~~  
их просвещенная семья,  
ждала я знака и сигнала,  
чтобы понять, при чем здесь я.

Но, размышляя мимолетно,  
я поняла мою вину:  
что ж за обед без рифмоплета  
и мебели под ~~старшу~~?

Все так и было: стол накрытый  
дышал свечами, цвел паркет,  
и чужеземец именитый  
молчал, покуривая кент.

Литературой мы дышали,  
пока хозяин вел нас в зал  
и говорил о Мандельштаме,  
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,  
и, некрасива, но умна,  
познавья тяжкую огромность  
делила с ним его жена.



Я думала: «Господь вседобрый!  
Прости мне разум, полный тьмы,  
вели, чтобы соблазн съедобный  
отвлек их мысли и умы.

Скажи им, что пора обедать,  
вели им хоть на час забыть  
о том, чем им так сладко ведать,  
о том, чем мне так страшно быть.

Придвинув спину к их камину,  
пока не пробил час поэм,  
за Мандельштама и Марину  
я отогреюсь и поем.

И, озирая мир кромешный,  
используй, боже, власть твою,  
чтоб нас простил их прах безгрешный  
за то, что нам не быть в раю».

В прощенье мне теплом собрата  
повеяло, и со двора  
вошла прекрасная собака,  
с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.  
Я и хозяин пили ром,  
нет, я пила, он этим ведал,  
и все же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,  
она не осквернит уста,  
я знала: за лукавство слова  
наказывает немота.

Он, сокрушаясь бесполезно,  
стал разум мой учить уму,  
и я ответила любезно:  
«Потом, мой друг, когда умру,

вы мне успеете ответить.  
Но как же мне с собою быть?

Ведь перед тем, как мною ведать,  
вам следует меня убить».

Мы помирились в воскресенье.

— У нас обед. А что у вас?

— А у меня стихотворенье.

Она написано как раз.



Бьют часы, возвестившие осень:  
тяжелее, чем в прошлом году,  
ударяется яблоко оземь—  
столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,  
кто твердит, что часы не стоят?  
Совершает поступок отважный,  
но как будто бездействует сад.

Все заметней в природе печальной  
выражение любви и родства,  
словно ты — не свидетель случайный,  
а виновник ее торжества.

## СНИМОК

Улыбкой юности и славы  
чуть припугнув, но не отторгнув,  
от лени или для забавы  
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,  
при вечном детстве небосвода,  
клянется ей в Оспедалетти  
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,  
глядит из кружевного нимба.  
И тень ее грядущей муки  
зашелкнута ловушкой снимка.

С тем — через «ять» — сырым и нежным  
апрелем слившись воедино,  
как в янтаре окаменевшем,  
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай  
застанет на исходе века  
тот профиль нежно-угловатый,  
вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,  
в чьем четком облике и **лице**  
прочсть известие о даре  
так просто; как название книги.

Кто эту горестную мету,  
оттиснутую без помарок,  
и этот лоб, и челку эту  
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?  
Пожмет плечами: как угодно!  
И выведет: Оспедалетти.  
Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!  
Грядущий день, дай ей отсрочку!  
Пускай она допишет: «Анна  
Ахматова», — и капнет точку.



Опять сентябрь, как тьму времен назад,  
и к вечеру мужает юный холод.  
Я в таинствах подозреваю сад:  
все кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшной, а только веселей  
что призраком населена округа.  
Я в доброте моих осенних дней  
лишь шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль  
слисать в тетрадь — с последнею росой  
траву и воздух, в зримую спираль  
закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,  
воспринятое некогда луною,  
проделало обратный путь лучей  
и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,  
свободен с обожаньем или укором  
иных людей, иные времена  
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе  
так мучат нас ее пустые камни?  
О, знаю я, кто пристальней, чем все,  
ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,  
для вечности в окне оставив щелку.  
И Пушкина неотвратимый взгляд  
ночь напролет мне припекает щеку.

### ЭТО Я...

Это я — в два часа пополудни  
повитухой добытый трофей.  
Надо мною играют на лютне.  
Мне щеkotно от палочек фей.  
Лишь расплыв золотистого цвета  
понимает душа — это я  
в знойный день довоенного лета

озираю красу бытия.  
«Буря мглою...», и баюшки-баю,  
я повадилась жить, но, увы, —  
это я от войны погибаю  
под угрюмым присмотром Уфы.  
Как белеют зима и больница!  
Замечаю, что не умерла.  
В облаках неразборчивы лица  
тех, кто умерли вместо меня.  
С непригожим голуленьким ликом,  
еле выпростав тело из мук,  
это я в предвкушенье великом  
слышу нечто, что меньше, чем звук.  
Лишь потом оценю я привычку  
слушать вечную, точно прибой,  
безымянных вещей перекличку  
с именующей вещи душой.  
Это я — мой наряд фиолетов,  
я надменна, юна и толста,  
но к предсмертной улыбке поэтов  
я уже приучила уста.  
Словно дрожь между сердцем и сердцем,  
есть меж словом и словом игра.  
Дело лишь за бесхитростным средством  
обвести ее вязью пера.  
— Быть словам женихом и невестой! —  
это я говорю и смеюся.  
Как священник в глуши деревенской,  
я венчаю их тайный союз.  
Вот зачем мимолетные феи  
осыпали свой шепот и смех.  
Лбом и певческим выгибом цен,  
о, как я не похожа на всех.  
Я люблю эту мету несходства,  
и, за дальней добычей спеша,  
юной гончей мой почерк несется,  
вот настиг — и озябла душа.  
Это я проклинаяю и плачу.  
Пусть бумага пребудет бела.  
Мне с небес диктовали задачу —  
я ее разрешить не смогла.  
Я измучила упряжь шею.  
Как другие плетут письмена —

я не знаю, нет сил, не умею,  
не могу, отпустите меня.  
Это я — человек-невеличка,  
всем, кто есть, прихожусь близнецом,  
сплю, покуда идет электричка,  
пав на сумку невзрачным лицом.  
Мне не выпало лишней удачи,  
слава богу, не выпало мне  
быть заслуженной или богаче  
всех соседей моих по земле.  
Плоть от плоти сограждан усталых,  
хорошо, что в их длинном строю  
в магазинах, в кино на вокзалах  
я последнею в кассу стою —  
позади паренька удалого  
и старухи в пуховом платке,  
слившись с ними, как слово и слово  
на моем и на их языке.



Что за мгновенье! Родное дитя  
дальше от сердца,  
чем этот обычай:  
красться к столу  
сквозь чащобу житья,  
зренье возжечь  
и следить за добычей.  
От неусыпной засады мосей  
не упасется ни то и ни это.  
Пав неминуемой рысью  
с ветвей,  
вцепится слово  
в загривок предмета.  
Эй, в небесах!  
Как ты любишь меня!  
И, заточенный  
в чернильную склянку,  
образ вселенной глядит  
из темна,  
муча меня, как сокровище скрягу.

Так говорю я и знаю, что лгу.  
Необитаема высь надо мною.  
Гаснут два фосфорных пекла  
во лбу.

Лютый младенец  
кричит за стеною.  
Спал, присосавшись  
к сладчайшему сну,  
ухом не вел, а почуял измену.  
Все — лишь ему,  
ничего — ремеслу,  
быть по сему,  
и перечить не смею.  
Мне — только маленькой  
гибели звук:  
это чернил перезревшая влага  
вышибла пробку.

**Бессмысленный круг**  
букв нерожденных  
приемлет бумага.

Бластвуй, исчадие крови моей!

Если жива —

значит, я недалече.

Что же, не хуже других матерей

я — погубившая детище речи.

Чем я плачу за улыбку твою,

я любопытству людей

не отвечаю.

Лишь содрогнусь

и глаза притворю,

если лицо мое

в зеркале встречу.



В той тоске, на какую способен  
человек, озираясь с утра

в понедельник, зимою

спросонок,

в том же месте судьбы,

что вчера...

Он-то думал,  
что некий грессмейстер,  
населивший пустой небосвод,  
его спящую душу заметит  
и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь  
сновидений,  
ход светил и раздор государств  
не внесли никаких изменений  
в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,  
он способствует этим тому,  
что, болевшая ночью в затылке,  
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,  
прежде матери, прежде отца,  
оснащенный звездой  
и свирелью,  
кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом  
над бровью,  
улыбнулся и скрылся вдали.  
Прибежали на крик  
к изголовью —  
и почтительно прочь отошли.

В понедельник,  
в потемках рассвета,  
лбом уставясь в осколок стекла,  
видит он, что алмазная мета  
важила и быльем поросла.

...В той великой,  
с которую слада  
не бывает, в тоске — на века,  
я брела в направлении детсада  
и дитя за собою влекла.



Розовело во мгле небосвода.  
 Возжигатель грядущего дня,  
 вождь метели,  
                                     зачинщик восхода,  
 что за дело тебе до меня?

Мне отвечивал  
                                     свет безмятежный  
 и указывал свет или смех,  
 что еще молодою и нежной  
 я ступлю на блистающий снег,  
 что вблизи, за углом поворота,  
 ждет меня несказанный удел.  
 Полыхнуло во лбу моем что-то,  
 и прохожий  
                                     мне вслед поглядел.

## ЛЕРМОНТОВ И ДИТЯ

Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне.  
 Вдруг сердце вознеслось и взмыло надо мною,  
 сопутствовало мне стороннею луною,  
 и муки было в нем не боле, чем в луне.  
 Но — люди говорят, и я так говорю.  
 Иначе как сказать? Под сердцем — так под сердцем.  
 Вот сбылся листопад. Извечным этим средством  
 не пренебрег октябрь, склоняясь к ноябрю.  
 Я все одна была, иль были мы одни  
 с тем странником, чья жизнь все больше оживала.  
 Совпали блажь ума и надобность журнала —  
 о Лермонтове я писала в эти дни.  
 Тот, кто отныне стал значением моим,  
 кормился ручейком невзрачным и целебным.  
 Мне снились по ночам Васильчиков и Глебов.  
 Мой исподлобный взгляд присматривался к ним.  
 Был город истомлен бесснежным февралем,  
 но вскоре снег пошел, и снега стало много.  
 В тот день потупил взор невозмутимый Монго  
 пред пристальным моим волшебным фонарем.

Зима еще была сохранна и цела.  
А там — уже июль, гроза и поединок.  
Мой микроскоп увяз в двух неприглядных льдинах,  
изъятых из глазниц лукавого царя.  
Но некто рвался жить, выпрашивал: «Скорей!»  
Томился взаперти и в сердцевине круга.  
Успею ль, боже мой, как брата и как друга,  
благословить тебя, добрейший Шан-Гирей?  
Все спуталось во мне. И было все равно —  
что Лермонтов, что тот, кто восходил из мрака.  
Я рукопись сдала, когда в сугробах марта  
слабело и текло водою серебро.  
Вновь близится декабрь к финалу своему.  
Снег сыплется с дерев, пока дитя ликует.  
Но иногда оно затихнет и тоскует,  
и только мне одной известно — по кому.

## МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Замечаю: душа не прочна  
и прервется. Но как не заметить,  
что не надо, пора не пришла  
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было — страшусь и спешу:  
есмы сегодня, а буду ли снова?  
И на казнь посылала свечу  
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,  
полагала. А снег осыпался.  
И остался от этих времен  
горб — натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —  
лишь скучая, но не сострадаю,  
и прошу: тот, кто молод — любим.  
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе  
льнет прилив незатейливых истин.  
Способ совести избран уже  
и теперь от меня независим.

Сам придет этот миг или год:  
смысл нечаянный, нега, вершинность...  
Только старости недостает.  
Остальное уже совершилось.

### АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Ремесло наши души свело,  
заклеймило звездой голубою.  
Я любила значенье свое  
лишь в связи и в соседстве с тобою.

Несказанно была хороша  
только тем, что в первейшем сиротстве  
бескорыстно умела душа  
хлопотать о твоём превосходстве.

Про чело говорила твое:  
— Я видала сама, как дымилось  
меж бровей золотое тавро,  
чьё значенье — всевышняя милость.

А про лоб, что взошел надо мной,  
говорила: не будет он лучшим!  
Не долеплен до пяди седьмой  
и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,  
пересилю и перелукавлю!  
В час расплаты за божью звезду  
я спрошу себе первую кару.

Осмелею и выпячу лоб,  
похваляясь: мой дар — безусловен,

а второй — он не то чтобы плох,  
он — меньшей, он ни в чем не виновен.

Так положено мне по уму.  
Так исполнено будет судьбою.  
Только вот что. Когда я умру,  
страшно думать, что будет с тобою.

## МЕТЕЛЬ

### ОЖИДАНИЕ ЕЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,  
дочери Елизавета и Анна,  
не шелохнуться! О, как еще рано,  
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,  
не понукайте мгновенья, покуда  
медленный бег неизбежного чуда  
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,  
Пушин минует сугробы и льдины.  
Елизавета и Анна, едины  
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!  
Зверь добродушный, пришелец желанный,  
сжался над Елизаветой и Анной,  
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!  
Все вам верну, ничего не отнявши.  
Грозно живучее шествие наше  
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,  
изнемогая и свет исторгая.  
Елизавета и Анна, какая  
радость — мучительно радости ждаты!

Древо взирает на дочь и на дочь.  
Надо ль бедой расплатиться за это?  
Или же, Анна и Елизавета,  
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и все это — ей,  
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.  
Кто это?  
Елизаветы и Анны  
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

#### АДА

Что в бедном имени твоём,  
что в имени неблагозвучном  
далось мне?  
Я в слезах при нём  
и в страхе неблагополучном.

Оно — лишь звук, но этот звук  
мой напряжённый слух морочил.  
Он возникал — и кисти рук  
мороз болезненный морозил.

Я запрещала быть словам  
с ним даже в сходстве отдалённом.  
Слова, я не прощала вам  
и вашим гласным удлинённым.

И вот, доверившись концу,  
я выкликнула имя это,  
чтоб повстречать лицом к лицу  
его неведомое эхо.

Оно пришло и у дверей  
вспорхнуло детской рукою.  
О имя горечи моей,  
что названо ещё тобою?

Ведь я звала свою беду,  
свою проклятую, родную,  
при этом не имел в виду  
судьбу несчастную другую.

И вот сижу перед тобой,  
не смею ничего нарушить,  
с закинутою головой,  
чтоб слез моих не обнаружить.

Прости меня! Как этих рук  
мелки и жалостны приметы.  
И ты — лишь тезка этих мук,  
лишь дѣвочка среди планеты,

Но что же делать с тем, другим  
таким же именем, как это?  
Ужели всем слезам моим  
иного не сыскать ответа?

Ужели за моей спиной  
затем, что многозначно слово,  
навек остался образ твой  
по воле совпаденья злого?

Ужель какой-то срок спустя  
все по тому же совпаденью  
и тень твоя, как бы дитя,  
рванется за моею тенью?

И там, в летящих облаках,  
останутся, как знак разлуки,  
в моих протянутых руках  
твои протянутые руки.

\* \* \*

Жила в позоре окаянном,  
а все ж душа — белым-бела,  
и если кто-то океаном  
и был — то это я была.

О мой купальщик боязливый,  
ты б сам не выплыл — это я  
волною нежной и брезгливой  
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!  
Как позабыла в той беде,

что стая ты рыбой голубою,  
взлеянной в моей воде!

И повторяют вслед за мною,  
и причитают все моря:  
о ты, дитя мое родное,  
о бедное, прости меня!

\* \* \*

Он поправляет пистолет,  
свеча качнулась, продержалась...  
Как тяжело он постарел,  
как долго это продолжалось.

И вспомнил он издалека —  
там, за пределом постаренья,  
знамена своего полка,  
сверканья, трубы, построенья.

Не радостно ему стареть.  
Вчера побрел, побрел далеко  
на первый ледоход смотреть,  
стоял там долго, одиноко.

Потом направился домой,  
шаги тяжелые замедлил  
и вдруг заметил, боже мой,  
вдруг эту женщину заметил.

И вспомнилось — давным-давно,  
гроза, глубокий след ботинка,  
ее плечо обведено  
оборкой белого батиста.

Зачем она среди весны  
о той весне не вспоминала,  
стояла просто у стены,  
такая жалкая стояла.

И вот непоправимый гром  
раздастся, задевая рюмки,  
стемнеет, упадут на гроб  
жены его большие руки.

Придет его старинный друг,  
успевший прочитать в газете.  
Для утешенья этих рук  
он поцелует руки эти.

Они нальют ему вина,  
и глянет он непринужденно,  
как на подушке ордена  
горят мертво и отчужденно.

### МЕТЕЛЬ

Переделкино снег заметал.  
Средь белейшей метели не мы ли  
говорили, да губы немые  
целовали мороз, как металл?

Не к добру в этой зимней ночи  
полюбились мы пушкинским бесам.  
Не достичь этим медленным бегством  
ни крыльца, ни поленьев в печи.

Возносилось к созвездьям и льдам,  
ничего еще не означало,  
но так нежно, так скорбно звучало:  
мы погибнем, погибнем, Эльдар.

Опалая железную нить,  
вдруг сверкнула вдали электричка,  
и оттаяла в сердце привычка:  
жить на свете, о, только бы жить.

### СТРОКА

...Дорога не скажу куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,  
проигрыватель — вздор какой,  
и слышно, как невеста откуда,  
из недр стесненных, из-под спуда



корней, созревших трав и хвой,  
где закипает перегной,  
вздымая пар до небосвода,  
нет, глубже мыслимых глубин,  
из пекла, где пекут рубин  
и начинается природа, —  
исторгнут, близится, и вот  
донесся бас земли и вод,  
которым молвлено протяжно,  
как будто вовсе без труда,  
так легкомысленно, так важно:  
«...Дорога не скажу куда...»  
Меж нами так не говорят,  
нет у людей такого знания,  
ни вымыслом, ни наугад  
тому не подыскать названья,  
что мы, в невежестве своем,  
строкой бессмертной назовем.

## ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,  
насушный день так подходил для пенья,  
и четверо, достойных удивленья,  
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых  
все бы глядела до скончанья взгляда,  
и ни о чем заботиться не надо:  
душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,  
и, уцелев меж бездною и бездною,  
для совершенья распри бесполезной  
поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли,  
до времени сохраннные от смерти.  
Но что-нибудь да умерло на свете,  
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.  
Мои спаслись от этой лютой доли.  
Но лоб склоню — и опалит ладони  
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну —  
пускай падут и буря, и лавина.  
Я дивным пеньем не прельщу дельфина  
и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них — не надобно меня.  
И проку нет в упреках и обмолвках.  
Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках  
нерасторжимы наши имена.



Предутренний час драгоценный  
спасите, свеча и тетрады!  
В предсмертных потемках за сценой  
мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!  
Но я лишь однажды не лгу:  
бумаге молясь неподкупной  
и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,  
но буду же наверняка,  
мучительно выпростав шею  
из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,  
никто мне не сможет помочь.  
Я знаю, как грозен мой выбор,  
когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любви,  
погибну больней и скорей,  
коль вслушаюсь в ваши ладони,  
сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не восстраждать,  
~~вернуться~~ в родной уют,  
~~не ведая~~ — дивным иль страшным —  
удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете,  
где будут во все времена  
одни лишь собаки и дети  
бедней и свободней меня.



*Ю. Королеву*

Собрались, завели разговор,  
долго длились их важные речи.  
Я смотрела на маленький двор,  
чудом выживший в Замоскворечьи.

Чтоб красу предыдущих времен  
возродить, а пока, исковеркав,  
изнывал и бранился ремонт,  
~~исцеляющий старую церковь.~~

Любоваться еще не пора:  
купол слеп и весь вид не осанист,  
но уже по каменьям двора  
восхищенный бродил иностранец.

Я сидела, смотрела в окно,  
тосковала, что жить не умею.  
Слово «скоросшиватель» влекло  
разрыдаться над жизнью моею.

Как ~~вблизи~~ расторопной иглы,  
с невредимой травой зеленой,  
с бузиною, затмившей углы,  
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней  
и хмельных маляров перебранка

становились надеждой моей,  
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,  
объявляю: мой срок не окончен.  
Посреди сорока сороков  
не иссякла душа-колокольчик.

О запекшийся в сердце моем  
и зазубренный мной без запинки  
белокаменный свиток имен  
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.  
Дождь веков нас омыл и промочил  
На клею золотого желтка  
нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,  
уцелею и я, может статься.  
Ну, а нет — так придут маляры.  
А потом приведут чужестранца.

## ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной,  
Он начинался в октябре,  
когда зимы кристалл невзрачный  
мерцал при утренней заре.  
И тот, столь счастливо любивший  
печаль и блеск осенних дней,  
был зренья моего добычей  
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,  
сосед мой умер, и вдова,  
для совершенья жизни бременной,  
уехала, а дом сдала.  
Так появились брат с сестрою.  
По вечерам в чужом окне

сняла кроткою звездою  
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве  
поврозь мы дождались зимы,  
но, с тайным любопытством в сердце,  
невольно сообщались мы.  
Когда вблизи моей тетради  
встречались солнце и сосна,  
тропинкой, скрытой в снегопаде,  
спешила к станции сестра.  
Я полюбила тратить зренье  
на этот мимолетный бег,  
и длилась целое мгновенье  
улыбка, свежая, как снег.

Брат был свободен и не должен  
вставать, пока не встанет день.  
«Кто он? — я думала. — Художник?»  
А думать дальше было лень.  
Всю зиму я жила привычкой  
их лица видеть поутру  
и знать, с какою электричкой  
брат пустится встречать сестру.  
Я наблюдала их проказы,  
снежки, огни, когда темно,  
и знала, что они прекрасны,  
а кто они — не все ль равно?  
Я вглядывалась в них так остро,  
как в глушь иноязычных книг,  
и слаше явного знакомства  
мне были вымыслы о них.  
Их дней цветущие картины  
растила я меж сонных век,  
сослав их образы в куртины,  
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились — не тесно,  
не учатив случайность встреч.  
Их лица были так чудесно  
ясны, так благородна речь.  
Мы сживали в час заката  
в саду, где липа и скамья.

Брат без сестры, сестра без брата,  
как ими любовалась я!  
Я шла домой и до рассвета  
зрачок держала на луне.  
Когда бы не несчастье это,  
была б несчастна я вполне.

Тек август. Двум моим соседям  
прискучила его жара.  
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.  
— Мы едем, — молвила сестра.  
Простились мы — скорей степенно,  
чем пылко. Выпили вина.  
Они уехали. Стемнело.  
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:  
«Коли прогневаетесь Вы,  
я не страшусь: мне нет возврата  
в соседство с Вами, в дом вдовы.  
Зачем, простак недальновидный,  
я тронул на снегу Ваш след?  
Как будто фосфор ядовитый  
в меня вселился — еле видный,  
доныне излучает свет  
ладонь...» — с печалью деловитой  
я поняла, что он — поэт,  
и заскучала...

Тем не мене  
отвыкшие скрипеть ступени  
я поступью моей бужу,  
когда в соседний дом хожу,  
одна играю в свет и тени  
и для таинственной затеи  
часы зачем-то завожу  
и долго за полночь сижу.  
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе  
зайдется ставня. Видно мне,  
как ум забытой ими книги  
печально светится во тьме.  
Уж осень. Разве осень? Осень.  
Вот свет. Вот сумерки легли.  
— Но где ж роман? — читатель спросит. —  
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем — все есть! Окрест крепчает  
октябрь, и это означает,  
что тот, столь счастливо любивший  
печаль и блеск осенних дней,  
идет дорогою обычной  
на жадный зов свечи моей.  
Сад облетает первобытный,  
и от любви кровопролитной  
немеет сердце, и в костры  
сгребают листья... Брат сестры,  
прощай навеки! Ночью лунной  
другой возлюбленный безумный,  
чья поступь молодому льду  
не тяжела, минует тьму  
и к моему подходит дому.  
Уж если говорить: люблю! —  
то, разумеется, ему,  
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!  
Вскричи: — Как, намертво убитый  
и прочный, точно лунный свет,  
тебя он любит?! —  
Вовсе нет.  
Хочу соврать и не совру,  
как ни мучительна мне правда.  
Боюсь, что он влюблен в сестру  
стихи слагающего брата.  
Я влюблена, она любима,  
вот вам сюжета грозный крен.  
Ах, я не зря ее ловила  
на робком сходстве с Анной Керн!  
В час грустных наших посиделок  
твержу ему: — Тебя злодей  
убил! Ты заново содеян  
из жизни, из любви моей!  
Коль ты таков — во мглу веков  
назад сошлю!  
Не отвечает  
и думает: — Она стихов  
не пишет часом? — и сучает.

Вот так, столетия подряд,  
все влюблены мы невпопад,

и странствуют, не совпадая,  
два сердца, сырых две лады,  
ямб ненасытный услаждая  
великой горечью любви.



Как никогда, беспечно и добра,  
я вышла в снег арбатского двора,  
а там такое было: там светало!  
Свет расцветал сиреневым кустом,  
и во дворе, недавно столь пустом,  
вдруг от детей светло и тесно стало.  
Ирландский сеттер, резвый, как огонь,  
затылок свой вложил в мою ладонь,  
щенки и дети радовались снегу,  
в глаза и губы мне попал снежок,  
и этот малый случай был смешон,  
и всё смеялось и склоняло к смеху.  
Как в этот миг любила я Москву  
и думала: чем дольше я живу,  
тем проще разум, тем душа свежее.  
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит—  
все есть и воспеванью подлежит,  
что может быть разумней и священной?  
День жизни, как живое существо,  
стоит и ждет участия моего,  
и воздух дня мне кажется целебным.  
Ах, мало той удачи, что — жила,  
я совершенно счастлива была  
в том переулке, что зовется Хлебным.



Я вас люблю, красавицы столетий,  
за ваш небрежный выпорх из дверей,  
за право жить, вдыхая жизнь соцветий  
и на плечи накинув смерть зверей



Как будто мало ямба и хорей  
ушло на ваши души и тела,  
на каторге чужой любви старея,  
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щеки,  
смесь чудную коварства и проказ —  
я все воспела, мы теперь в расчете,  
последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало  
не знал — поверит, что я жизнь мою,  
всю напролет, навытяжку стояла  
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места  
не двинуться? Невмочь мне, говорю,  
быть тем, что есть, и вожаком семейства,  
вобравшего зверье и детвору.

Довольно мне чудовищем бесполым  
тому быть братом, этому — сестрой,  
то враждовать, то нежничать с глаголом,  
пред тем как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,  
подстрочников и прочего труда  
я не хочу! Я делаюсь богата,  
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступаясь талантом,  
стать обратнем с розовым зонтом,  
с кисейным бантом и под ручку с франтом,  
а что есть ямб — знать не хочу о том.

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!  
Неведомо простой душе твоей,  
какой повадкой и какой усмешкой  
владею я — я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это все неправда!  
Я знаю вас — вы верите словам.  
Неужто я покину вас на франта?  
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,  
проносите, смеясь и лепеча.  
Суть женственности вечно золотая  
и для меня — священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,  
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!  
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?  
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

## С О Н

Наскучило уже, да и некстати  
о знаменитом друге рассуждать.  
Не проще ль в деревенской благодати  
бесхитростно писать слова в тетрадь —  
при бабочках и при окне открытом,  
пока темно и дети спать легли...  
О чем, бишь? Да о друге знаменитом.  
Свирипей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,  
и все о нем и все в укор ему.  
Любовь моя — вот мой туманный довод.  
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,  
все б спорила до расцветанья щек.  
А слава что? Она — молва худая,  
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,  
а я ленюсь, я молча посижу.  
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,  
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?  
Тому назад лет пять уже иль шесть  
приснилось мне, что входит мой приятель  
и говорит: — Страшись. Дурная весть.

— О нем? — О нем. — И дик и слабоумен  
стал разум. Сердце прервалось во мне.  
Вошедший строго возвестил: — Он умер.  
А ты держись. Иди к его жене. —

Глаза жены серебряного цвета:  
зрачок ума и сумрак голубой.  
Во славу знаменитого поэта  
мой смертный крик вознесся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.  
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.  
Мой сон прошел, а я еще кричала.  
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом  
приснюсь себе иль стану наяву —  
не дай мне бог моих друзей оплакать!  
Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?  
Он жив — и только. Нет за ним вины.  
Я воспою его. А вы судите.  
Вам по ночам другие снятся сны.

## ДОМ И ЛЕС

Этот дом увядает, как лес...  
Но над лесом — присмотр небосвода,  
и о лесе печется природа,  
соблюдая его интерес.

Краткий обморок вечной судьбы —  
спячка леса при будущем снеге.  
Этот дом засыпает сильнее  
и смертельней, чем знают дубы.

Лес — на время, а дом — навсегда.  
В доме призрак — бездельник и нищий,  
а у леса есть бодрый лесничий  
там, где высшая мгла и звезда.

Так зачем наобум, наугад  
всуде связывать с осенью леса  
то, что в доме разыграна пьеса  
старомодная, как листопад?

В этом доме, отцветшем дотла,  
жизнь былая жила и крепчала,  
меж висков и в запястьях стучала,  
молода и бессмертна была.

Книга мучила пристальный ум,  
сердце тяжело по сердцу томилось,  
пекло совести грозно дымилось  
и вперялось в ночной потолок.

В этом доме, неведомо чьем,  
старых записей бледные главы  
признаются, что хочется славы...  
Ах, я знаю, что лес ни при чем!

Просто утром подуло с небес  
и соринкою, втянутой глазом,  
залетела в рассеянный разум  
эта строчка про дом и про лес...

Истоцился в дому домовой,  
участь лешего — воля и нега.  
Лес — ничей, только почвы и неба.  
Этот дом — на мгновение — мой.

Любо мне возвратиться сюда  
и отпраздновать нежно и скорбно  
дивный миг, когда живы мы оба:  
я — на время, а лес — навсегда.

●

Я завидую ей — молодой  
и худой, как рабы на галере:  
горячей, чем рабыни в гареме,  
возжигала зрачок золотой  
и глядела, как вместе горели  
две зари по-над невской водой.  
Это имя, каким назвалась,  
потому что сама закотела, —  
нарушенье черты и предела  
и востока незванная власть,  
так — на северный край чистотела  
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена  
были схожи основной кромешной —  
лишь однажды взглянула с усмешкой —  
как метелью лицо обмела.  
Что же было мне делать — посмевшей  
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой  
до печали, но до упаданья  
головой в ладонь, до страданья  
я завидую ей же — седой  
в час, когда не прервали свиданья  
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,  
с вещим слухом, окликнутым зовом,  
то ли голосом чьим-то, то ль звоном,  
излученным звездой и звездой,  
с этим неопикуемым зобом,  
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,  
нищей пленнице рая иль ада.  
О, когда б я была так богата,  
что мне прелесть оставшихся дисей?  
Но я знаю, какая расплата  
за судьбу быть не мною, а ей.

## ИЗ ЦИКЛА «ЖЕНЩИНЫ И ПОЭТЫ»

\* \* \*

Так, значит, как вы делаете, други?  
Пораньше встав, пока темно-светло,  
открыв тетрадь, перо берете в руки  
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня — все хуже, все иначе.  
Свечу истрачу, взор сошлю в окно,  
как второгодник, не решив задачи.  
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала — ночь отчаянья и бденья,  
потом (вдруг нет?) — неуловимый звук.  
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,  
а мне сегодня лень и недосуг.

\* \* \*

Теперь о тех, чьи детские портреты  
вперяют в нас неукротимый взгляд,  
как в рекруты забритые поэты,  
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых все нечетко!  
Указка им — лишь наушенье звезд.  
Не верьте им, что кружева и челка.  
Под челкой—лоб. Под кружевами—хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.  
Простак любви влюбиться норовит.  
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.  
Тать мглы ночной, «мне страшно!» говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.  
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.  
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:  
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.  
Не позабудь, прижав ее к груди:

**все, что ты есть, она предаст огласке  
на столько лет, сколь есть их впереди.**

Кто жил на белом свете и мужского  
был пола, знает, как судьба прочна  
в нас по утрам: иссохло в горле слово,  
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, —  
что ей твой ад, когда она в раю?  
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,  
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А все ж — пора. Стыдясь, озябнув, мучась,  
надела прах вчерашнего пера  
и — прочь, одна, в бесхитростную участь,  
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе  
встречают день. В его начальной тьме,  
о, их глаза — как рысий фосфор, зрячи,  
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

**Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!  
Вчерашний день ей не в науку. Ты —  
здесь ни при чем. Ее душа свободна.  
Ей весело, что листья так желты.**

Ей важно, что тоскует звук о звуке.  
Что ты о ней — ей это все равно.  
О муке речь. Но в степень этой муке  
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,  
вчера шутил — не помнишь нынче, с кем  
Отныне будешь, славный муж и воин,  
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее  
уходит вдаль, слезы не уронив, —  
нежнее женщин и мужчин вольнее,  
чтоб заплатить за тех и за других.

## НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,  
как всадник в дозоре, во тьму я глядела.  
Я знала, что поздно, куда же я денусь  
от смерти на сцене, от бренного дела!

Безгрешно рукою водить вдоль бумаги.  
Писать — это втайне молиться о ком-то.  
Запеть напоказ — провиниться в обмане,  
а мне не дано это и неохота.

И все же для вас я удобство обмана.  
Я знак, я намек на бывшее, на Сороть,  
как будто сохранны Марина и Анна  
и нерасторжимы словесность и совесть.

В гортани моей, неумелой да чистой,  
жил призывок старинного русского слова.  
Я призрак двусмысленный и неказистый  
поэтов, чья жизнь не затеется снова.

За это мне выпало нежности столько,  
что будет смертельней, коль пуще и больше.  
Само по себе я немногого стою.  
Я старый глагол в современной обложке.

О, только за то, что душа не лукава  
и бодрствует, благословляя и мучась,  
не выбирая, где милость, где кара,  
на время мне посланы жизнь и живучесть.

Но что-то творится меж вами и мною,  
меж мною и вами, меж всеми, кто живы.  
Не проще ли нам обойтись тишиною,  
чтоб губы остались свежи и не лживы?

Но коль невозможно, коль вам так угодно,  
возьмите мой голос, мой голос последний!  
Вовеки я буду добра и свободна,  
пока не уйду от вас сколько-то-летней...



\* \* \*

Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,  
не водятся давно в гортани соловьи.  
Там пламя посреди пустого небосклона,  
но даже в ночь луны ни слова о любви!

Луну над головой держать я притерпелась  
для пущего труда, для возбужденья дум.  
Но в нынешней луне—бесмысленная прелесть,  
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Лепечет о любви сестра-поэт-певунья—  
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.  
Как зримо возведен из толщи полнолуныя  
чертог для божества, а дверь не заперта.

Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,  
и одинок вблизи вселенской полыньи.  
Столь длительной луны над миром не бывало,  
сейчас она пройдет. Ни слова о любви!

Так долго я жила, что сердце притупилось,  
но выжило в бою с невзгодой бытия,  
и вновь свежим-свежа в нем чья-то власть и милость,  
те двое под луной — неужто ты и я?

## ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ О ПУШКИНЕ

### 1. ОН И ОНА

Каков? — Таков: как в Африке, курчав  
и рус, как здесь, где вы и я, где север.  
Когда влюблен — опасен, зол в речах.  
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблен. Ревнив.  
Рожден в Москве. Истоки грови—родом  
из чуждых пекл, где закипает Нил.  
Пульс—бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и уььет.  
Когда разгневан—страшно смугл и бледен.  
Когда железом ранен в жизнь, в живот —  
не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах—та странность, что белок белей,  
чем нужно для зрачка, который светел.  
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,  
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?  
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).  
Собаньская (Ржевусской рождена,  
но рано вышла замуж, муж — Собаньский,

бесхитростен, ничем не знаменит,  
тих, неказист и надобен для виду.  
Его собой затмить и заменить  
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.  
Одесса. Разом — ссылка и свобода.  
Раб, обезумев, так бывает горд,  
как он. Ему — двадцать четыре года.

Звать — Каролиной. О, из чаровниц!  
В ней все темно и сильно, как в природе.  
Но вот письма французский черновик  
в моем, почти дословном, переводе.

## 2. ОН — ЕЯ

(Ноябрь 1823 года, Одесса)

Я не хочу Вас оскорбить письмом.  
Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок  
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу.  
Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,  
но Ваш отъезд к печальному концу  
судьбы приравниваю. Сердцу тесно  
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу  
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.  
Когда я вижу Вас, я всякий раз  
смешон, подавлен, неумы, но верьте  
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,  
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...



Глубокий нежный сад, впадающий В Оку,  
стекающий с горы лавиной многоцветья.  
Начнемте же игру, любезный друг, ау!  
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:  
не спрашивать зачем и поманить рукою  
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,  
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведением двух  
кисейных рукавов, за блеском медальона,  
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!..  
сокрывшего, и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,  
забыть грядущий век для сущего события.  
Ау, любезный друг! Идете ли? — Иду. —  
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук  
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной. — Ну, что же,  
храни его господь. Ау, любезный друг!  
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды  
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.  
И, как ни отступай в столетья и сады,  
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.

## ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу  
легко лететь с небес в угоду февралю,  
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.  
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове  
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.  
Мой голос, словно снег, вам упадет в ноги,  
и он умрет, как снег, и обратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь  
явиться на помост с больничной простыни.  
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!  
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —  
плясунья, так плящи, пока не сорвалась.  
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо.  
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,  
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.  
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.  
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Измучена гортань кровотеченьем речи,  
но весел мой прыжок из темноты кулис.  
В одно лицо людей, все явственней и резче,  
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращу в поклон нерасторопность жеста.  
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.  
Достанет ли их вам для малого блаженства?  
Не навсегда прошу—пускай на миг, на миг...



Потом я вспомню, что была жива,  
зима была, и падал снег, жара  
стесняла сердце, влюблена была—  
в кого? во что?  
Был дом на Поварской  
(теперь зовут иначе)... День-деньской,  
ночь напролет я влюблена была —  
в кого? во что?

В тот дом на Поварской,  
в пространство, что зовется мастерской  
художника.  
Художника дела  
влекли наружу, в стужу. Я ждала  
его шагов. Смеркался день в окне.  
Потом я вспомню, что казался мне  
труд ожидания целью бытия,  
но и тогда соотносила я  
насущность чудной нежности — с тоской  
грядущей... А дом на Поварской —  
с немыслимым и неизбежным днем,  
когда я буду вспоминать о нем...

## ДОМ

*Борису Мессереру*

Я вам клянусь: я здесь бывала!  
Бежала, позабыв дышать.  
Завидев снежного болвана,  
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,  
снег рукотворный на снегу,  
как ты, жива на миг, а верю,  
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа  
к витринам — празднество сулил.  
Уже Никитские ворота  
разверсты были, снег валил.

Какой полет великолепный,  
как сердце бедное несло  
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,  
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого  
поступка до скончанья лет —

в подъезд, где ветхий лак плафона  
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко  
я в дом влюбилась! Этот дом  
набит, как детская копилка,  
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,  
которым не было числа,  
подвыпивших, поскольку праздник,  
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум страждал,  
подглядывая с добротой  
неистовую жизнь сограждан,  
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность  
моя в том доме длилась, я  
его старухам полюбилась  
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом  
мы поднимались, говоря  
о том, как тяжело старым телом  
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве  
душа моя отвергла зло,  
и все казались мне прекрасны,  
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность  
ко всем вблизи и вдалеке.  
Пульсировала бесконечность  
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров  
меня заманивали в глубь  
чужих печалей, свадеб, вздоров,  
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен  
пришелец взмыть под крайний свод,  
где я была, где жил художник,  
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи  
воспитаны, как существа.  
Глаголет их немое вече  
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,  
был не корыстен, не богат.  
Возвышенная вещь родима  
душе, как верный пес иль брат.

Со свалки времени былого  
возвращены и спасены,  
они печально и беззлобно  
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового  
так широко открыт раструб.  
Четыре вещей граммофона  
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю  
от нежности, когда вхожу,  
я так же шею выгибаю  
и так же голову держу.

Я, как они, витиевата,  
и горла обнажен проем.  
Звук незапамятного вальса  
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул,  
и не они ль меня влекли  
очнуться в грозном и великом  
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,  
как зряч к значенью красоты!

**Мой город, словно новый город,  
мне предъявил свои черты.**

**Смуглей великого арапа  
восходит ночь. За что мне честь —  
в окно увидеть два Арбата:  
и тот, что был, и тот, что есть?**

**Лиловой гроздью виснет сумрак.  
Вот стул — капризник и чудак.  
Художник мой портрет рисует  
и смотрит остро, как чужак.**

**Уже считая катастрофой  
уют, столь полный и смешной,  
яmb примеряю пятистопный  
к лицу, что так любимо мной.**

**Я знаю истину простую:  
любить — вот верный путь к тому,  
чтоб человечество вплотную  
приблизить к сердцу и уму.**

**Всегда быть не хитрей, чем дети,  
не злей, чем дерево в саду,  
благословляя жизнь на свете  
заботливей, чем жизнь свою.**

**Так я жила былой зимою.  
Ночь разрасталась, как сирень,  
и все играла надо мною  
печали сильная свирель.**

**Был дом на берегу бульвара.  
Не только был, но ныне есть.  
Зачем твержу: я здесь бывала,  
а не твержу: я ныне здесь?**

**Еще жива, еще любима,  
все это мне сейчас дано,  
а кажется, что это было  
и кончилось давным-давно...**



## ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —  
там, где лебеди и зоосад,  
на прицеле всеобщего взора  
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть **проникая**,  
сердцем втиснувшись в сердце — **века**  
два гепарда лежат. О, какая,  
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,  
равный глаз безысходной любви.  
На потеху толпе простодушной  
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, ухожу ли—  
не слабее с той давней поры  
их объятье густое, как джунгли,  
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,  
ни утрат, ни оград, ни преград.  
Только так, только так, два гепарда,  
я-то знаю, гепард и гепард.



Какое блаженство, что блещут снега,  
что холод окреп, а с утра моросило,  
что дико и нежно сверкает фольга  
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель  
восходят над скукою прочих имуществ,  
томительность предновогодних недель  
терпеть и сносить — что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли  
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,  
и вечнозеленая новость любви  
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,  
где прежде таились и как сговорились!  
Как дети, что ждут у заветных дверей,  
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,  
где краше затеплится шарик стеклянный,  
и только любить, только ель наряжать  
и созерцать этот мир несказанный...



Прохожий, мальчик, что ты? Мимо  
иди и не смотри мне вслед.  
Мной тот любим, кем я любима!  
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость  
вперять в меня повремени:  
то смех любви, сверкнув, как юность,  
позолотил черты мои.

Иду... февраль прохладой лечит  
жар щек... и снегу намело  
так много... и нескромно блещет  
красой любви лицо мое.

## ВОСПОМИНАНИЕ

Мне говорят: который год  
в твоём доме идет ремонт,  
и, говорят, спешит народ  
взглянуть на бодрый ход работ.

Какая вновь взята Казань  
и в честь каких побед и ран  
встает мучительный глазам  
цветастый азиатский храм?

Неужто столько мастеров  
ты утруждаешь лишь затем,  
создав их из чужих сторон,  
чтоб тень мою свести со стен?

Да не любезничай, чудак!  
Ату ее, гони взашей —  
из вечной нежности собак,  
из краткой памяти вещей!

Не надо храма на крови!  
Тень кротко прынет за карниз —  
а ты ей лакомство скорми,  
которым угощают крыс.

А если в книжный переплет —  
пусть книги кто-нибудь сожжет.  
Она опять за свой полет —  
а ты опять за свой сачок.

Не позабудь про дрожь перил:  
дуб изведи, расплавь металл —  
им локоть столько говорил,  
покуда вверх и вниз летал.

А если чья-нибудь душа  
вдруг обо мне тайком всплакнет —  
пусть в устье снега и дождя  
вспорхнет сквозь белый потолок.

И главное — чтоб ни одной  
свечи, чтоб ни одной свечи:  
умеет обернуться мной  
свеча, горящая в ночи.

Не дай, чтоб пялилась свеча  
в твои зрачки своим зрачком.

Вот что еще: убей сверчка!  
Мне доводилось быть сверчком.

Все делай так, как говорю,  
пока не поздно, говорю,  
не то устанешь к декабрю  
и обратишь свой дом в зарю.

## ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега  
скрипела, и маленький лес  
просил подаяния снега  
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:  
какая невзрачная рань!  
Мы оба тоскуем смертельно,  
не выжить нам, брат мой февраль.

Бесснежье голодной природы,  
измучив поля и сады,  
обычную скудость невзгоды  
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,  
светало, а солнце не шло.  
Взамен плодородного неба  
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы  
не надо, и поздно уже.  
Лишь бедная прибыль снежинки  
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,  
я знала морщинами лба,  
что я в эту зиму устала  
скитаться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,  
искала окольных путей  
узнать про возможные сдвиги  
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто-то томился и бегал,  
твердил: его нет! его нет!  
Смеркалось, а он все обедал,  
вкушал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!  
Мой почерк мне скушен и нем.  
Писать, как хочу, не умею,  
писать, как умею, — зачем?

Стекло голубело, и дивность  
из пекла антенн и реле  
проистекала, и длилась,  
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка диктор,  
над бездной земли и воды  
одной в мироздании диком  
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала  
меж башней и зреньем людей,  
открылась небесная тайна  
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,  
и доблестный твой голосок  
неоспоримо и смело  
падение снега предрек.

Сказала: грядущею ночью  
начнется в Москве снегопад.  
Свою драгоценную ношу  
на нас облака расточат.

Забудет короткая память  
о муке бесснежной зимы,

а снег будет падать и падать,  
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,  
чрезмерной любовью судьбы,  
усласю губ и напитком,  
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,  
богатством снабдит бедняка,  
и в этом блаженстве белейшем  
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете  
метели вседобрая власть,  
и будем мы — баловни, дети  
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так все и было.  
Снег падал и долго был жив.  
А я — влюблена и любима,  
и вот моя книга лежит.



*Андрею Вознесенскому*

За что мне все это? Февральской теплыни подарки,  
поблажки небес: то прилив, то отлив снегопада.  
То гляну в окно: белизна без единой помарки,  
то сумерки выросли, словно растения сада.

Как этого мало, и входит мой гость ненаглядный.  
Какой ты нарядный, а мог оборванцем скитаться.  
Ты сердцу приходишься братом, а зренью—наградой  
О, дай мне бедою с твоею звездой расквитаться.

Я — баловень чей-то, и не остается оружия  
ума, когда в дар принимаю твой дар драгоценный.  
Входи, моя радость. Ну, что же ты медлишь, Андрюша,  
в прихожей, как будто в последних потемках за сценой?

Стекло о стекло, лоб о губы, а ложки — о плошки.  
Не слишком ли это? Нельзя ли поменьше, поплоче?  
Боюсь, что так много. Ненадобно больше, о, боже.  
Но ты расточитель, вот книга в зеленой обложке.

Собрат досточтимый, люблю твою новую книгу,  
еще не читая, лаская ладонями глянец.  
Я в нежную зелень проникну и в суть ее вникну.  
Как все зеленеет— куда ни шагнешь и ни глянешь.

Люблю, что живу, что сиденье на ветхом диване  
гостей неизбежных его обрекло на разруху.  
Люблю всех, кто жив. Только не расставаться давайте,  
сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу.



Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.  
— Вам сколько лет? — Ответила:  
— Осьмнадцать.  
Многоугольник скул, локтей, колен.  
Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы,  
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,  
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:  
ночь напролет при лампе и тетради.

Так и сказала: — Мне осьмнадцать лет.  
Меня никто не понимает в доме.  
И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! —  
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,  
и как добра, и как жадна до боли.  
Я улыбаюсь. Знаю, что — давно,  
а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно — скорей,  
не расточив из времени ни часа,  
робеть, не зная прелести своей,  
печалиться, не узнавая счастья...

●

Сад еще не облетал,  
только береза желтела.  
«Вот уж и август настал», —  
я написать захотела.

«Вот уж и август настал», —  
много ль ума в этой строчке, —  
мне ль разобраться? На сад  
осень влияла все строже.

И самодержец души  
там, где исток звездопада,  
повелевал: — Не пиши!  
Августу славы не надо.

Слитком последней жары  
сыщешь эпитет не ты ли,  
коль золотые шары,  
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.  
Плод упал переспелый.  
Возле меня и стола  
день угасал не воспетый.

В прелести действий земных  
лишь тишина что-то значит.  
Слишком развязно о них  
бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,  
по багрецу перелеска,  
Пушкин, октябрь наступил.  
Сколько прохлады и блеска!

Лед поутру обметал  
ночью налитые лужи.  
«Вот уж и август настал», —  
ах, не дописывать лучше.



Бедствую и не могу  
следовать вещим капризам.  
Но золотится в снегу  
августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.  
Весело при снегопаде  
слышать, как вечный диктант  
вдруг достигает тетради...



Завидна мне извечная привычка  
быть женщиной и мужнею женою,  
но уж таков присмотр небес за мною,  
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолнимый,  
в сохранности от всех благополучий,  
но обойди твоей опекой жгучей  
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод  
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.  
Как все, хотела — и поила грудью,  
хотела — медом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна  
в их лицах мета нашего единства.  
Уж коль ворона белой уродится,  
не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,  
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.  
Все более я пред людьми безгрешна,  
все более я пред детьми виновна.

●

Я школу Гнесиных люблю,  
пока влечет меня прогулка  
по снегу, от угла к углу,  
вдоль Скатертного переулка.

Дорожка — скатертью, богат  
крахмал порфиноносной прачки.  
Моих две тени по бокам —  
две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю  
за песнь, за превышенье прозы,  
за желтый цвет, что ноябрю  
предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг  
за толщей желтой штукатурки,  
что делает согбенный звук  
внутри захлопнутой шкатулки?

Сподвижник музыки ушел —  
где музыка? Душа погасла  
для сна, но сон творим душой,  
и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком  
и не доказана нимало,  
что делает тайком, молчком  
ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины  
она растет прыжком подспудным,  
и сны ее совершены  
сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю  
в ночи, но более при свете,  
скользя по утреннему льду,  
ловить еду в худые сети.

Влеку суму життя-быття  
иному подлежа влеченью,  
возвышенно бредет дитя  
с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,  
с недоуменьем обнаружу,  
что безбоязненный бемоль  
порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,  
и надобно доверье к храму,  
где чьи-то детские уста  
вовсеки распевают гамму,

и крошка-музыкант таков,  
что, бодрствуя в наш час дремотный,  
один вдоль улиц и веков  
всегда бредет он с папкой нотной.

Я школу Гнесиных люблю,  
когда бела ее ограда  
и сладкозвучную ладью  
колышут волны снегопада.

Люблю ее, когда весна  
велит, чтоб вылезли петунии,  
и в даль открытого окна  
доверчиво глядят певунии.

Зачем я около стою?  
Мы слух на слух не обменяем:  
мой — обращен во глубь мою,  
к сторонним звукам невменяем.

Прислушаюсь — лишь боль и резь,  
а кажется — легко, легко ведь...  
Сначала — музыка. Но речь  
вольна о музыке глаголить.

У тысячи мужчин, влекомых вдоль Арбата  
заботами или бездельем дня,  
спросила я: — Скажите, нет ли брата,  
меж всеми вами брата для меня?  
— Нет брата, — отвечали, — не взыщите.—  
Тот пил вино, тот даму провожал.  
И каждый прибегал к моей защите  
и моему прощенью подлежал.

### СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ ДАВНЫМ-ДАВНО

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,  
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,  
испуганными голосами мне говорили:

«Пойдем в кино или в музей  
изобразительных искусств».

Я отвечала им примерно вот что:

«Мне некогда».

Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.

Пятнадцать мальчиков мне говорили:

«Я никогда тебя не разлюблю».

Я отвечала им примерно вот что:

«Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.

Они исполнили тяжелую повинность

подснежников, отчаянья и писем.

Их любят девушки — иные красивее, чем я,  
иные некрасивей.

Пятнадцать мальчиков

преувеличенно свободно,

а подчас злорадно

приветствуют меня при встрече,

приветствуют во мне при встрече

свое освобождение, нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.

Поставлю я твои подснежники в стакан,  
и коренастые их стебли обростут  
серебряными пузырьками,  
Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,  
и, победив себя, ты будешь говорить  
со мной надменно,  
как будто победил меня,  
а я пойду по улице, по улице...



Моя машинка — не моя.  
Мне подарил ее коллега,  
которому она мала,  
а мне как раз, но я жалела  
ее за то, что человек  
обрек ее своим поведением,  
и, сделавшись живей, чем вещь,  
она страдала, став подарком.  
Скучал и бунтовал зверек,  
неприрученный нрав насупив,  
и отвергал как лишний слог  
высокопарнейший мой суффикс.  
Пришелец из судьбы чужой  
переиначивал мои почерк,  
меня неведомой душой  
отяготив, но и упрочив.  
Снесла я произвол благой  
и сделаюсь судьбой моею—  
всегда желать, чтоб мой глагол  
был проще, чем сказать умею.  
Пока в себе не ощутишь  
последней простоты насущность,  
слова твои—пустая тишь,  
зачем ее слагать и слушать?  
Какое слово предпочесть  
словам, их грешному излишку —  
не знаю, но всего, что есть,  
упор и понуканье слышу.

## МОСКВА НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ

(Отрывок)

Родитель-хранитель-ревнитель души,  
что ластишься чудом и чадом?  
Усни, не тарашь на луну этажи,  
не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин  
в ночь первого сильного снега?  
(Мой друг, твое имя окликнет с афиш  
из отчужденья, как с неба.

То ль скареда-лампа жалеет огня,  
то ль так непроглядна погода,  
мой друг, твое имя читает меня  
и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть, •  
орды угомон и поминки,  
блаженная пестрядь, родимая речь —  
всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак  
в садочке, в калине-малине.  
И вдруг ни с того ни с сего, просто так,  
в ресницах — слеза по Марине...



Стихотворения чудный театр,  
нежься и кутайся в бархат дремотный.  
Я ни при чем, это занят работой  
чуждых божеств несравненный талант.

Я лишь простак, что извне приглашен  
для сотворенья стороннего действия.

Я не хочу! Но меж звездами где-то  
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,  
нам ли решать, что сегодня сыграем?  
Глух к наставленьям и недосыгаем  
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —  
нас упасти от любви его лютой?  
Как помыкает безграмотной лютней  
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,  
некого спрашивать: вместо ответа —  
мука, когда раздирают отверстие  
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.  
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.  
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран  
стихотворения чудный театр.

## ПОБЕДА

В день празднества, в час майского дождя.  
в миг соловьиных просьб и повелений,  
когда давно уж выросло дитя,  
рожденное порой послевоенной,  
когда разросся в небе фейерверк,  
как взрыв сирени бел, лилов и розов, —  
вдруг поглядит в былое человек  
и взгляд его становится серьезен.  
Есть взгляд такой, такая тень чела —  
чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее.  
То память о войне, величина  
раздумья и догадка — неужели  
я видела тот май, что превзошел  
иные май и доныне прочен?

Крик радости в уста, слезу в зрачок  
вписал его неимоверный почерк.  
На площади, чья древняя краса  
краснеет без изъяна и пробела,  
исторгнув думу, прынул в небеса  
вздых всей земли и всех людей — Победа!

## АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Как мило все было, как странно.  
Луна восходила, и Анна  
печалилась и говорила:  
— Как странно все это, как мило.  
В деревьях вблизи ипподрома —  
случайная сень ресторана.  
Веселье людей. И природа:  
луна, и деревья, и Анна.  
Вот мы — соучастники сборищ.  
Вот Анна — сообщник природы,  
всего, с чем вовеки не споришь,  
лишь смотришь—мгновенья и годы.  
У трав, у луны, у тумана  
и малого нет недостатка.  
И я понимаю, что Анна —  
явление того же порядка.  
Но, если вблизи ипподрома,  
но, если в саду ресторана,  
и Анна, хотя и продрогла,  
смеется так мило и странно,  
я стану резвей и развязней  
и вымолвлю тост неизбежный:  
— Ах, Анна, я прелести вашей  
такой почитатель прилежный.  
Позвольте спросить вас: а разве  
ваш стих — не такая ж загадка,  
как встреча Куры и Арагвы  
близ Мцхета во время заката?  
Как эти прекрасные реки  
слились для иного значенья,



так вашей единственной речи  
нерасторжимы теченья.  
В ней чудно слова уцелели,  
сколь есть их у Грузии милой,  
и раньше — до Свети-Цховели,  
и дальше — за нашей могилой.  
Но, Анна, вот сад ресторана,  
веселье вблизи ипподрома,  
и слышно, как ржет неустанно  
коней неусыпная дрема.  
Вы, Анна, — ребенок и витязь,  
вы — маленький стебель бесстрашный,  
но, Анна, клянитесь, клянитесь,  
что прежде вы не были в хашной!  
И Анна клялась и смеялась,  
смеялась и клятву давала:  
— Зарей, затевающей алость,  
клянусь, что еще не бывала!  
О жизнь, я люблю твою сущность:  
луну, и деревья, и Анну,  
и Анны смятенье и ужас,  
когда подступали к духану.  
Слагала душа потаенно  
свой шелест, в награду за это  
присутствие Галактиона  
равнялось избытку рассвета,  
не то, чтобы видимо зренью,  
но очевидно для сердца,  
и слышалось: — Есмь я и рею  
вот здесь, у открытого среза  
скалы и домов, что нависли  
над бездной Куры близ Метехи.  
Люблю ваши детские мысли  
и ваши простые утехи.  
И я помышляла: покуда  
соседом той тени не стану,  
дай, жизнь, отслужить твое чудо,  
ту ночь, и то утро, и Анну...

Я столько раз была мертва  
иль думала, что умираю,  
что я безгрешный лист мараю,  
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,  
страх поутру, что все сначала.  
Но Грузия меня всегда  
звала к себе и выручала.

До чудных слез любви в зрачках  
и по причине неизвестной,  
о, как, когда б вы знали, — как  
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомек —  
каким родителем суровым  
я брошена на твой порог  
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял,  
и я ни разу не спросила:  
за что деграми осыпал  
и мне же говорил «спасибо»?

Какую жизнь ни сотворю  
из дней грядущих, из тумана, —  
чтоб отслужить любовь твою,  
все будет тщетно или мало...

Помню — как вижу, зрачки затемню  
веками, вижу: о, как загорело  
все, что растет, и, как песнь, затяну  
имя земли и любви: Сакартвело.

Чуждое чудо, грузинская речь,  
Тереком буйствуй в теснине гортани,  
ах, я не выговорю — без предтеч  
крови, воспитанной теми горами.

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,  
в предки не взяты и родство опровергнуть?  
Ваше — во мне, если в почву вошла  
косточка, — выйдет она на поверхность.

Слепы уста мои, где поводырь,  
чтобы мой голос впотьмах порезвился?  
Леса ли оклик услышу, воды ль —  
кажется: вот говорят по-грузински.

Как я люблю, славянин и простак,  
недостигаемость скороговорки,  
помнишь: лягушки в болоте... О, как  
мучают горло предгорья, пригорки

грамоты той, чьи вершины в снегу  
Ушбы надменной. О, вздор альпенштока!  
Гмерто, ужель никогда не смогу  
высказать то — несказанное что-то?

Только во сне — велика и чиста,  
словно снега, разрастаюсь и рею,  
сколько хочу, услаждаю уста  
речью грузинской, грузинскою речью...



Я знаю, все будет: архивы, таблицы...  
Жила-была Белла... потом умерла...  
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,  
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:  
с небес упал солнцепек проливной,  
и не было в городе этом подвала,  
где б Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи, мерцают родимые лица.  
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.  
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса  
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие  
в другие помянут меня времена.  
Спасибо! — Да тщетно: как Шура и Гия,  
никто никогда не полюбит меня.

## ПУТНИК

*Анели Судикевич*

Прекрасной медленной дорогой  
иду в Алёкино (оно  
зовет себя: Алекинó),  
и дух мой, мерный и здоровый,  
мне внове, словно не знаком  
и, может быть, не современник  
мне тот, по склону, сквозь репейник,  
в Алекино за молоком  
бредущий путник. Да туда ли,  
затем ли, ныне ль он идет,  
врисован в луг и небосвод  
для чьей-то думы и печали?  
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —  
всегда: пространства завсегдатай,  
подошвами худых сандалий  
осуществляет ход времен  
вдоль вечности и косогора.  
Приняв на лоб припек огня  
небесного, он от меня  
все дальше и — исчезнет скоро.  
Смотрю вослед своей душе,  
как в сумерках на убыль света,  
отсутствую и брезжу где-то —  
то ли еще, то ли уже.  
И, выпроставшись из артерий,  
громоздких пульсов и костей,

вишу, как стайка новостей,  
в ночи не принятых антенной.  
Мое сознание растолкав  
и заново его туманя  
дремотной речью, тетя Маня  
протягивает мне стакан  
парной и первобытной влаги.  
Сижу. Смеркается. Дождит.  
Я вновь жива и вновь должник  
вдали белеющей бумаги.  
Старуха рада, что зятя  
убрали сено. Тишь. Беспечность.  
Течет, впадая в бесконечность,  
журчание житья-бытья.  
И снова путник одержимый  
вступает в низкую зарю,  
и вчуже долго я смотрю  
на бег его непостижимый.  
Непоправимо сир и жив,  
он строго шествует куда-то,  
как будто за красу заката  
на нем ответственность лежит.

## ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,  
ту, которую он почему-то считает своею,  
и пеняет звезде: «Воз житья я на кручу везу.  
Выдох легких таков, что отвергнут голодной свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,  
что брезгливей, чем я, не подыщешь себе рецензента.  
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.  
Дай уста отомкнуть не для пенья, а для ротозейства».

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.  
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.  
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,  
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем, это—ложь и притворство влюбленной звезды.  
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.  
И доносится шелест: «Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!»  
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.  
Еще рань и февраль; а природа цвести притерпелась.  
Обнаженным зрачком и продутым навывлет плечом  
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,  
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.  
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,  
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.

Чем южнее его бег, тем мимоза темней и лысей.  
Там, где берег и лазурь непомерны, как бред и бравада,  
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,  
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,  
чем загробье. Прощай. Что растет из гранитных расселин?  
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач  
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы  
он целует, их слух повергая в восторженный ужас  
тем, что есть его речь, содержание и образ судьбы,  
так же просто, как свет для свечи — и занятие, и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик,  
будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:  
если глянет сильнее — невинную жизнь опалит,  
и на розовом лице останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,  
чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? —  
и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд, —  
(благоденствуйте, дескать) — хоть вовремя, но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох  
на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.  
Это так же удобно, как если бы чертополох  
вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,  
он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.  
Вот он дома достиг, и, при сильной усмешке звезды,  
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.  
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.  
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,  
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

## ЛЕНИНГРАД

Опять дана глазам награда Ленинграда...  
Когда сверкает шпиль, он причиняет боль.  
Вы неразлучны с ним, вы — острие и рана,  
и здесь всегда твоя второстепенна роль.

Зрачок пронзен насквозь, но зрение на убыль  
покуда не идет, и по причине той,  
что для него всегда целебен круглый купол,  
спасительно простой и скромно золотой.

Невинный Летний сад обрек себя на иней,  
но сей язык списать не предстоит перу.  
Осталось, к небесам закинув лоб наивный,  
решать: зачем душа потворствует Петру?

Не всадник и не конь, удержанный на месте  
всевластною рукой, не слава и не смерть —  
их общий стройный жест, изваянный из меди,  
влияет на тебя, плоть обращая в медь.

Всяк царь мне дик и чужд. Знать не хочу! И все же  
мне не подсудна власть — уставить в землю перст,  
и причинить земле колонн и шпилей всходы,  
и предрешить того, кто должен их воспеть.

Из Африки изъять и приручить арапа,  
привить ожог чужбин Опочке и Твери —

смысл до поры сокрыт, в уме — темно и рано,  
но зреет близкий ямб в неграмотной крови...

Так некто размышлял... Однако в Ленинграде  
какой февраль стоит, как весело смотреть:  
все правильно окрест, как в пушкинской тетради,  
раз навсегда, впопад и только так, как есть!



Не добела раскалена,  
и все-таки уже белеет  
ночь над Невую.  
Ум болеет  
тоской и негой молодой.  
Когда о купол золотой  
луч разобьется предрассветный  
и лето входит в Летний сад,  
каких наград, каких услад  
иных  
просить у жизни этой?

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Все б глаз не отрывать от города Петрова,  
гармонию читать во всех его чертах  
и думать: вот гранит, а дышит, как природа...  
Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.

Былая жизнь моя — предгорье сих ступеней.  
Как улица стара, где жили повара.  
Развязно юн пред ней пригожий дом столетний.  
Светает, а луна трудов не прервала.

Как велика луна вблизи окна. Мы сами  
затеяли жилье вблизи небесных недр.



Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:  
ведь выше — только глушь, где нас с тобою нет.

Плеск вечности в ночи подтачивает стены  
и зарится на миг, где рядом ты и я.  
Какая даль видна! И коль взглянуть острее,  
возможно различить границу бытия.

Вселенная в окне — букварь для грамотея,  
читаю по складам и не хочу прочесть.  
Объятую зарей, дымами и метелью,  
как я люблю Москву, куда время есть.

И давешняя мысль — не больше безрассудства.  
Светает на глазах, все шире, все быстрее.  
Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,  
простер Тверской бульвар цепочку фонарей.



Вот не такой, как двадцать лет назад,  
а тот же день. Он мною в половине  
покинут был, и сумерки на сад  
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошел  
до истины, что жарко, тем же делом  
и мненьем занят. И оса — дюшес  
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.  
И тот же некто около почтамта  
до сей поры конверт не надорвет,  
страшась, что весть окажется печальна.

Все та же в море бледность пустоты.  
Купальщик, тем же опаленный светом,  
переступает моря и строфы  
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,  
кефаль и чайка, ржавый мед и жало.  
И у меня своя здесь жертва есть.  
Вот след в песке. Здесь девочка бежала.

Я помню ту — имевшую в виду  
писать в тетрадь до сини предрассветной.  
Я медленно навстречу ей иду—  
на двадцать лет красивей и предсмертной.

— Все пишешь, — я с усмешкой говорю.  
Брось, отступись от рокового дела.  
Как я жалею молодость твою.  
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно все, чего ты ждешь теперь.  
Все будет: книги, и любовь, и слава.  
Но страшен мне канун твоих потерь.  
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты  
не можешь знать того, что знаю ныне:  
в чудовищных веригах немоты  
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед — сохранности от бед.  
Страшись тщеты смертельного излишка.  
Ты что-то важно говоришь в ответ,  
но мне — тебя, тебе — меня не слышно.

## РОЗА

Вид рынка в Гаграх душу веселит.  
На злато дыни медный грош промотан.  
Не есть ли я ленивый властелин,  
чей взор пресыщен пурпуром и медом?

Вздыхает нега, бодрствует расчет,  
лоснится благоденствие Кавказа.

Торговли огнедышащий зрачок  
разнежен сном и узок от коварства.

Где, визирь мой, цветочные ряды?  
С пристрастьем станем выбирать наложниц.  
Хвалю твои беспечные труды,  
владелец сада и садовых ножниц.

Знай, я полушки ломаной не дам  
за бледность черт, чья быстротечна участь.  
Я красоту люблю, как всякий дар,  
за прочный позвоночник, за живучесть.

Я алчно озираюсь. Наконец,  
как старый царь — невольницу младую,  
влеку я розу в бедный мой дворец  
и на свои седины негодную.

Эй вы, плавней, кто тянет паланкин!  
Моих два локтя понукаю, то есть —  
хранить ее, пока меж половин  
всего, что в нем, расплющил нас автобус.

В беспамятстве, в росе еще живой,  
спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.  
Как соразмерно мощный стебель твой  
прелестно малой головой увенчан.

Уф, отдышусь. Вот дом, в чей бок тавро  
впечатано: «Дом творчества». Как просто!  
Есть дом у нас, чтоб сотворить твоё  
бессмертие на белом свете, роза!

Пока юлит перед тобой глагол,  
твой гений сразу обретает навык  
дышать водой, опередив глоток  
сестер твоих — прислужниц и чернавок.

Прости, дитя, что из родимых куш  
изъяв тебя, томлю тебя беседой.  
Лишь для того мой разум всемогущ,  
чтоб стала ты пусть мертвой, но воспетой.

Что розе этот вздор? Уныл и дряхл  
хваленый ум и всяк эпитет скуден.  
Он бесполезней и скучнее драхм  
ее красе, что занята искусством.

Растеньем быть, а не предметом для  
хвалы моей. О, как светает грозно.  
Я говорю при первом свете дня:  
— Как ты прекрасна, розовая роза!

Та роза ныне — слабый призрак, вздох.  
Но у нее заступник есть в природе.  
Как беспощадно он взывает долг  
с немой души, робеющей при розе.

## ТИФЛИС

*Отару и Тамазу Чиладзе*

Как любила я жизнь! — О любимая, длись! —  
я вослед Тициану твердила.  
Я такая живучая, старый Тифлис,  
твое сердце во мне невредино.

Как мацонщик, чей ослик любим как никто,  
возвещаю восход и мацони.  
Коль кинто не придет, я приду, как кинто,  
веселить вас, гуляки и сони.

Ничего мне не жалко для ваших услад.  
Я — любовь ваша, слухи и басни.  
Я нырну в огнедышащий маленький ад  
за стихом, как за хлебом — хабази.

Жил во мне соловей, все о вас он звенел,  
и не то ль меня сблизило с вами,  
что на вас я взирала глазами зверей  
той породы, что знал Пиросмани.

Без Тифлиса жила, по Тифлису томьясь.  
Есть такие края неужели,

где бы я преминула, Отар и Тамаз,  
вспомнить вас, чтоб глаза повлажнили?

А когда остановит дыханье и речь  
та, последняя в жизни превратность,  
я успею подумать: позволь умереть  
за тебя, мой Тифлис, моя радость!

## ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ ПАБЛО НЕРУДЕ

Коль впрямь качнулась и упала  
его хранящая звезда,  
откуда эта весть от Пабло  
и весть моя ему — куда?

С каких вершин светло и странно  
он озирает белый свет?  
Мы все прекрасны несказанно,  
пока на нас глядит поэт.

Вовек мне не бывать такую,  
как в сумерках того кафе,  
воспетых чудною строкою,  
столь благосклонною ко мне.

Да было ль в самом деле это?  
Но мы, когда отражены  
в сияющих зрачках поэта,  
равны тому, чем быть должны.



Деревни Бёхово крестьянин...  
А звался как и жил когда —  
все мох сокрыл, затмил кустарник,  
размыла долгая вода.  
Не вычитать из недомолвок

непрочного известняка:  
вдруг, бедный, он остался молод?  
Да, лишь одно наверняка  
известно.  
И не больше вздора  
все прочее, на что строку  
потратит лень.  
Дождь.  
С косогора  
вид на Тарусу и Оку.

## ЛУНА В ТАРУСЕ

Двенадцать часов. День июля десятый  
исчерпан, одиннадцатый — не почат.  
Меж зреющей датой и датой иссякшей —  
мгновенье, когда телеграф и почтамт  
меняют тавро на тавро и печально  
вдоль времени следуют бланк и конверт.  
До времени, до телеграфа, почтамта  
мне дальше, чем до близлежащей,  
о нет, до близпльвущей, пылающей ниже,  
насушней, чем мой рукотворный огонь  
в той нише, где я и крылатые мыши, —  
луны, опаляющей глаз сквозь ладонь,  
загаром русалок окрасившей кожу,  
в оклад серебра облекающей лоб,  
и фосфор, демаскирующий кошку,  
отныне и есть моя брменная плоть.  
Я мучу доверчивый ум рыболова,  
когда, запалив восковую звезду,  
взмываю в бревенчатой ступе балкона,  
предавшись сверканью, как будто труду.  
Всю ночь напролет для неведомой цели  
бессмысленно светится подвиг души,  
как будто на ветку рождественской ели  
повесили шар для красоты и ушли.  
Сообщник и прихвостень лунного света,  
смотрию, как живет на бумаге строка

сама по себе. И бездействие это сильнее поступка и слаще стиха. С луной разделив ее труд и мытарство, последним усильем свечу загашу и слепо тащусь в направленья матраца. За горизонт бытия захожу.

## ТАРУСА

### I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...  
И тьмы подошв — такой травы не изомнут.  
С откоса на Оку вы глянули когда-то:  
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.  
Какая зелень глаз вам свойственна, однако...  
Давно из-под ресниц обронен изумруд.  
Или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага  
есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?  
Какая зелень глаз вам свойственна, однако...  
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,  
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо  
спешить, уже темно, и ужинать зовут.

### II

Здесь дом стоял. Столетие назад  
был день: рояль в гостиной водворили,  
ввели детей, открыли окна в сад,  
где ныне лют ревнитель викторины.  
Ты победил. Виктория — твоя.  
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,  
площадка-танц, иль как ее... Видна  
звезда небес, как бред и опечатка  
в твоём дикоязыком букваре.  
Ура, что победил, недаром злился  
и морщил лоб при этих — в серебре,  
безумных и недремлющих из гипса.  
Прости меня, удачливый старик.

Ты победил. Тебе какое дело,  
что вижу я, как дом в саду стоит,  
где, бедное, твое истлело тело.

### III

Молчали — той. Зато — хвалима эта.  
И то сказать: иные времена.  
Не вняли крику — и целуют эхо,  
к ней опоздав, благословив меня.  
Зато — ее любившие, брезгливы  
ко мне чернила и тетрадь гола.  
Рак на безрыбьи или на безглыбьи  
пригорок — вот вам рыба и гора.  
Людской хвале внимая, разум слепнет  
и вместе гложет. Так проходят дни.  
И слышу вдруг: не осуждай за лепет  
живых людей! ты — хуже, чем они.  
Коль нужно им — возглыбься над низиной  
их бедных бед. А рыба немота —  
не есть ли крик, не слышимый, но зримый,  
оранжево запекшийся у рта?

### ПРИМЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

*Борису Мессереру*

О, гость грядущий, гость любезный!  
Под этой крышей поднебесной,  
которая одной лишь бездной  
всевышней мглы превзойдена,  
там, где четыре граммофона  
взирают на тебя с амвона,  
пируй и пей за время оно,  
за граммофоны, за меня!

В какой немислимой отлучке  
я ныне пребываю, — лучше  
не думать! Ломаной полушки  
жаль на помин души моей,



коль не смогу твой пир обильный  
потешить шуткой замогильной  
и, как всеведущий Вергилий,  
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом неимоверный,  
где быт — в соседях со вселенной,  
где вечности озноб мгновенный  
был ведом людям и вещам,  
и всплеск серебряных сердечек  
о сквозняке пространств нездешних  
гостей, когда-то здесь сидевших,  
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,  
доверься моему глаголу  
и, возведя себя на гору  
поверх шестого этажа,  
благослови любую малость,  
почти предметов небывалость,  
не смей, чтобы тебя боялась  
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,  
всплакнет ли ящик музыкальный,  
иль призрак севера печальный  
вдруг вздыбит желтизну седин, —  
пусть реет над юдолью скушной  
дом, как заблудший шар воздушный,  
чтоб ты, о гость мой простодушный,  
чужбину неба посетил...

## ПАМЯТИ ГЕНРИХА НЕЙГАУЗА

Что — музыка? Зачем? Я — не искатель **муки**.  
Я все нашла уже и все превозмогла.  
Но быть живой невмочь при этом лишнем **звуке**,  
О, мука мук моих, о, музыка моя.

Излишек музык—две. Мне—и одной довольно,  
той, для какой пришла, была и умерла.  
Но все это — одно. Как много и как больно.  
Чужая — и не тронь, о, музыка моя.

Что нужно остриям органа? При органе  
я знала, что распят, кто, говорят, распят.  
О, музыка, вся жизнь — с тобою пререканье,  
и в этом смысл двойной моих услад—расплат.

Единожды жила — и дважды быть убитой?  
Мне, впрочем, — впору. Жизнь так сладостно мала.  
Меж музыкой и мной был музыкант любимый,  
Ты — лишь затем моя, о, музыка моя.

Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот,  
он проводил ко мне все то, что ты рекла.  
Как папоротник тих, как проповедник кроток  
и — краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо, и бархат цвета...цвета? —  
зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:  
как тина или мох. И лишь при том здесь это,  
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд—

столь тихие вблизи громокипящей распри.  
Не мне ее прощать: мне та земля мила,  
где Гете, Рейн, и он, и музыка — прекрасны,  
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.  
Еще там были: шум, бокалы, торжество,  
тот ученик его прельстительно великий,  
и я — какой ни есть, но ученик его.

## ПЕРЕДЕЛКИНО ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

*Станиславу Нейгаузу*

Темнела долгая загадка  
и вот сейчас блеснет ответ.  
Смотрю на купол в час заката  
и в небо ясный вход отверст.

Бессмертная душа надменна,  
а то, что временный оплот  
души, желает жить немедля,  
но это место узнает.

Какая связь меж ним и телом,  
не догадаться мудрено.  
Вдали, внизу, за полем белым  
о том же говорит окно.

Все праведней, все беззащитней  
жизнь света в доблестном окне.  
То—мне привет сквозь мглу, сквозь иней,  
укор и предсказанье мне.

Просительнее слез и слова,  
слышнее изъявления уст  
свет из окна. Но я — готова,  
и я пред ним не провинюсь.

Ни я не замараюсь славой,  
ни поле, где течет ручей,  
не вздумает очнуться свалкой  
ненужных и чужих вещей.

## ПИСЬМО БУЛАТУ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Что в Калифорнии, Булат, —  
не знаю. Знаю, что прелестный,  
пространный край. В природе летней  
похолодает, говорят.

Пока — не холодно. Блестит  
простор воды, идущий зною.  
Над розой, что отрадно взору,  
колибри пристально висит.  
Ну, вот и все. Пригож и юн  
народ. Июль вступает в розы.  
А я же «Вестником Европы»  
свой вялый развлекаю ум.  
Все знаю я про пятый год  
столетья прошлого: раздоры,  
открытья, пререканья, вздоры  
и что потом произойдет.  
Откуда «Вестник»? Дин, мой друг,  
славист, профессор, знаний светоч,  
вполне и трогательно сведущ  
в словесности, чей вкус и звук  
нигде тебя, нигде меня  
не отпускает из полона.  
Крепчает дух Наполеона.  
Графиня Некто умерла,  
до крайних лет судьбы дойдя.  
Все пишут: кто стихи, кто прозу.  
А тот, кто нам мороз и розу  
преподнесет, — еще дитя  
безвестное, но не вполне:  
он — знаменитого поэта  
племянник, стало быть, родне  
известен. Дальше — буря, мгла.  
Булат, ты не горюй, все, вроде,  
о кей. Но «Вестником Европы»  
зачитываться я могла,  
могла бы там, где ты и я  
брели вдоль пруда Химок возле.  
Колибри зорко видит в розе  
насущенный смысл житья-бытья.  
Меж тем, Тому — уже шесть лет!  
Еще что в мире так же дивно?  
Все это удивляет Дина.  
Засим прощай, Булат, мой свет.



(Шуточное послание к другу)

Покуда жилкой голубою  
безумья орошен висок,  
Булат, возьми меня с собою,  
люблю твой легонький возок.

Ямщик! Я, что ли, — завсегда  
саней? Скорей! Пора домой,  
в былое. О Булат, солдатик,  
родимый, не убитый мой.

А остальное — обойдется,  
приложится, как ты сказал.  
Вот зал, и вальс из окон льется.  
Вот бал, а нас никто не звал.

А все ж — войдем. Там, у колонны...  
так смугл и бледен... Сей любви  
не перенести! То — он. Да он ли?  
Не надо знать и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи  
в красу чужбин, в чужие дни?  
Булат, везде одно и то же.  
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!  
Как мною ты любим, мой брат!  
Какая долгая дорога  
из Петербурга в Ленинград.

## ПАВЛУ АНТОКОЛЬСКОМУ

### I

Официант в поношенном крахмале  
опасливо глядит издалика,  
а за столом — цветут цветы в кармане  
и молодость сдает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих,  
Он, палкою по воздуху стуча,  
летит мимо испуганных прохожих,  
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,  
дай помахать и хлебом не корми!  
Гасконский, что ли, это темперамент  
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счету  
тот, кто — один. На белом свете он —  
один всего лишь. Но заглянем в щелку.  
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьет старик бедовый,  
потрескивая на манер огня.  
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.  
Он — мускулы под кожей коня.

Все — чепуха. Сидит старик усталый.  
Движение есть расточенье сил.  
Он скорбный взгляд в далекое уставил.  
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,  
неисполненье давешних надежд.  
А где же — Сын? Где этот строгий мальчик,  
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:  
как вы бодры... вам сорока не дашь...  
Молчали бы, летая по ступеням!  
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!  
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!  
Оно гудит под пологом кровати,  
закруживает, словно карусель.

Ах, этот стол заплешет косоного,  
ах, все, что есть, оставит позади.

Не иссякай, бессмертный Казанова!  
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.  
В чужом доме плачь домовым в трубе.  
Пусть женщина, капризница, мотовка  
тебя целует и грозит тебе.

Запри ее! Пускай она стучится!  
Нет, отпусти! На тройке прокати!  
Все впереди, чему должно случиться!  
Оно еще случится. Погоди.

1956

## II

Двадцать два, значит, года тому  
дню и мне восемнадцатилетней,  
или сколько мне — в этой, уму  
ныне чуждой поре, предпоследней  
перед жизнью, последним, что есть...  
Кахетинского яства нарядность,  
о, глядеть бы! Но сказано: ешь.  
Я беспечна и ем ненаглядность.  
**Это все происходит в Москве.**  
Виноград—подношение Симона.  
Я настолько моложе, чем все  
остальные, настолько свободна,  
что впервые сидим мы втроем,  
и никто не отторгнут могилой,  
и еще я зову стариком  
Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

## СКАЗКА О ДОЖДЕ

в нескольких эпизодах  
с диалогом и хором детей

*Е. Евтушенко*

### 1.

Со мной с утра не расставался Дождь.  
— О, отвяжись! — я говорила грубо.  
Он отступал, но преданно и грустно  
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.  
Его корила я:  
— Стыдись, негодник!  
К тебе в слезах взывает огородник!  
Иди к цветам!  
**Что ты нашел во мне?**

**Меж тем вокруг стоял суровый зной.**  
Дождь был со мной, забыв про все на свете.  
Вокруг меня приплясывали дети,  
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.  
Я спряталась за стол, укрытый нишей.  
Дождь за окном пристроился, как нищий,  
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека  
наказана пощечиною влаги,  
но тут же Дождь, в печали и отваге,  
омыл мне губы запахом шенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.  
Сырым платком я шею обвязала.  
Дождь на моем плече, как обезьяна,  
сидел.  
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,  
он детским пальцем щекотал мне ухо.  
Сгущалась засуха. Все было сухо.  
И только я промокла до костей.



## 2.

Но я была в тот дом приглашена,  
где строго ждали моего привета,  
где над янтарным озером паркета  
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?  
Ведь он со мной расстаться не захочет.  
Он наследит там. Он ковры замочит.  
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта  
во мне сильна, но все ж не безгранична.  
Тебе ходить со мною неприлично. —  
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!  
Какой любовью на меня ты пролит?  
Ах, этот странный климат, будь он проклят! —  
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

## 3.

Хозяин дома оказал мне честь,  
которой я не стоила. Однако,  
промокшая всей шкурой, как ондатра,  
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,  
дышал в затылок жалко и щекотно.  
Шаги — глазок — молчание — щеколда.  
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?  
Он слишком влажный, слишком удлинненный  
для комнат.  
— Вот как? — молвил удивленный  
хозяин, изменившийся в лице.

## 4.

Признаться, я любила этот дом.  
В нем свой балет всегда вершила легкость.  
О, здесь углы не ушибают локоть,  
здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят  
шелка хозяйки, затененной шарфом,  
и, более всего, плененный шкафом —  
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,  
в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.  
Но я очнулась. Ритуал приветствий,  
как опера, станцован был и спет.

## 5.

Хозяйка дома, честно говоря,  
меня бы не любила непременно,  
но робость поступить несовременно  
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О блеск грозы,  
смиранный в тонком горлышке гордячки!)  
— Благодарю, — сказала я, — в горячке  
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.  
Ведь .. хотела, поклонившись слабо,  
сказать:  
— Живу хоть суетно, но славно,  
тем более, что снова вижу вас.)

Она произнесла:  
— Я вас браню.  
Помилуйте, такая одаренность!  
Сквозь дожди! И расстоянья отдаленности! —  
Вскричали все:  
— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,  
на площади, средь музыки и брани,  
мы б свидеться могли при барабане,  
вскричали б вы:  
— В огонь ее, в огонь!

За все! За дожди! За после! За тогда!  
За чернокнижье двух зрачков чернейших,

за звуки, с губ, как косточки черешни,  
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.  
Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!  
Лижи мне руки в нежности великой!  
Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —  
проговорил хозяин уязвленный. —  
Но, впрочем, слава поросли зеленой!  
Есть прелесть в поколение молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —  
просила я. — Все это Дождь наделал.  
Он целый день меня казнил, как демон.  
Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,  
мой верный Дождь один стоял и плакал.  
В моих глазах двумя слезами плавал  
лишь след его, оставшийся во мне.

## 6.

Одна из гостей, протянув бокал,  
туманная, как голубь над карнизом,  
спросила с неприязнью и капризом:  
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.  
Но он богат. Ему легка работа.  
Хотите знать один секрет? — Есть что-то  
неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —  
во мне была такая откровенность —  
он разом обратит любую ценность.  
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.  
Спасем звезду из тесноты колечка! —  
Она кольца мне не дала, конечно,  
в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна **деталь** —  
меня влечет подохнуть под **забором**.  
(Язык мой так и воспаялся вздором.  
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7.

Все, Дождь, тебе припомнится потом!  
Другая гостя, голосом глубоким,  
осведомилась:  
— Одаренных богом  
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:  
— Приходит бог, преласков и превзсел,  
немножно старомоден, как профессор,  
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,  
в кровь разбивая локти и коленки  
о снег, о воздух, об углы Кваренги,  
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,  
тот острый купол помните? Представьте —  
всей кожей **об него!**  
— Да вы присядьте! —  
она меня одернула в сердцах.

8.

Тем временем, для радости гостей,  
творилось что-то новое, родное:  
в гостиную **впускали кружевное,**  
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!  
Я все лгала, я поступала дурно!  
В тебе, как на губах у стеклодува,  
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,  
дита твое, отлитое так нежно!  
Как точен контур, обводящий нечто!  
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой  
в отчаянье вседенном и всенощном  
над детищем твоим, о, над сыночком  
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке,  
Я плакала:  
— Прости меня! Прости же!  
Глаза твои премудры и пречисты!

9.

Тут хор детей возник невдалеке:

Наш номер был объявлен.  
Уста младенцев. Жуть.  
Мы — яблочки от яблонь.  
Вот наша месть и суть.

Вниманье! Детский лепет.  
Мы вас не подведем.  
Не зря великолепен  
камин, согревший дом.

В лопатках — холод милый  
и острия двух крыл.  
Нам кожу алюминий,  
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,  
нас трогает порой  
искусствочко, искусство,  
ребеночек чужой.

Дождливость есть оплошность  
пустых небес. Ура!  
О пошлость, ты не подлость,  
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева  
ты нас спасешь потом.  
Целуем, королева,  
твой бархатный подол

10.

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.  
Мое плечо вело чужую руку.  
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.  
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть  
над мальчиком, заснувшим спозаранку,  
в уста его, в ту алчущую ранку,  
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,  
спала пружина музыки согбенной?  
Как радуга — в бутоне краски белой?  
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?  
Медведица, вы для какой забавы  
в детеныше влюбленными зубами  
вышелкивали бога, словно блох?

11.

Хозяйка налила мне коньяка:  
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —  
Прощай, мой Дождь!  
Как весело, как мило  
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!  
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.  
Во мне расщеплен атом винограда,  
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,  
привязанный к двум деревьям склоненным.  
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном  
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!  
Смотрите — я уже добра, как клоун,  
вам в ноги опрокинутый поклоном!  
Уж тесно мне средь окон и дверей!

О господи, какая доброта!  
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!  
Я вас люблю! Застенчивость калеки  
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?  
Обидьте! Не жалейте, обижая!  
Вот кожа моя — голая, большая:  
как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!  
Как небеса, круглы мои объятия.  
Мы из одной купели. Все мы братья.  
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!

## 12.

Прошел по спинам быстрый холодок.  
В тиши раздался страшный крик хозяйки.  
И ржавые, оранжевые знаки  
вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.  
В него впивались веники и щетки.  
Он вырывался. Он летел на щеки,  
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.  
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.  
Дом над Дождем уж замыкал свой скрежет,  
как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,  
паркет марая, полз ко мне на брюхе.  
В него мужчины, поднимая брюки,  
примерившись, вбивали каблук.

Его скрутили тряпкой половой  
и выжимали, брезгуя, в уборной.  
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,  
кричала я:  
— Не трогайте! Он мой!

Он был живой, как зверь или дитя.  
О, вашим детям жить в беде и муке!  
Слепые, тайн не знающие руки  
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:  
— Учти,  
еще ответишь ты за эту встречу! —  
Я засмеялась:  
— Знаю, что отвечу,  
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

### 13.

Пугал прохожих вид моей беды.  
Я говорила:  
— Ничего. Оставьте.  
Пройдет и это. —  
На сухом асфальте  
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,  
и горизонт вокруг города был розов.  
Повергнутое в страх Бюро прогнозов  
осадков не сулило никогда.

## ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,  
как лошадь, ожидающая бега.  
Надменный мой сосед по этажу  
и тот вскричал:  
— Как вы дрожите, Белла!



Но образумьтесь! Странный ваш недуг  
колеблет стены и сквозит повсюду.  
Моих детей он воспаляет дух  
и по ночам звонит в мою посуду,

Ему я отвечала:

— Я дрожу  
все более — без умысла худого.  
А впрочем, передайте этажу,  
что вечером я уйду из дома.

Но этот трепет так меня трепал,  
в мои слова вставлял свои ошибки,  
моей ногой приплясывал, мешал  
губам соединиться для улыбки,

Сосед мой, перевесившись в пролет,  
следил за мной брезгливо, но без фальши.  
Его я обнадежила:  
— Пролог  
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!  
В себе я различала, взглядом скорбным,  
мельканье диких и чужих существ,  
как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,  
вбивала в кожу острые гвоздочки.  
Так по осине ударяет дождь,  
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!  
Прочь мускулы несутся и режутся!  
Мое же тело, свергнув власть мою,  
ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг  
оно исчезнет вольно и опасно,  
как ускользает шар из детских рук  
и ниточку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.  
Врачу  
сказала я, хоть перед ним робела:  
— Я, знаете, горда и не хочу  
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:  
— Ваша болезнь проста.  
Она была б и вовсе безобидна,  
но ваших колебаний частота  
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет  
и велика его движений малость,  
он зрительно почти сведен на нет  
и выглядит, как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор  
к моим предметам неопределенным,  
и острый электрический прибор  
охладил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!  
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!  
Последовал предсмертный всплеск стекла,  
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!  
Но он, не озадаченный нимало,  
провозгласил:  
— Ваш бедный организм  
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама  
свою причастность к этой высшей **норме**.  
Не уместаясь в узости ума,  
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств  
наученная, нервная система,  
пробившись, как пружины сквозь матрац,  
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс  
всегда гудел, всегда хотел на волю.  
В конце концов казалось: к черту! Пусть  
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг наострится, ждет.  
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,  
что скрипнет дверь иль книга упадет,  
и — взрыв! и — все! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,  
в меня вселённых, жрущих кровь из мяса.  
При мне всегда стоял сквозняк дверей!  
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,  
слезы светлела вечная громада.  
Я — все собою портила! Я — рай  
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,  
и с мудростью, цветущей в человеке,  
как музыку по нотным запятым,  
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом  
целебным поцелуем валерьяны,  
и медицина мятым языком  
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд  
он поздравлял меня с выздоровленьем  
через своих детей и, говорят,  
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,  
ответила на письма. Я гуляю,  
особо, с пользой делая круги.  
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.  
И стол мой умер и под пылью скрылся.  
Уставили во тьму карандаши  
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,  
мой каждый шаг медлителен, стреножен.  
Все хорошо! Но, по ночам меня  
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,  
но зря ему я голову морочу,  
ведь все, что он лелеял и лечил,  
я разом обожгу иль обморочу.

Я, как улитка в костяном гробу,  
спасаюсь слепотой и тишиною,  
но, поболев, пощекотав во лбу,  
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,  
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,  
подрагивая в чистом серебре  
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,  
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!  
Я — балерина музыки твоей!  
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о, нет,  
сейчас о том не может быть и речи.  
Но мой предусмотрительный сосед  
уже со мною холоден при встрече.

## ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? — да так, как входят в глушь осия,  
для тишины и праздности гулянья, —  
не ведая корысти и желанья,  
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар,  
Когда б он не устал за два столетья

лежать нежной ветхости соцветья,  
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда  
для слабых чаш и хрусталя больного.  
Живая подлость возраста иного  
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,  
он кротко приготовился к подвоху,  
и ненависть, мешающая вздоху,  
возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,  
и чужеземец, мудростью холодной,  
вникал в значенье люстры старомодной  
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,  
в былых балах утраченной подвески,  
на грех ее обидевшись по-детски,  
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра  
влекла старуха из глубин юдоли,  
и тяжела была ее ладони  
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — средь сумрачных теплиц  
разглядывать осеннее предсмертье  
чужих вещей, воспитанных при свете  
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,  
раздался оклик запаха и цвета:  
ко мне взывал и ожидал ответа  
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист  
трубил, словно в канун стихосложенья, —  
так требует предмет изображенья,  
и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.  
О плач всего, что хочет быть воспето!  
Навзрыд звучит немая просьба эта,  
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,  
немое горло просьбу излучало.  
Я ринулась на зов, и для начала  
сказала я: — Не плачь, мое дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар. —  
Здесь все мертво и не способно к плачу.—  
Он, все еще надеясь на удачу,  
плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечом к плечу  
стояли мы. Я отвечала сухо:  
— Мне, ставшею открытой раной слуха,  
угодно слышать все, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.  
И вдруг, среди слабоумия сомнений,  
в уме моем сверкнул случайно гений  
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь? — Футляр!  
— Фуляр?

— Помилуйте, футляр из черной кожи. —  
Он бледен стал и закричал: — О боже!  
Все, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!  
Вы молоды, вы пахнете бензином!  
Ступайте к современным магазинам,  
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны, —  
сказала я, — я не люблю пластмассы.  
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.  
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.  
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.

Минувший век. Изящная работа.  
И все это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.  
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.  
Гроза в июне. Воспаленье в легком.  
И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,  
а вы хотите мне вручить причину  
оплакивать всю жизнь его кончину  
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —  
воскликнул он, надеждой озаренный. —  
В нем сто предметов ценности огромной.  
Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!  
Но двадцать пять моих гостей возможных  
всегда в гостях, в бегах неосторожных.  
Со мной одной соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?  
Помилуй бог, мне не по силам это,  
Нет, я ценю единственность предмета,  
вы знаете, о чем веду я речь.

Как я устал! — промолвил антиквар. —  
Мне двести лет. Моя душа истлела.  
Берите все! Мне все осточертело!  
Пусть все мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо  
из мглы сеней, на волю из темницы  
явился свет, и опалил ресницы,  
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте, —  
ожегшей ум, по духоте пространства  
я вычислила, сколь оно прекрасно,  
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз  
лицо ее внушало мысль простую:  
утратить разум, кануть в тьму пустую,  
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнить ленивого стрелка  
сверкающей открытостью затылка,  
раз навсегда — и все. Стрельба затихла,  
и в небе то ли бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад. —  
проговорился антиквар печальный. —  
Сквозь зелень лиц, по желтизне песчаной  
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,  
целуя воздух и камня сада,  
когда проездом — в ад или из ада —  
вдруг объявился тот неванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак  
он был в делах, достиг чинов немалых,  
но я о том, что правнук Ганнибалов  
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,  
он прыгнул в дверь. Все вмиг переместилось.  
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.  
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.  
Шкаф отвечал разбитою посудой.  
Повеяло паленым и простудой.  
Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,  
склонившись к ней, перемешавшись разом,  
он всем опасным африканским рабством  
потупился, как укрошенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.  
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.



— Вы думаете? — так она спросила. —  
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, весь кротость, доброта,  
любой совет считал себе приказом.  
А уезжая, вольно пыхнул глазом  
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек  
в лице ее, в его простом порядке.  
Над непосильным подвигом разгадки  
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла  
всплывала в ней незрячая улыбка,  
она пугалась, будто бы ошибка  
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.  
Я сватался. Она мне отказала.  
Не изменив намерений нимало,  
я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,  
по-моему, зимою, да, зимою,  
она скончалась, не послав за мною,  
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,  
я ведаю этим ничтожным храмом,  
толкую с хамом и торгую хламом,  
затерянный меж богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,  
что все-таки убит он на дуэли.  
— Он не убит, а вы мне надоели, —  
сказала я, — хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки  
владеть и взять. Поделим то и это.  
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:  
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль  
признаньем в этих бедах небывалых?  
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов,—  
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,  
читатель мой заметит справедливо:  
— Все это ложь, изложенная длинно. —  
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,  
когда б так поступали антиквары,  
и жили вещи, как живые твари,  
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем доме!  
И звон стекла! И лепет тувель бальных!  
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов  
к сему причастен — судя по всему.

## ЭКСПРОМТ КОБЕ ГУРУЛИ

Пусть так, и в тайну тишины  
так очевидно, как на сцену,  
не ведаю, чем сведены?  
Одною целью? Или цепью?

Что б нас сегодня ни свело,  
пусть будут бури, бред и бурность —  
и в мастера и в мастерство  
я влюблена, люблю — люблюсь.

При частом звоне молотка  
являют прелесть молодую  
в латунь влюбленная рука,  
рука, плененная латунью,

и утверждают сильный звук,  
что спет латунью или медью...  
Не вырваться из этих рук!  
Не вырываюсь... медлю... медлю...

1967

## ПОСВЯЩЕНИЯ НАНИ<sup>1</sup>

### 1

Так я жила-была: не зная,  
какой была, пока жила.  
Но знаю: я была не злая.  
Теснила сердце мне сквозная  
с метелью схожая жара.

Холодной бедственной зимою  
мой голос так я берегла,  
что, если он еще со мною,  
то не меж грудью и спиною  
берет исток его река.

Знать, не во мне его начало:  
вовне и выше, где — звезда.  
Я пела, если я молчала,  
не взявши маленького часа  
для передышки — никогда.

Пусть длится шутка небосвода  
без вас такая ж, как при вас,  
вчера такая ж, как сегодня,  
душа добра, душа свободна,  
угодно ей воспеть романс.

Звезда потворствует и мучит.  
Что вечность мне? Мне жизни жаль.  
Я упушу — звезда получит.  
Я не о том. Ты, мой голубчик,  
повремени, не уезжай.

---

<sup>1</sup> Экспромты, сочиненные к совместным выступлениям с исполнительницей русских и грузинских романсов, народной артисткой Грузинской ССР Нани Брегвадзе (декабрь 1978 г.).

Голубчик мой, голубчик чей-то,  
какой великий чудный вздор.  
Сколь тщетны все мои мученья,  
коль звук, в котором нет значенья,  
слезами застилает взор.

2

Не довольно ли нам пререкаться,  
не пора ли предаться любви?  
Чем старинней наивность романа,  
тем живее его соловьи.

То ль в расцвете судьбы, то ль на склоне,  
что я знаю про век и про дни?  
Отвори мне калитку в былое  
и былым мое время продли.

Наше «ныне» нас нежит и рушит,  
но туманы сирени висят  
и в мантильи из сумрачных кружев  
кто-то вечно спускается в сад.

Как влюблен он, и нежен, и статен.  
О, накинь, отвори, поспеши.  
Можно все расточить и растратить,  
но любви не отнять у души.

Отражен иль исторгнут роялем  
свет луны — это тайна для глаз.  
Но поющий всегда отворяет  
то, что было закрыто для нас.

Сколь старинны, а не постарели  
звуки пенья и липы аллея.  
Отвори! Помяни поскорее  
ту накидку и слезы пролей.

Блик рассвета касается лика.  
Мне спасительны песни твои.  
И куда б ни вела та калитка —  
подари! не томи! отвори!

Из высшего мрака, из вечности грозной  
кто смотрит так пристально вниз?  
Дитя! Не тянися весною за розой!  
Дитя! Ни за чем не гонись!

Вовек не тянись! Но зимою и летом  
пред всем, что увидишь, склонись.  
Земными цветами, заоблачным светом  
воздастся тебе. Не тянись!

Что можно добыть — все пустое, все мелочь.  
Безмерно — что можно отдать.  
Отдай все цветы. Все отдай, что имеешь.  
Ликуй, отдавая опять.

Пусть тянутся алые розы за нами,  
фиалки к ногам упадут.  
Дары нас настигнут, как песенка Нани,  
что выпорхнет вскоре из уст!

Дали жизни, прекрасно короткой,  
и еще, чтоб не вовсе ушли,  
дали душу и голос, который  
равен смыслу и свету души.

И, пока небеса не отняли  
то, что дали, — сама расточу.  
Эта песнь посвящается Нани.  
Это — песнь, если я захочу.

Мне неведомо: может быть, скоро  
разминемся. Но, если хоть миг  
мне остался, то все ж для экспромта  
он достаточно долгод и тих.

Предадимся любви и влечению —  
взять на время и на времена  
голос Нани: серебряный с чернью,  
мрачно-алый, как старость вина.

О, **нажива**: прожить и потратить,  
песни петь, словно перстни ронять.  
Труд поющего горла — подарок.  
Нам осталась забота: принять.

Зорок свет небосвода над нами.  
Тень грядущего — в бледности лиц.  
Но какая свобода, о Нани, —  
обольщать, обожать и шалить.

Так наш дух к расточительству жаден:  
Мы возносимся, падая ниц,  
чтоб взглянуть на певца с обожаньем  
и к ногам его лоб уронить.

## ПЕСЕНКА ДЛЯ БУЛАТА

Мой этот год — вдоль бездны путь.  
И, если я не умерла,  
то потому, что кто-нибудь  
всегда молился за меня.

Все вкривь и вкось, все невпопад,  
мне страшен стал упрек светил,  
зато — вчера! Зато — Булат!  
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошед,  
Булат мне ключик подарил.  
Мне этот ключик — для волшебств,  
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой  
и знать, что старой — не бывать.  
Зато — мой ключик золотой,  
а подарил его — Булат.

Слова из губ — как кровь в платок,  
Зато на век, а не на миг.

Мой ключик больше золотой,  
чем золото всех недр земных.

И все теперь пойдет на лад,  
я буду жить для слез, для рифм.  
Не зря — вчера, не зря — Булат,  
не зря мне ключик подарил!

## ГЛАВА ИЗ ПОЭМЫ

### 1

Начну издалека, не здесь, а там,  
начну с конца, но он и есть начало.  
Был мир как мир. И это означало  
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —  
так невелик и все-таки обширен.  
Там, прихотью младенческих ошибок,  
все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины  
был дом как дом. И это означало,  
что женщина в нем головой качала  
и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,  
и кто-то — мы еще не знали сами —  
замаливал один пред небесами  
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом  
был он повинен. И земля летела  
неосторожно, как она хотела,  
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —  
какая разница? — пред белым светом,  
позволив нам не хлопотать об этом,  
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел  
возник над миром, около восхода,  
толчком заторможенная природа  
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,  
врасплох нас наблюдала необъятность,  
и наших недостойнств неприглядность  
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те  
два мальчика в рубашках полосатых  
без робости вступали в палисадник  
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,  
но я чужда привычке современной  
налаживать контакт несоразмерный,  
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь  
смотреть на дом и обращать молитву  
на дом, на палисадник, на малину —  
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была  
лишь следствием, но не залогом лета.  
Тогда еще никто не знал, что эта  
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,  
я шла в деревья, в неизбежность встречи,  
в простор его лица, в протяжность речи...  
Но рифмовать пред именем твоим?  
О, нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских  
дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад.  
На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий  
плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к  
нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — толь-  
ко ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки  
глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказы-



вали, и я вас сразу узнал». И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: «Ради бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!». Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватила сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко втянулся в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса. Спина и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неудобными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду».

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность позы,  
при этом не выгадывая пользы  
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —  
не холодно ли? — вот и все, не боле.

Как он играл в единственной той роли  
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между **людьми**  
не принято. Но так поют у рампы,  
так завершают монолог той драмы,  
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!  
Еще не все: — Так заходите завтра! —  
О тон гостеприимного азарта,  
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,  
куда войти — не знаю! невозможно!  
И потому, навек неосторожно,  
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, деревьев и дач —  
после спектакля, в гаснущем партере,  
над первым предвкушением потери  
так плачут дети, и велик их плач.

## II

Он утверждал: «Между теплиц  
и льдин, чуть-чуть южнее рая,  
на детской дудочке играя,  
живет вселенная вторая  
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,  
любовь моя, мой плач — Тифлис!  
Природы вогнутый карниз,  
где бог капризный, впав в каприз,  
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,  
брала разбег моя ошибка,  
когда тот город зыбко-зыбко  
лег полукружьем, как улыбка  
благословенных уст Тamar.

Не знаю, для какой потехи  
сомкнул он надо мной овал,  
поцеловал, околдовал  
на жизнь, на смерть и наповал —  
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры  
не пить мне!  
И из вод Арагвы  
не пить!

И сладости отравы  
не ведать!  
И лицом в те травы  
не падать!

И вернуть дары,  
что ты мне, Грузия, дарила!  
Но поздно! Уж отпит глоток,  
и вечен хмель, и видит бог,  
что сон мой о тебе — глубок,  
как Алазанская долина.

## **ЛУГ ЗЕЛЕНЫЙ**

### **ВСТУПЛЕНИЕ**

Еще не рассвело во мгле экрана.  
Как чистый холст, он ждет поры своей.  
Пустой экран увидеть так же странно,  
как услышать безмолвную свирель.

---

Текст к телевизионному фильму режиссера А. Рехвиашвили «Луг зеленый». За кадром читала Б. Ахмадулина.

Но в честь того, что есть луга с росой,  
экран зажжется, расцветут холсты.  
Вся наша жизнь — свиданье с красотой  
и бесконечный поиск красоты.

#### ГОРОД

О зритель, ты бывал в Тбилиси?  
Там в пору наших холодов  
цветут растения в теплице  
проспектов, улиц и садов.

Там ты найдешь друзей надежных.  
Пусть дружба их тебя хранит.  
Там жил да был один Художник...

Впрочем, дорифмовать мне придется потом, сейчас некогда, потому что Художник—вот он, перед Вами, вон тот, который разговаривает с Девушкой. Потом он пойдет по улице, встретит знакомых, поговорит с ними о том, о сем. Но я знаю, что он все время думает о своей работе и, если заснет, он увидит ее во сне. Это бывает с каждым из нас, только у нас с Вами своя работа, а у Художника—своя. Все, что он видит, так или иначе связано с холстом, который еще не начат. Давайте посмотрим, что происходит с Художником, или в Художнике, пока он не взял в руки кисть...

Девушка уходит, но, разумеется, она скоро вернется. Она очень много значит для нашего Художника, но он пока этого не знает...

...Взгляните на этого незнакомца. Еще раз взгляните. Хорошо, что Вы познакомились,—Вам еще предстоит встретиться...

Этого человека с цветами Вы тоже скоро увидите ...

Хочу предупредить Вас, что при следующей встрече эти милые, почтенные и вполне реальные тбилисские жители могут показаться Вам несколько странными и причудливыми. Дело в том, что в следующий раз Вы увидите их такими, какими увидит их Художник. Кто знает, какими видят нас художники? А ведь они нас непременно видят, иначе бы мы не узнавали себя или что-то свое в их полотнах, книгах или в кино.

Ну, что ж, художники всегда видят нас, а мы на этот раз будем подглядывать за Художником...

## МАСТЕРСКАЯ

Понаблюдаем за экраном,  
а холст пусть ждет своей поры,  
как будто мы в игру играем,  
и вот Вам правила игры.

Поверьте мне, как я Вам верю,  
и следуйте за мной теперь.  
Есть тайна за запретной дверью,  
а мы откроем эту дверь.

Войдем в простор чужих владений!  
Художник наш вот-вот заснет.  
Вы — зрители его видений,  
а я в них — Ваш экскурсовод.

Заснул Художник. Холст не начат,  
меж тем идет куда-то он.  
Что это значит? Это значит,  
что наш Художник входит в сон.

А нам, по волшебству кино,  
увидеть сон его дано.

## ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ

Зеленый луг — всему начало,  
он — всех, кто есть, и все ж — ничей.  
И, музыку обозначая,  
растет цветок — виолончель.

Смотрите, глаз не отрывая!  
Трамвай — по лугу? Вздор какой!  
Наверно, слышит звон трамвая  
Художник, спящий в мастерской?

Все это — не на самом деле.  
У сновидений свой закон.  
Но по проспекту Руставели  
Вам этот человек знаком.

Зачем он здесь — для нас загадка.  
Мы разгадаем этот кадр.

Нет музыки без музыканта  
и, значит, это — музыкант.

Пусть он не видит в этом смысла.  
Он странен и чуждаковат.  
Он так Художнику приснился  
и в этом он не виноват.

Художник то стоит, то ходит,  
коль он не хочет рисовать,  
а музыкант играть не хочет,  
я перестану рифмовать.

Но в чем же смысл, и выход где же?  
Не верьте! Это пустяки.  
Рука поэтов пишет реже,  
чем их душа творит стихи.

Порой искусство — это доблесть  
до времени не взять смычка  
иль ждать, пока созреет образ,  
сокрытый в глубине зрачка.

#### ДЕВУШКА

Художник смотрит в даль пространства,  
А истина — близка, проста.  
Ее лицо вовек прекрасно.  
В ней — весть любви, в ней — суть холста.

Взгляните, сколько красок дивных  
таит в себе обычный день.  
Вершат свой вечный поединок  
Художник и его модель.

Их заверченный холст рассудит,  
мне этот труд не по плечу.  
Играет этот, тот рисует,  
Вы смотрите, а я — молчу.

Зачем часы? Затем, наверно,  
что даже в забытьи своем  
мы все во времени живем  
и слышим: к нам взывает время.

Любой — его должник и должен  
долг времени отдать трудом,  
и наше назначенье в том,  
и ты рисуй, рисуй, художник!

Уже струна от натяженья  
устала. Музыкант, играй!  
Прилежный маленький трамвай,  
трудись, не прерывай движенья!

Расчетом суетного жеста  
не вникнуть в тайну красоты.  
Неисчислимо совершенство.  
Художник, опрометчив ты.

Ты зря моим речам не внемлешь.  
Взгляни на Девушку. Она —  
твое прозрение, и в ней лишь  
гармония воплощена.

Постигло истину простую  
тех древних зодчих мастерство.  
Ну, что же, чем сложнее раздумье,  
тем проще вывод из него.

Вот наш знакомый. Он, во-первых, —  
садовник, во-вторых, влюблен,  
и, значит, в-третьих, он — соперник  
того, кому приснился он.

Не знает он, что это — Муза.  
Художник ждет ее давно.  
В нерасторжимость их союза  
нам всем вмешаться не дано.

Как бескорыстная копилка,  
вбирает сон события дня.  
Но в шутке этого конфликта  
Вы разберетесь без меня.

И без меня героям тесно  
на этом маленьком лугу.  
Вам не наскучил автор текста?  
Вот он умолк — и ни гу-гу.

## ГОРОД

Привет Вам! Снова все мы в сборе,  
но нет ни луга, ни травы.  
Художник и Садовник в ссоре,  
зато не в ссоре я и Вы.

Надеюсь, Вас не раздражает,  
что луг сменился мостовой?  
Любой исконный горожанин  
во сне вернется в город свой.

Чужие сны мы редко смотрим.  
Пусть это спорно и смешно —  
мы посмеемся и поспорим,  
когда окончится кино.

А это кто еще со стулом?  
Пока Художник не заснул,  
он видел стул. Потом заснул он  
и вновь увидел тот же стул.

И наши с Вами сновиденья  
порой запутаны, сложны,  
а сны Художника цветнее,  
диковинней, чем наши сны.

Поэтому, без колебання,  
Вас заклинаю, как друзей:  
завидев в кадре надпись «Баня»,  
Вы ни на миг не верьте ей.

Как эпизод ни странен, я бы  
сказала: суть его проста!  
Здесь только вывеска — от яви,  
все остальное — прихоть сна.

Когда Художник холст затеял,  
он видел струны и смычок.  
Был в памяти его затерян  
оркестр, печальный, как сверчок.



Приснился он совсем не к месту —  
сверчок, забывший свой шесток.  
Оплошность мы простим оркестру  
за то, что музыку исторг.

Сомнения лишние отбросьте,  
не так загадка мудрена, —  
мы в сне чужом всего лишь гости  
и наше дело сторона.

Лик. А Художник ищет блика.  
Бывало ль с Вами то, что с ним?  
Порой прекрасное так близко,  
а мы зачем-то вдаль глядим.

#### МОРЕ

Погрезим о морском просторе!  
Там синь, сиянье, там весна.  
Хоть в сне чужом увидеть море —  
и то заманчиво весьма.

А вот и добрый друг растений,  
жарой полуденной томим.  
Он, кажется, и сам растерян,  
что снится именно таким.

Зачем он согласился сниться?  
Ах, беспокойство, маета!  
Причем здесь лошадь и возница?  
И форм античных чистота?

#### СКУЛЬПТУРА

Друзья, победа и блаженство!  
О сновиденья производ!  
Художник ищет совершенства —  
неужто он его нашел?

Удел художника, поэта  
наверно именно таков:  
у классики просить совета,  
ответа ждать от мастеров.

Разъятая на части цельность —  
лишь символ творческих невзгод.  
Художник ищет драгоценность  
гармонии — и он найдет.

Прекрасный, цельный образ мира  
взойдет пред ним когда-нибудь.  
Боюсь, что я Вас утомила.  
Позвольте мне передохнуть.

### ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ

Луг зеленый, чистый дождик...  
Может, в этом выход твой?  
Что же ты, наш друг Художник,  
поникаешь головой?

Песенка еще не спета,  
не закончены труды.  
Не послушать ли совета  
неба, дерева, травы?

Ты дошел до поворота,  
от сомнений изнемог.  
Слушай — вечная природа  
подает тебе намек.

Вникни взглядом просветленным  
в прелесть женского лица  
и прочти в листе зеленом  
тайну нотного листа.

### ХУДОЖНИК

Вы скажете, что не разумен  
мой довод, но сдается мне,  
что тот, кто наяву рисует,  
порой рисует и во сне.

Вся эта маленькая повесть —  
попытка догадаться, как  
вершит Художник тяжкий поиск  
и что живет в его зрачках.

И вы не будьте слишком строги  
к тому, что на экран легло.  
Тем более, что эти строки  
мне доставались нелегко.

Смотрите, если интересно,  
побудьте без меня сейчас.  
Не думал вовсе автор текста,  
что он догадливее Вас.

#### МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА

Художник медлит, дело к полдню.  
Срок сна его почти истек.  
Я голосом моим наполню  
его безмолвный монолог.

«Я мучался, искал, я страждал  
собою стать, и все ж не стал.  
Я спал, но напряженьем страшным  
я был объят, покуда спал.

Отчаявшись и снова веря,  
я видел луг, и на лугу  
меня не отпускало время,  
и я был перед ним в долгу.

Хотел я стать светлей и выше  
всего, чем я недавно был.  
И снова ничего не вышло.  
Я холст напрасно погубил».

Он самому себе экзамен  
не сдал. Но все это смешно.  
Он спит и потому не знает,  
что это — сон или кино.

Он выхода пока не видит.  
Лежит, упав лицом в траву.  
Во сне — не вышло. Может, выйдет  
немного позже, наяву.

## ДЕВУШКА

Мы рассуждаем про искусство.  
Но речь пойдет и о любви.  
Иначе было б очень скучно  
следить за этими людьми.

Взгляни внимательней, пристрастней:  
холсты, луга, стихи, леса—  
все ж не бессмертней, не прекрасней  
живого юного лица.

Не знаем мы, что будет дальше,  
что здесь всерьез, а что игра.  
Но пожелаем им удачи,  
любви, искусства и добра.

## ГОРОД

Кажется, на этот раз Художник обрел то, что искал. А что будет с ним в следующий раз, — мы не узнаем, разве что приедем в Тбилиси и придем к нему в мастерскую. Не взыщите, если эта история показалась Вам замысловатой. Так или иначе — она кончается. Но помните — я задолжала Вам одну рифму.

О зритель, ты бывал в Тбилиси?  
Там в пору наших холодов  
цветут растения в теплице  
проспектов, улиц и садов.

Там ты найдешь друзей надежных.  
Пусть дружба их тебя хранит.  
Там жил да был один Художник,  
который всех благодарит  
за благосклонное внимание...

## СТИХИ К СИМФОНИЯМ ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА

### К СИМФОНИИ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

#### III часть

#### Королева Маб. Монолог Меркуцио

Меркуцио, пока ты не испил  
хмель бытия, раскинув ум, как сети  
для простаков, пока тебе Шекспир  
паясничать велит пред ликом смерти,  
суди-ряди про королеву Маб!  
Хвали ее причуды и проказы!  
В кошачий март и соловьиный май  
всех девственниц, которые прекрасны,  
чужды страстям, привержены сластям,  
с улыбкой королева Маб прощает,  
нашепчет вздор, забыв про стыд и срам  
и лбы их непорочные прыщавит.  
Их сон невинный в предрассветный час  
из грез слагает облик кавалера,  
но неизбежность их грядущих чад  
к ним тяжело применяет королева.  
Коль вдруг: «апчхи!» и падают очки  
со лба того, кто денди слыл дотоле, —  
то королева Маб — дитя, учти, —  
в его ноздре летит на фаэтоне.  
Маб, как известно, повитуха фей.  
Фей, как известно, искушает эхо.  
Ах, страх! и — ах! — в руках у Маб — трофей.  
И к прочим эльфам мы прибавим эльфа.  
Если вельможа, чей высокий сан —  
над нами, как звезда над звездочетом,  
худеет, предается странным снам,  
гнушается богатством и почетом,  
знай: королева Маб над ним в ночи  
стихи шептала, музыкой гремела,  
и он ей внял.  
— Меркуццо, молчи,  
ты — пустомеля. (То слова Ромео.)  
И впрямь молчи, задира, коновод,  
про твой удел орел не спорит с решкой.

Умы глупцов столетья напролет  
напрасно ты дразнил опасной речью.  
А я? Вдруг спросят: белый лист вам мал,  
что вы сюда явились? Бог и люди,  
все это — козни королевы Маб,  
Маб — королевы выдумки и плутни.

#### I К «ФАНТАСТИЧЕСКОЙ СИМФОНИИ»

Меж двух огней, меж музыкой и словом,  
я не надеюсь лепетом поэм  
симфонию украсить смыслом новым  
и смысл ее вам без прикрас повем.

Вообразим, что некогда и где-то  
артист, поэт, безумец был влюблен.  
О, нет! Влюбленным можно быть в поэта,  
поэт — любил и страдал смерти он.

Перед коварством слабоумен гений.  
Доверчивый герой наш выпил яд  
и пошутил: — Коль огненной геенной,  
любовь моя, мне приходилась явь,

так пекло ада станет мне эдемом,  
там отдохну от милостей твоих.  
Блаженно спи, мой рыжекудрый демон,  
и мне плевать на то, в объятьях чьих.

На что я тратил драгоценный разум?  
Звездой лба я бился в толщу стен:  
схватилась в поединке безобразном  
ты с кем-то, стены, говорите — с кем?

Тому, кто был твоим взлелеян адом,  
бесхитростный потусторонний ад —  
каникулы блаженства, Баден-Баден,  
иль как там у богатых говорят.

...Вижу то время, в котором тебя еще нет.  
О, как просторно, как пусто... Мгновение выжду...  
Чу, занимается неукосительный свет.  
Вижу надежду, что вскоре тебя я увижу,

В доме бывает: все тихо, и свечка тепла,  
знает лишь ветер, что дом будет предан пожару.  
Я — и свеча, и сквозняк. Я не знаю тебя.  
Как же я знаю уже, что тебя обожаю?

Разве господь, обрекая меня ремеслу  
неимоверному, милостью страшной второю  
мне положил — отслужив до рождения сну,  
сразу увидеть тебя, как глаза я открою?

Выйдешь Офелией... станешь цветы пустоты,  
плача собирать... нет лужайки — а все ж беспредельна...  
я обожаю тебя...  
Кто — Офелия? Ты?  
Если Офелия — ты, кто — продажная девка?

Что я! Над девками — бедных мадонн ореол.  
Девки — на хлеб, на детей, на лечение недуга.  
Ты — на излишек всего, что блестит. «Одеон»  
свечи погасит — ты примешь богатого друга.

Бог твоя лучшая, вот твоя главная роль.  
Мало ль тряпья у тебя — так прикрылась бы шалью!  
Я — уж не плоть. Я — висящая в воздухе боль.  
Я проклиная тебя.  
Я тебя обожаю.

Бога я звал, чтобы музыка не умерла.  
Бог мне отвечивал: — Музыку я обещаю.  
Ты меня звал — я услышал. Ты любишь меня?  
— Кто ты такой? — я спросил. — Я ее обожаю.

## И Б А Л

Бал, это бал, это бала летучего благо;  
бал белизны, разлетевшихся тифлек бал,  
взбалмошный бал, обольщающий баловней бала,  
вальсу подвластны подвязка, подвеска и бант.

Был и блистал бал болтуний и бал балагуров,  
брезжушей музыкой мозг мой тебе подражал.  
Доблесть какая — быть рыжей среди белокурых!  
Наглость какая — ирландством дразнить парижан!

Вальс, и напитка щекотный мороз, и трагедий  
всех смехотворность. Буфетчик — умен, я — маньяк.  
Я говорил: — Ты — маньяк наливанья, я — гений.  
Что же мне делать, коль это, действительно, так?

Думал, ты спросишь: кто тот, чьи чужие перчатки  
так несвежи, в чем не станем его упрекать?  
Гений непризнанный? Ах, в мире столько печали...—  
и не взглянула, хоть страшен мой фрак напрокат.

Бал для блаженства божеств — боль он и старость  
мне причинил. Я твердил: я — маньяк, я — дурак,  
ладно! но вот совершенство движения — страус,  
стал же он веером бала в белейших руках.

Ба! Осенило: тапер на балу у болванов  
всяк, кого небо своим припекло сургучом.  
Я обожаю тебя среди Парижских бульваров!  
И только вальс, только вальс не повинен ни в чем.

Балуйся балом! Навек он тебе уготован.  
Вальс будет длиться, кружась, и губя, и томя.  
Дурочка! Что тебе бал? Там, где Бах и Бетховен,  
мы с тобой встретимся. Я обожаю тебя.

### Ш П О Л Е

Как вернуться в обитель осин и осок?  
Я устал. Я не знаю пароля.  
Я — исчадьё твое, твой щенок-сосунок,  
дай мне млека, о, мать природа.

Пропадаю без ласки целебной твоей.  
Дай припасть к животворному зелью.  
Стану — трав соучастник, сподвижник корней  
и всего, что пробилось сквозь землю.

Я очнулся. Цветок возле глаза белел.  
Млело стадо. Гусята с гусыней  
шли к ручью.  
Да не втиснут ли я в гобелен?  
Не вишу ли я в чьей-то гостинной?



Чур меня! Нависелся! Со всеми знаком!  
Вздых исторгли глубокие недра:  
то природа лизала меня языком  
поля, озера, леса и неба.

Шли пастух и пастушка. Свирель и рожок  
толковали о том, что забыто.  
Пел рожок: — Я тебя обожаю, дружок.  
И свирель отвечала: — Взаимно!

Ишь, какие. И сколько румяных детей  
наплодите, румяные дети.  
Обожайте друг друга. От этих затей  
я отрекся. Привет Генриетте!

Я целую траву. Я лежу на лугу.  
Я — младенец во чреве природы.  
Никому я не лгу. Никого не люблю.  
Что мне музыка, страсти, пороки?

Эй, ирландка гривастая! Слышишь — в траву  
я влюблен и она мне послушна!  
Благо, мы в сновиденьи, а не наяву,  
хочешь, станем — пастух и пастушка?

Это — верное дело, я — чудный пастух.  
Доказать, что среди кротких пастушек  
конюх выберет лучшую из потаскух, —  
вот твой первый пастуший поступок.

Лучше станем овечками. Сладок и чист  
вкус травы в день заклянья зловещий.  
Не бойшься, лукавейшая из волчиц?  
Как прекрасна ты в шкуре овечьей!

Солнце... облако... радуга... Кости трещат!  
За любовь мы с тобой постояли.  
Будут малсных неслухов мамки страшать  
чудом нашей с тобой пасторали!

Умер, жив ли — не знаю. Мне страшно в раю.  
Отпусти меня, мать природа.

Я — урод, я на детскую кротость твою  
навлекаю грозу небосвода.

Не пора еще... тихо и рано... о, как  
обожаю... кого? — я не помню.  
Всех и вся. И слезой проплывает в зрачках  
благодарность зеленому полю.

Но над полем зеленым в цветах и росе  
зреет сумрак. О, только б скорее!  
Я дарю вам на память о близкой грозе  
детский лепет рожка и свирели.

#### IV. ШЕСТВИЕ НА КАЗНЬ

Гнев неистовый множился, не убывал.  
Ты молилась ли на ночь, не скажешь?  
Я пришел, чтоб убить.  
О, не так убивал  
тебя трагик, намазанный сажей!

И раздался ответ из грядущих времен:  
— Что мне в этих угрозах, уликах?  
Когда лампы свои возжигал «Одеон»,  
я молилась в предсмертных кулисах.  
О, убей меня прежде, чем страшный фиакр  
я покину убогой калекой,  
побирушкой нищей покину театр,  
став твоею женою нелепой.  
Убивай, пока бредишь. О, только б успеть!  
Дай мне отдыха в нетях промозглых.  
Я — артистка, и мне совершенная смерть  
безразличней, чем смерть на подмостках.

Я убил тебя. И приговора суда  
я не слышал. Вела меня стража.  
Я спросить поленился: ведете куда?  
Коль — туда, что так скушно, не страшно?  
Упоительный марш меня вдаль провожал.  
Было весело скрипкам и трубам.  
Славно вторили им голоса горожан,  
но их тембр показался мне грубым.  
А когда я в помосте узнал эшафот,

я подумал: как странно, однако, —  
тело дышит, пульсирует, мирно живет.  
Ждет палач указания и знака.  
Все, что есть, чего нет, обращаю я в звук.  
Что же даст мне мгновение это?  
Мне не нужен ожог ослепительных мук.  
Все бессмысленно, что не воспето.

И раздался ответ из грядущих времен:  
— Я была твоей мукой воспетой,  
но и тем, кто несчастен, отвергнут и мертв,  
слабой женщиной и Генриеттой.  
Умирай! Я в твореньях твоих проживу!  
Звал звездой, поклонялся таланту,  
будет день — ты покинешь хромую жену,  
чтоб потешить ту дрянь-итальянку.  
Все мне выпадет: ревность, вино, паралич.  
Ничего я воспеть не сумею.  
Все мученья твои — лишь уют, парадиз  
по сравнению с мукой моею.

Ты о чем, моя радость? Из рук палача  
рвется жизнь, о, позор трепыханья!  
Это горло — мое лишь! В нем кровь горяча.  
Оно надобно мне для дыханья.  
На меня с любопытством **взирала толпа,**  
Там, где прежде душа не бывала,  
я услышал себя: — Обожаю тебя!  
Значит, смерть ничего не меняла.

#### V. ШАБАШ

Раз навсегда я тобой покорен.  
Жить не давала и смерти мешаешь.  
Звон колокольный и крики ворон.  
Ты, подгуляв в честь моих похорон,  
нечисть и нежить **сзываешь на шабаш.**  
Ты среди ведьм **так гола и нагла —**  
диву даюсь, **хоть о многом наслышан.**  
Дразнишь: — Вот этот, с копытом нога,  
мил тебе? Я с ним не буду строга.  
Я отвечаю: — Хорош, да не слишком.  
Есть и получше — вон славный упырь,

тешься до петухов и до света.  
Значит, тебя я не вовсе убил.  
Как засмеялась:—Ты разве забыл?  
Я же воспета тобой и бессмертна.  
Ластишься, жмешься и льнешь к упырю.  
Господи, славься! На все твоя воля.  
Ведьма, ты ведаешь участь твою?  
Я уж убил тебя, снова убью,  
снова казнят и, ликуя и воя,  
ты поцелуешь в зловонье клыков  
оборотня и спалишь его жаром.  
Невероятный удел наш таков —  
делай что хочешь вовеки веков.  
Дай мне смотреть на тебя с обожаньем.

## VI. ЭПИЛОГ

Генриетта Смитсон, мадам Берлиоз.  
Известная актриса, с особенным успехом выступавшая  
в ролях Шекспировских героинь.  
Снискала пылкую благосклонность публики.  
Познала неудачи, горестный упадок судьбы.  
Сломала ногу, выходя из фиакра.  
Претерпела тяжкие нравственные и физические  
страдания.  
Умерла.

Ночь. Горячая мысль не умеет угнаться за смыслом:  
та ирландка, чей цвет розовее, чем пламя свечи,  
что актеркой была и звалась Генриеттою Смитсон,  
кем приходится мне, чтобы ночь на нее извести?

Мало ей музыканта, она возжелала поэта.  
Впрочем, что ей хвала! Все прискучило, все не впервой.  
Ничего мне не жаль. Я тебе отслужу, Генриетта,  
щедрость — муку дарить, искушать и качать головой.

Я люблю твою власть — быть красавицей, плакать,  
лукавить.  
Принимай меня в дар, а потом прогони, разобидь.  
На колени пред вечною тайной твоей! Не легка ведь  
эта каторга счастья: любить, разлюбить и любить.

Совершенная женственность, чудо белейшего света,  
где шалишь, чем играешь, бессмертье и славу терпя?  
Ты повинна лишь в прелести. Где ты ни есть, Генриетта,  
я тебе присягаю и благословляю тебя!

## МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ОТ АВТОРА

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии—Стопани—была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

I

...И я спала все прошлые века  
светло и тихо в глубине природы.  
В сырой земле, черней черновика,  
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!  
Мой стебелек, желающий прибавки,  
вытягивать магнитную звездой —  
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!  
Мы два столетья вспомним в этих играх.  
Представь себе: стоит к тебе спиной  
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,  
не улыбнется, слова не проронит.  
Всех сыновей он по миру пустил,  
и дочери он монастырь прочит.

Я говорю ему:  
— Старик дурной!  
Твой лютый гнев чья доброта поправит?  
Я б разминуться предпочла с тобой,  
но все ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!  
Ведь, если ты не сжалишься над нею,  
как много жизней сгинет вместе с ней,  
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:  
— Чур, чур!  
Ты кто?  
Рассейся, слабая туманность! —  
Я говорю:  
— Я — нечто.  
Я—чуть-чуть,  
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!  
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас  
опустошит гортань, чтоб пригубить,  
о жизнь, твой острый, бьющий в ноздри воздух?

#### Возражение Игрека:

— Не дожدهшься, шиш! И в том  
я клянусь кривым котом,  
приоткрывшим глаз зловещий,  
худобой вороны вещей,  
крылья вскинувшей крестом,  
жабой, в тине разомлевшей,  
смертью, тело одолевшей,  
белизной ее белейшей  
на кладбище роковом.

#### Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,  
в чем торжественно клянусь  
жизнью вечной, влагой вешней,  
каждой веточкой расцветшей,  
зверем, деревом, жуком  
и высоким животом  
той прекрасной, первой встречной,  
женщины добросердечной,  
полной тайны бесконечной,  
и красавицы притом.

— Помолчи. Я — вечный Игрек.  
Безрассудна речь твоя.  
Пусть я изверг, пусть я ирод,  
я-то — есть, а нет — тебя.

И не будет! Как не будет  
с дочерью моей греха.  
Как усопших не разбудит  
восклицанье петуха.  
Холод мой твой пыл остудит.  
Не бывать тебе! Ха-ха.

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.  
Нет полномочий у его злодейства,  
чтоб тесноту природы уберечь  
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,  
простак недобрый, так и не прознавший,  
что уж слетают с отчего крыльца  
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-  
прабабушка! Неправедны, да правы  
поправшие все правила добра,  
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!  
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!  
Не он, а я, я — искуситель твой,  
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!  
Отдай себя на эту злую милость!  
Отсутствуя в таинственной тени,  
небытием моим я утомилась.

И там, в моей дожити неживой,  
смертельного я натерпелась страху,  
пока тебя учил родитель твой:  
«Не смей! Не знай!» — и по щекам в размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда  
окажется науки той твердыня?  
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.  
Но, милая, ты знала, что творила,



когда в окно, в темно, в полночный сад  
ты канула давно, неосторожно.  
А он — так глуп, так мил и так усат,  
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду  
и дерева, и яблоки, и змия,  
и ту беду, бог весть в каком году,  
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след  
и дальновидный подвиг той ошибки!  
Вернется через полтораста лет  
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но боговым суровым облакам  
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —  
наплачешься. Он вступит в балаган.  
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,  
и я прошусь. Прости нас, итальянка!  
Мне нравится шарманщик молодой,  
и обезьянка не чужда таланта.

#### **Песенка шарманщика:**

В саду личинка  
выжить старается.  
Санта Лючия,  
мне это нравится!

Горсточка мусора —  
тяжесть кармана.  
Здравствуйте, музыка  
и обезьяна!

Милая Генуя  
нянчила мальчика,  
думала — гения,  
вышло — шарманщика!

Если нас улица  
петь обязала,

пой, моя умница  
пой, обезьяна!

Сколько народу!  
Мы с тобой — невидаль.  
Стража, как воду,  
ловит нас неводом.

Добрые люди,  
в гуще базарной,  
ах, как вам любы  
мы с обезьяной!

Хочется мускулам  
в дали летящие  
ринуться с музыкой,  
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,  
всему причина,  
Са-а-нта-а Лю-у-чия,  
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:  
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой,  
но некогда в российское село —  
ура, ура! — шут прибыл италийский.

А кстати, хороша бы я была,  
когда бы он не прибыл, не прокрался.  
И солнцем ты, Италия, светла,  
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,  
так властен в нем зов твоего соблазна,  
так влажен образ твой между ресниц,  
что он — о, ужас! — в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!  
Будь он неладен, странник одержимый!  
В конце концов он доведет меня,  
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать  
себя так долго в нетях нелюдимых,  
мужчин и женщин стольких утруждать  
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд. —  
рожусь ли? — все игра орла и решки, —  
и вот непоправимо, невпопад,  
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.  
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.  
Во-первых, я — тогда уже не я,  
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать не мной,  
а кем-то, был мне гнусный пропуск выдан, —  
все ж не хочу свершить в земле иной  
мой первый вдох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей  
сулили жизнь, безжизньем истомили  
и бросили на произвол теней  
в домарковом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:  
отвергнув бремя немощи досадной,  
во что бы то ни стало я рожусь  
в своей земле, в апреле, в день десятый.  
...Итак, сто двадцать восемь лет назад  
в России остается мой шарманщик.

#### 4

Одновременно нужен азиат,  
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.  
Пока ж — пускай он по задворкам ходит,  
старье берет или вершит набег,  
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем  
так узкоглаз, что все давались диву,  
когда он шел, черно кося зрачком,  
большой воздрей принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а все ж ему хвала!  
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —  
его меньшей сынок Ахмадулла,  
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,  
расти скорей, гляди продолговато.  
А дальше так пойдут твои дела:  
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,  
явиться в мир, как с привязи сорваться,  
и усеченной полумглой зрачка  
все ж выразить открытый взор славянства.

**Вольное изложение татарской песни:**

Мне скакать, мне в степи озираться,  
разорять караваны во мгле.  
Незапамятный дух азиатства  
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.  
Как врага, я ловил ее в плен.  
Как тесно облегли шаровары  
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших  
я, как птиц, целовал на лету.  
Семью семь ее черных косичек  
обратил я в одну темноту.

В поле—пахарь, а в воинстве—воин  
будет тот, в ком воскреснет мой прах.  
Средь живых — прав навеки, кто волен,  
среди умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!  
Как свежо мне в ее ширине!  
И ликует, и свищет зазывно,  
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен  
лицом рябым, косицею железной:  
чуть голубой, как сабля из ножен,  
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу  
лба узенького детскую прыщавость,  
которая была ей так к лицу  
и за которую ей все прощалось.

А далее все шло само собой:  
сближались лица, упали руки,  
и в сумерках губернии глухой  
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,  
упрощена полями да степями,  
уже по-русски, ударяя в «а»,  
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи —  
две барышни, чья маленькая повесть  
печальная осталась там, вдали,  
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,  
то ль этой жизни мертвенная скудость  
придали вечный холодок плечам,  
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть  
над вашей красотой колдовала!  
Шарманкой деда вас не укорить,  
придавлена приданным кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,  
и не придать вам радости приданым.  
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть  
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего  
ты озарил своею вспышкой белой  
не гения просторное чело,  
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,  
словно в Помпею слабую — Везувий?  
Не слишком ли огромен твой ожог  
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупой да с умом,  
красавицы с огромными глазами  
сошли с ума, и милосердный дом  
их обряжал и орошал слезами.

#### Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»

О, как гром в этот дом  
бьет огнем и метель колесом колесит.  
Ранит голову грохот огромный. И в тон  
там, внизу, голоса голоски клавишин.  
О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел  
час полуночи. Льдом заострилась вода.  
Остудить моей памяти черный пробел —  
дай же, дай же мне белого льда.  
Словно мост мой последний, пылает мой мозг,  
острый остров сиротства замкнув навсегда.  
О Наташа, сестра, мне бы лед так помог!  
Дай же, дай же мне белого льда.  
Малый разум мой вырос в огромный мотор,  
вкруг себя он вращает людей, города.  
Не распутать мне той карусели моток.  
Дай же, дай же мне белого льда.  
В пекле казни горю Иоанною д'Арк,  
свист зевак, лай собак, а я так молода.  
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!

Дай же, дай же мне белого льда!  
Справка выдана в том, что чрезмерен был стон  
в малом горле.  
Но ныне беда —  
позабыта.  
Земля утешает их сон  
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.  
Волненье. Что там? Выстрел. Мешанна.  
Пронзительный русалочий озноб  
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны  
томит и возбуждает человека.  
В тревоге пред-войны и пред-весны,  
в тумане вечеряющего века

мерцает лбом симбирский гимназист,  
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,  
тот свежий свет так остросеребрист  
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр  
ведет себя опально и престранно.  
Друзей своих он увлекает в сад,  
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:  
— Прекрасен человек,  
принявший дар дыхания и зренья.  
В его коленях спит грядущий бег  
и в разуме живет инстинкт творенья.

Все для него: ему назначен мед  
земных растений, труд ему угоден.  
Но все ж он бездыханен, слеп и мертв  
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый богом враг  
ломает прямизну его коленей

**и примеряет шутовской холпак  
к его морщинам, выдающим гений,**

**пока к его дыханию приник  
смертельно-душной духотою горя  
железного мундира воротник,  
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.**

Но все же он познает торжество  
пред вечным правосудием природы.  
Уж дерзок он. Стесняет грудь его  
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев  
младенчество зеленого побега.  
Пусть нашу волю обостряет гнев,  
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду  
неточно я передаю стихами,  
но точно то, что в этом же году  
был арестован Александр Стопани.

#### Комментарии жандарма:

Всем, кто бунты разжигал, —  
всем студентам  
(о стыде-то  
не подумают),  
жидам,  
и певцу, что пел свободу,  
и глупцу, что быть собою  
обязательно желал, —  
всем отвечу я, жандарм,  
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок  
посягает на порядок  
высочайших правд, парадов, —  
вольнодумцев неприятных,  
а поэтов и подавно, —  
я их всех тюрьмой порадую  
и засов задвину сам.



В чем клянусь верностью государю императору  
и здоровьем милых дам.

О распушенность природы!  
Дети в ней — и те пророки,  
красок яркие мазки  
возбуждают все мозги.  
Ликовала, оживала,  
напустила в белый свет  
леопарда и жирафа,  
Леонардо и Джордано,  
все кричит, имеет цвет.  
Слава богу, власть жандарма  
все, что есть, сведет на нет.

**(Примечание автора:**

Между прочим, тот жандарм  
ждал награды, хлеб жевал,  
жил неважно, кончил плохо,  
не заметила эпоха,  
как подох он.  
Никто на похороны копеечки не дал.)

Знают люди, знают дети:  
я — бессмертен. Я — жандарм.  
А тебе на этом свете  
появиться я не дам.

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,  
повелевают вечность и мгновенность —  
земле лететь, вершить глубокий вздох  
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля  
уже в пределах нового столетья,  
и в май маевок бабушка моя  
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,  
и плечики на что идут войною?  
Над нею вновь смыкается вердикт:  
«Виновна ли?» — «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,  
она вкусила пыль дорог протяжных,  
переступала из тюрьмы в тюрьму,  
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках  
в два солнышка закатится чахотка.  
Но есть все основания считать:  
она грустит, а все же ждет чего-то,

В какую даль теперь ее везут  
небыстрые подковы Росинанта?  
Но по тому, как снег берет на зуб,  
как любит, чтоб сверкал и расстирался,  
я узнаю твой облик, россиянка.  
В глазах черно от белого сиянья!  
Как холодно. Как лошади несут!

Выходит. Вдруг—мороз ей нов и чужд.  
Сугробов белолобые телята  
к ладоням льнут. Младенческая чушь  
смешит уста. И нежно и чуть-чуть  
в ней в полщеки проглянет итальянка,  
и в чистой мгле ее лица таятся  
движения неведомых причуд.

Все ждет. И ей —то страшно, то смешно,  
И похудела. Смотрит остроносо  
куда-то ввысь. Лицо усложнено  
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и  
вкривь.  
Ей все нужней, все тяжелей работа.  
Мне кажется, что скоро грянет крик  
доселе неизвестного ребенка.

Грянь а ты, месяц первый, Октябрь,  
на твоём повороте мгновенном  
электричеством бьёт по локтям  
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,  
оглашающий древние своды,  
по огромной округлости губ,  
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рев сильных широт  
отворенной гортани!  
Как в красных  
и предельных объёмах шаров —  
тесно воздуху в трёх этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный **крик**  
той Свободы! Навеки и разом —  
распахни треугольный тупик,  
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук  
тем, что бились о стены и гибли, —  
там, в Михайловском, замкнутом в круг,  
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх  
видеть, знать в небосводе затихшем,  
как бредущий в степи человек  
близость звезд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,  
совершающей дивную дивность,  
навсегда предрешившей во мне  
свою боль, и любовь, и родимость.

Ну что ж. Уже все ближе, все верней <sup>1</sup>  
расчет, что попаду я в эту повесть.

Конечно, если появиться в ней  
мне Игрска не помешает происк.

Все непременно чередом идет,  
двадцатый век наводит свой порядок,  
подрагивает, словно самолет,  
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком  
глядит чуть вкось, чуть невпопад и  
странно,  
ступившая, как дети на балкон,  
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,  
дует апрель, насытивший скворешник,—  
нацеленный в меня, прости ей, гром!—  
она мне мать, и перемен скорейших  
ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,  
спеши вперед и понукай педаль  
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат—  
он белокур, как белая ворона,  
как гончую, его влечет азарт  
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны  
двух острых скул опасность и подарок.  
Округлое дитя из тишины  
появится, как слово из помарок.

## 11

Я — скоро. Но куда нет меня.  
Я — где-то там, в преддверии природы.  
Вот-вот окликнут, разрешат — и я  
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,  
как посетитель в тягостной приемной,  
пробить бюрократическую дверь  
всем телом — и предстать в ее проеме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.  
Еще не пала вещая щеколда.  
Никто не знает, что я — вот она,  
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,  
испытывая радость отдаленья.  
Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак  
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,  
вломлюсь птенцом горячим, косоротым—  
ловить губами воздух, словно гроздь,  
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,  
трепещущих, что славы не добьются,  
с моим волнением среди тех кулис,  
в потемках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,  
еще не сбился в легких вздох голодный.  
Мир наблюдает смутной белизной,  
сурово излучаемой галеркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль  
усильем безрассудства молодого?  
О, перейти, превозмогая боль,  
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста  
взрастили дивный плод стекла простого,  
играть и знать, что жизнь твоя проста  
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотую труб  
замаранный, сидит верхом на доме,

захотать и ощутить свой труд  
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой  
меж «да» и «нет», небытием и бытом,  
где человек обязан быть собой  
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле  
всех сыновей ее, в ней погребенных.  
Вершит всевечный свой восход во мгле  
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной  
предчувствую прыжок свой на арену.  
Уже объявлен год тридцать седьмой.  
Сейчас, сейчас—дадут звонок к апрелю.

#### **Реплика доброжелателя:**

О нечто, крошка, пустота,  
еще не девочка, не мальчик,  
ничто, чужого пустяка  
пустой и маленький туманчик!  
Зачем, неведомый радист,  
ты шлешь сигналы пробужденья?  
Повремени и не родись,  
не попади в беду рожденья.  
Нераспрямленный организм,  
закрученный кривой пружинкой,  
о, образумься и очнись!  
Я — умник, много лет проживший, —  
я говорю: потом, потом  
тебе родиться будет лучше.  
А не родишься — что же, в том  
все ж есть свое благополучье.  
Помедли двадцать лет хотя б,  
утешься беззаботной ленью,  
блаженной слепотой котят,  
столь равнодушных к утоплению.  
Что так не терпится тебе,  
и, как птенец в тюрьме скорлупок,

ты спешку точек и тире  
все выбиваешь клювом глупым?  
Чем плохо там — во тьме пустой,  
где нет тебе ни слез, ни горя?  
Куда ты так спешишь? Постой!  
Родится что-нибудь другое.

### Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть  
родится тоже непременно, —  
всей музыкой озвучен пульс,  
прям позвоночник, как антенна.  
Но для чего же мне во вред  
ему прийти и стать собою?  
Что ж, он займет весь белый свет  
своею малой худобою?  
Мне отведенный кислород,  
которого я жду веками,  
неужто он до дна допьет  
один, огромными глотками?  
Мои друзей он станет звать  
своими? Все наглей, все дальше  
они там будут жить, гулять  
и про меня не вспомнят даже?  
А мой родимый, верный труд,  
в глаза глядящий так тревожно,  
чужою властью новых рук  
ужели приручить возможно?  
Ну, нет! В какой во тьме пустой?  
Сам там сиди. Довольно. Дудки.  
Наскучив мной, меня в простор  
выбрасывают виадуки!  
И в солнце, среди синевы  
расцветшее, нацелясь мною,  
меня спускают с тетивы  
стрелю с тобою спиною.  
Веселый центробежный вихрь  
меня из круга вырвать хочет.  
О Жизнь, в твою орбиту вник  
меня таинственный комочек!  
Твой золотой круговорот

так призывает к полнокровью,  
словно сладчайший эгород,  
красно дразнящий рот морковью.  
О Жизнь любимая, пускай  
потом накажешь всем и смертью,  
но только выуди, поймай,  
достань меня своею сетью!  
Дай выгадать мне белый свет —  
одну-единственную пользу!  
— Припомнишь, дура, мой совет  
когда-нибудь, да будет поздно.  
Зачем ты ломишься во вход,  
откуда нет освобожденья?  
Ведь более удачный год  
ты сможешь выбрать для рожденья.  
Как безопасно, как легко,  
вне гнева века или ветра —  
не стать. И не принять л.цо,  
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, среди всех затей,  
любой наш год — утешен, обнадежен  
неистовым рождением детей,  
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рев,  
захлебом насыщая древний голод,  
гортань прорезав чистым острием,  
вонзился мой, ожегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,  
земля меня исторгшая, родная,  
в печаль и в радость, и в трубу трубя,  
и в маленькую дудочку играя.

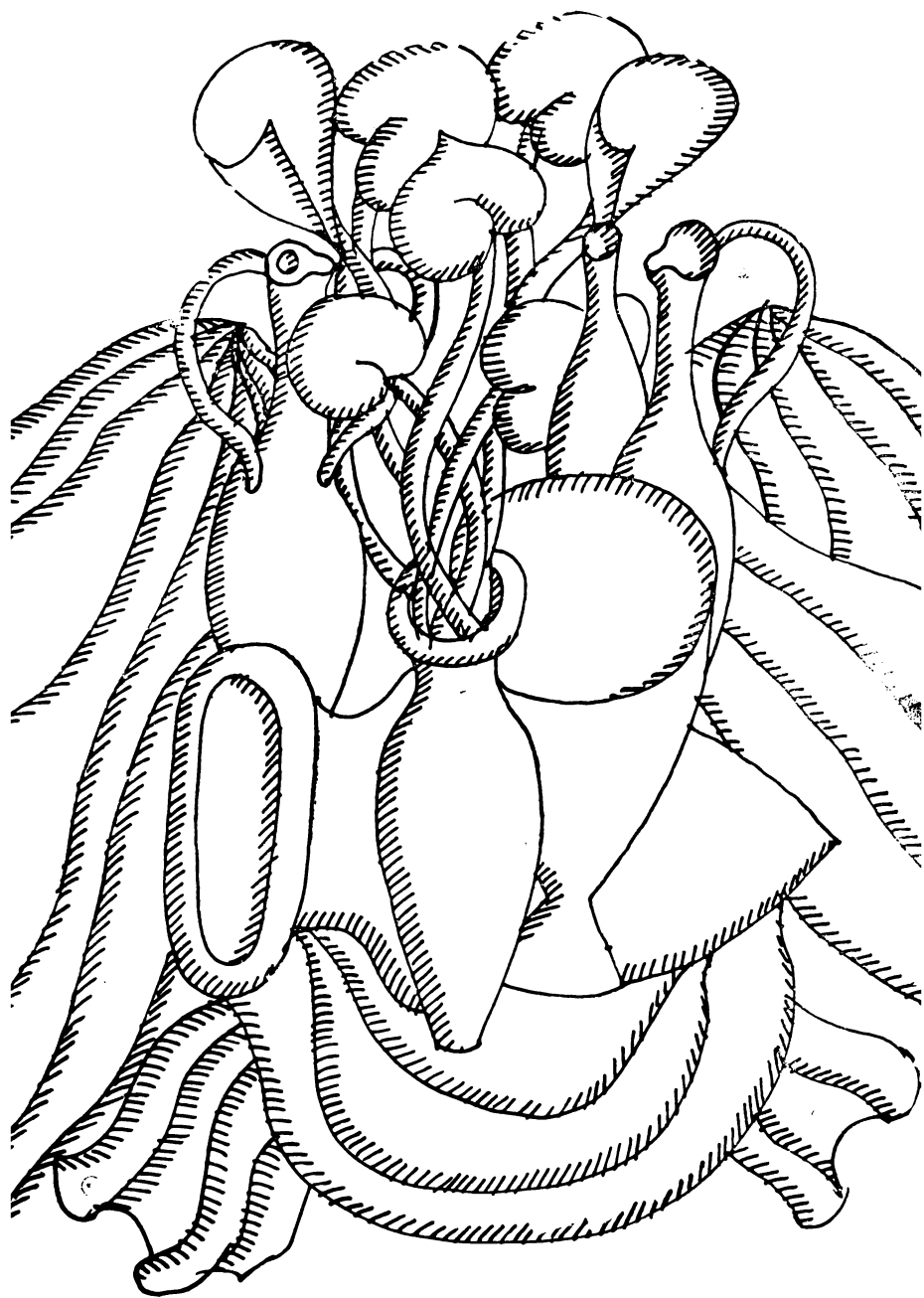
Мне нравится, что Жизнь всегда права,  
что празднует в ней вечная повадка —  
топырить корни, ставить дерева  
и меж ветвей готовить плод подарка.



Пребуду в ней до края, до конца,  
а пред концом — воздам благодаренье '   
всем девочкам, слетающим с крыльца,  
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?  
Я не знаю, я одобрена вами  
иль справедливо и бегло охаяна.  
Но проносятся пусть надо мной  
ваши лица и ваши слова.  
Написала все это Ахмадулина  
Белла Ахатовна.  
Год рождения — 1937. Место рождения—  
город Москва.



# **Переводы**

---

*Николоз Бараташвили*

**МЕРАНИ**

Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу любую.  
Вслед мне каркает ворон злоокий: **живым** я не буду.  
Мчись, Мерани, пока не паду я на **землю сырую!**  
С ветром бега смешай моих помыслов **мрачную бурю!**

Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость  
страстная —  
Над водою, горою, над бездною бедствия всякого.  
Мой летящий, лети, сократи мои муки и странствия.  
Не жалея, не щади твоего безрассудного всадника!

Пусть отчизну покину, лишу себя друга и сверстника,  
Не увижу родных и любимую, сладкоречивую,—  
Но и в небе чужбины звезда моей родины светится,  
Только ей я поведаю тайну страдания чистую!

Все, что в сердце осталось, — влеку я во мглу голубую,  
**Все, что в разуме живо, — безумному бегу дарую!**  
С ветром бега смешай моих помыслов **мрачную бурю!**  
Мчись, Мерани, пока не паду я на **землю сырую!**

Пусть не ведать мне ласки родного кладбища пустынного,  
Тени предков со мной не поделятся миром и славою!

Черный ворон мне роет могилу средь поля постылого.  
И останки костей моих будут для вихря забавою.

Не сойдутся родные—простить мне грехи и провинности,  
Не заплачет любимая—крикнут голодные коршуны!  
Мчись, Мерани, вперед, за пределы судьбы меня вынеси,  
Не бывал я покорным и впредь не узнаю покорности!

Пусть отвергнутый всеми и проклятый всеми, умру я.  
Враг судьбы—презираю разящую силу слепую!  
Мчись, Мерани, пока не упал я на землю сырую!  
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Не бесплодно стремленье души обреченной и раненой!  
Мой собрат небывалый продолжит прыжок мой над  
пропастью.

Неспроста, о Мерани, не зря, не впустую, Мерани мой,  
Мы полет затевали, гнушаясь расчетом и робостью!

Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу любую.  
Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.  
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!  
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

## **ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО**

О друзья, лишь поэзия прежде, чем вы,  
прежде времени, прежде меня самого,  
прежде первой любви, прежде первой травы,  
прежде первого снега и прежде всего.

Наши души белеют белее, чем снег.  
Занимается день у окна моего,  
и приходит поэзия прежде, чем свет,  
прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Что же, город мой милый, на ласку ты скуп?  
Лишь последнего жду я венка твоего,  
и уже заклинанья срываются с губ:  
Жизнь, и Смерть, и Поэзия—прежде всего.

## **ТЕБЕ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ**

Тебе тринадцать лет. О старость этих  
двух рук моих! О добрый мир земной,  
где детские уста всех арифметик  
тринадцать раз смеются надо мной!  
Я путаюсь в тринадцати решеньях —  
как весело! Как голова седа!  
Тринадцать пуль отлей мне, оружейник,  
и столько ж раз я погублю себя.  
О девочка, ребенок с детским жестом,  
привставшая над голубым мячом,  
как смело ты владеешь вечно женским  
и мудрым от рождения плечом.  
Я возведен — о точность построенья! —  
причудой несчастливого числа  
в тринадцатую степень постаренья.  
О, как, шутник, твоя слеза чиста!

## ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО

Опять смеркается, и надо,  
пока не смерклось и светло,  
следить за увяданьем сада  
сквозь запотевшее стекло.

Давно ли, приминая гравий,  
я здесь бродил, и на виду,  
словно букет меж чистых граней,  
стояло дерево в цвету.

Как иноземная царевна,  
казало странные черты,  
и пахли горько и целебно  
им оброненные цветы.

Его плодов румяный сахар  
я собирал между ветвей.  
Оно смеялось—добрый знахарь  
той детской радости моей.

И **все** **затем**, чтоб днем печальным  
**смотреть не** **меся**, **не дыша**,  
как **в легком выдохе** прощальном  
возносится его душа.

И—все охвачено верчением,  
кружением, и в глазах темно.  
Как будто в небе предвечернем,  
в саду моем красным-красно.

Сиротства огненный оттенок  
ложится на лицо и грудь,  
обозначается на стенах  
в кирпич окрашенная грусть.

Я сам, как дерево седое,  
внутри оранжевой каймы  
над пламенем и над водою  
стою в предчувствии зимы.

## М Е Р И

Венчалась Мери в ночь дождей,  
и в ночь дождей я проклял Мери.  
Не мог я отворить дверей,  
восставших между мной и ей,  
и я поцеловал те двери.

Я знал — там упадают ниц,  
колечком палец награждают.  
Послушай! Так кольцуют птиц!  
Рабынь так рабством утруждают!

Но я забыл твое лицо!  
Твой профиль нежный, твой дикарский,  
должно быть, темен, как крыльцо  
ненастной порой декабрьской?

И ты, должно быть, на виду  
толпы заботливой и праздной  
прносишь белую фату,  
как будто траур безобразный?

Не хорони меня! Я жив!  
Я счастлив! Я любим судьбою!  
Как запах приторен, как джив  
всех роз твоих... Но бог с тобою.

Не ведал я, что говорю, —  
уже рукою обрученной  
и головою обреченной  
она склонилась к алтарю.

И не было на них суда —  
на две руки, летящих мимо...  
О, как я молод был тогда.  
Как стар теперь.  
Я шел средь дыма,

вкруг дома твоего плутал,  
во всякой сомневался вере.



Сто лет прошло. И, как платан,  
стою теперь.  
Кто знает, Мери,

зачем мне показалось вдруг,  
что нищий я? — И в эту осень  
я обезумел — перстни с рук  
я снимал и кинул оземь?

Зачем «Могильщика» я пел?  
Зачем среди луж огромных плавал?  
И холод бедственный терпел,  
и «Я и ночь» читал и плакал?

А дождик лил всю ночь и лил  
все утро, и во мгле опасной  
все плакал я, как старый Лир,  
как бедный Лир, как Лир прекрасный.

## С Н Е Г

Лишь бы жить, лишь бы пальцами трогать,  
лишь бы помнить, как подле моста  
снег по-женски закидывал локоть,  
и была его кожа чиста.

Уважать драгоценную важность  
снега, павшего в руки твои,  
и нести в себе зимнюю влажность  
и такое терпенье любви.

Да уж поздно. О милая! Стыну  
и старею.  
О взлет наших лиц —  
в снегопаданье, в бархат, в пустыню,  
как в уют старомодных кулис.

Было ль это? Как чисто, как крупно  
снег летит... И, наверно, как встарь,

с январем побрататься нетрудно.  
Но минуй меня, брат мой, январь.

Пролетание и прохожденье —  
твой урок я усвоил, зима.  
Уводящее в вечность движенье  
омывает нас, сводит с ума.

Дорогая, с каким снегопадом  
я тебя отпустил в белизну  
в синем, синеньком, синеватом  
том пальтишке — одну, о одну?

Твоего я не выследил следа  
и не выгадал выгоды нам —  
я следил расстиланье снега,  
его склонность к лиловым тонам.

Как подумаю — радуг неровность,  
гром небесный, и звезды, и дым —  
о, какая нависла огромность  
над печальным сердечком твоим.

Но с тех пор, властью всех твоих качеств,  
снег целует и губит меня.  
О запинок, улыбок, чудачеств  
снегопад среди белого дня!

Ты меня не утетишь свободой,  
и в великом терпенье любви  
всею белой и синей природой  
ты ложишься на плечи мои.

Как снежит... И стою я под снегом  
на мосту, между двух фонарей,  
как под плачем твоим, как под смехом,  
как под вечной заботой твоей.

Все играешь, метелишь, хлогочешь,  
Сжалься же, наконец, надо мной —  
как-нибудь, как угодно, как хочешь,  
только дай разминуться с зимой.

## ОРЛЫ УСНУЛИ

Вот сказки первые слова:  
орлы уснули, как орлята,  
и у орлов в часы заката  
ко сну клонится голова.

Орлы, прошу вас, не теперь,  
нет, не теперь смежайте очи!  
Но спите—и огонь среди ночи  
походкой женской входит в дверь.

В дверь ваших гор и облаков  
кулак оранжевый стучится,  
и знает, что беда случится,  
семейство прозорливых сов.

Но спите вы, как детвора,  
там, в ваших сумерках неверных,  
и трубы ваших снов военных  
молчат, не говорят: «Пора!»

О пламя, не обидь орла!  
Спасутся маленькие птицы,  
меж тем, как обгорят на плахе  
два величавые крыла.

Но поздно! Перья их на треть  
ожог губительный отметил.  
Не дай мне бог, как птицам этим,  
проснуться, чтобы умереть.

С веселой алчностью орды  
плясал пожар, и птиц оравы  
влетали, и у вод Арагвы  
поникли головой орлы.

«Я видел ворона. Дрожа  
от низости, терзал он тело,  
что брезговать землей умело  
и умерло», — сказал Важа.

## СКОРЕЕ — ЗНАМЕНА!

Светает! И огненный шар  
раскаленный встает из-за моря...  
Скорее—знамена!  
Возжаждала воли душа  
и, раннею ранью, отвесной тропею,  
раненой ланью спеша,  
летит к водопою...  
Терпеть ей осталось немного.  
Скорее—знамена!  
Слава тебе, муку принявший  
и павший в сражении витязь!  
Клич твой над нами витает:  
— Идите за мною, за мною!  
Светает!  
Сомкнитесь, сомкнитесь, сомкнитесь!  
Знамена, знамена...  
Скорее—знамена!

## ПЛАТАНЫ ШИНДИСИ

С чем платаны Шиндиси сравню?  
С чем сравню той поры несравненность?  
Ее утро, ведущее к дню,  
ее детских молитв откровенность?

С чем тебя я сравню, моя мать?  
Что ж не брошусь я к скважинам, щелкам,  
к окнам, чтобы на миг увидеть,  
как идешь, как белеешь ты шелком?

О платаны в Шиндиси моем!  
Я не понял закона простого —  
да, напомнит одно о другом,  
но одно не заменит другого.

Так о детстве всерьез и шутя  
я заплакал, отверженный странник.

Уж не я, а иное дитя  
его новый и милый избранник.

Нет замены вокруг ничему:  
ни пичужке, порхающей в выси,  
ни цветку, ни лицу моему,  
ни платанам в далеком Шиндиси.



Мир состоит из гор,  
из неба и лесов,  
мир—это только спор  
двух детских голосов.

Земля в нем и вода,  
вопрос в нем и ответ.  
На всякое «о, да!»  
доносится «о, нет!».

Среди зеленых трав,  
где шествует страда,  
как этот мальчик прав,  
что говорит «о, да!».

Как девочка права,  
что говорит «о, нет!»,  
и правы все слова,  
и полночь, и рассвет.

Так в лепете детей  
враждуют «нет» и «да»,  
как и в душе моей,  
как и во всем всегда.

## НАТЭЛА ИЗ ЦИНАНДАЛИ

Я птицей был, мне разрешалось,  
как в небо, ринуться в силлок.  
Я ринулся—и все смешалось:  
Натэла, Цинандали, жадность  
к тебе, о виноградный сок.

Зачем я вырвался, Натэла?  
Зачем освободил крыла?  
Когда я вышел, ночь светлела,  
была уже светлым-светла.

Уже рассветный ветер дунул,  
и птиц возникли голоса,  
и я о Тинатин подумал  
и к небу обратил глаза.

А в небе было звезд так мало,  
так нежно было и светло,  
там все качалось, уплывало  
и повториться не могло...

## ИЗ РАССКАЗАННОГО ЛУНОЙ...

К реке подходит маленький олень  
и лакомство воды лакает.  
Но что ж луна так медлит, так лукавит,  
и двинуться ей боязно и лень!

Ужель и для нее, как для меня,  
дождаться дня и на свету погибнуть —  
все ж веселей, чем, не дождавшись дня,  
вас, небеса грузинские, покинуть.

Пока закат и сумерки длинны,  
я ждал ее—после дневной разлуки,  
и свет луны, как будто звук луны,  
я принимал в протянутые руки.

Я знал наперечет ее слова,  
и вот они:  
— Полночную порою  
в печали—зла и в нежности—слаба,  
о Грузия, я становлюсь тобою.

И мне, сиявшей меж твоих ветвей,  
твоих небес отдававшей однажды,  
о Грузия, без свежести твоей  
как дальше быть, как не устать от жажды?

Нет, никогда границы стран иных  
не голубели так, не розовели.  
Никто еще из сыновей земных  
не плакал так, как плакал Руставели.

Еще дитя—он жил в моих ночах,  
но был мне брат, не как другие братья,  
и уж смыкались на его плечах  
прекрасного несчастья объятья.

Нет, никогда границы стран иных...—  
я думала, — и, как сосуд, как ваза  
с одним цветком среди граней ледяных,  
сияли подо мной снега Кавказа.

Здесь Амирани бедствие терпел,  
и здесь освобожден был Амирани,  
и женский голос сетовал и пел,  
и царственные старцы умирали.

...Так и внимал я лепету луны,  
и был восход исходом нашей встречи.  
И вот я объяснил вам эти речи,  
пока закат и сумерки длинны.



Все желтое становится желтей,  
и радуга семь раз желта над нами,  
и россыпь драгоценных желудей  
все копит дуб и нежит меж корнями.

Все — в паутине, весело смотреть,  
как бьется в ней природа пред зимою.  
Счастлив рыбак, который эту сеть  
наполнил золотою чешуею.

Пока в дубах стозвонный звон стоит  
и шум летит над буркою Арсена,  
прикосновеньем осень осенит  
все то, что было неприкосновенно.





Брат мой, для пенья пришли, не для распрей,  
для преклоненья колен пред землею,  
для восклицанья:

— Прекрасная, здравствуй,  
жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани  
алою влагой?

Кем солнце ведомо,  
чтоб в осиянных долинах Арагви  
зрела и близилась алавердоба?

Кто-то другой и умрет, не заметив,  
смертью займется, как будничным делом...  
О, что мне делать с величием этим  
гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!  
Проще в постылой чужбине скитаться,  
чем этой родины невероятной  
видеть красу

и от слез удержаться.

Где еще Грузия—Грузии кроме?

Край мой, ты прелесть

и крайняя крайности!

Что понукает движение крови  
в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?

Если рожден я—рожден не на время,  
а навсегда, обожатель и раб твой.  
Смерть я снесу, и бессмертия бремя  
не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

## **МОЙ ПАОЛО И МОЙ ТИЦИАН**

Склон Удзо высокой луной осиян.  
Что там происходит? Размолвка, помолвка  
у соловьев? Как поют, Тициан!  
Как майская ночь неоглядна, Паоло!

Вином не успел я наполнить стакан,  
не вышло! Моими слезами он полон.  
Во здравье, Паоло! За жизнь, Тициан!  
Я выжил! Зачем, Тициан и Паоло?

Вином поминальным я хлеб окропил,  
но мне ваших крыл не вернуть из полета  
на грешную землю, где горек мой пир.  
Эгей, Тициан! Что мне делать, Паоло?

Пошел бы за вами—да бог уберег.  
Вот вход в небеса—да не знаю пароля.  
Я пел бы за вас—да запекся мой рот.  
Один подниму у пустого порога  
слезами моими наполненный рог,  
о братья мои, Тициан и Паоло...



Чего еще ты ждешь и хочешь, время?  
Каких стихов ты требуешь, ответстуй!  
Дай мне покоя! И, покоем вея,  
дай мне воды, прозрачной и отвесной.

Зачем вокруг выи духоту смыкаешь?  
Нет крыл моих. Нет исцеленья ранам.  
Один стою. О, что ты сделал, Каин!  
Твой мертвый брат мне приходился братом.

●

Как в Каспийской воде изнывает лосось,  
на камнях добывает ушибы и раны  
и тоскует о том, что кипело, неслоь,  
и туманилось, и называлось: Арагви, —  
так тянусь я к тебе, о возлюбленный край!  
Отчий край, приюти в твоём будущем русле  
мою душу—вместилище скорби и ран.  
Помещусь ли я в искре твоей, помещусь ли?

## НАЧАЛО

О стихи, я бы вас начинал,  
начиная любое движенье.  
Я бы с вами в ночи ночевал,  
я бы с вами вступал в пробужденье.  
Но когда лист бумаги так бел,  
так некстати уста молчаливы.  
Как я ваших приливов робел!  
Как оплакивал ваши отливы!  
Если был я присвоить вас рад,  
вы свою охраняли отдельность.  
Раз, затеяв пустой маскарад,  
вы моею любимой оделись.  
Были вы—то глухой водоем,  
то подснежник на клумбе ледовой,  
и болели вы в теле моем,  
и текли у меня из ладоней.  
Вас всегда уносили плоты,  
вы погоне моей не давались,  
и любовным плесканьем плотвы  
вы мелькали и в воду скрывались.  
Так, пока мой затылок сидел  
и любимой любовь угасала,  
я с пустыми руками сидел,  
ваших ласк не отведав нисколько.  
Видно, так голубое лицо  
звездочет к небесам обращает,  
так девчонка теряет кольцо,  
что ее с женихом обручает.  
Вот уже завершается круг.  
Прежде сердце живее стучало.  
И перо выпадает из рук  
и опять предвкушает начало.

## МОРСКАЯ РАКОВИНА

Я, как Шекспир, доверюсь монологу  
в честь раковины, найденной в земле.  
Ты послужила морю молодому,  
теперь верни его звучанье мне.

Нет, древний череп я не взял бы в руки.  
В нем знак печали, вечной и мирской.  
А в раковине — воскресают звуки,  
умершие среди глубины морской.

Она, как келья, приютила гулы  
и шелест флагов, буйный и цветной.  
И шепчут ее сомкнутые губы,  
и сам Риони говорит со мной.

О раковина, я твой голос вещей  
хотел бы в сердце обрести своем,  
чтоб соль морей и песни человечьи  
собрать под перламутровым крылом.

И сохранить среди прочих шумов—милый  
шум детства, различимый в тишине.  
Пусть так и будет. И на дне могилы  
пусть все звучит и бодрствует во мне.

Пускай твой кубок звуки разливает  
и все же ими полнится всегда.  
Пусть развлечет меня—как развлекает  
усталого погонщика звезда.



Две округлых улыбки — Телети и Цхнети,  
и Кумиси и Лиси—два чистых зрачка.  
О, назвать их опять! И названия эти  
затрудняют гортань, как избыток глотка.

Подставляю ладонь под щекотную каплю,  
что усиьем всех мышц высекает гора.  
Не пора ль мне, прибегнув к алгетскому камню,  
высечь точную мысль красоты и добра?

Тих и женственен мир этих сумерек слабых,  
но Кура не вполне обновила волну  
и, как дуб, затвердев, помнит вспылчивость сабель,  
бег верблюжьих копыт, означавший войну.

Этот древний туман так не полон—в нем стрелы  
многих луков пробили глубокий просвет.  
Он и я — мы лишь известь, скрепившая стены  
вкруг картлийской столицы на тысячу лет.

С кем сражусь на восходе и с кем на закате,  
чтоб хранить равновесье двух разных огней:  
солнце там, на Мтацминде, луна на Махате,  
совмещенные в небе любовью моей.

Отпиваю мацони, слежу за лесами,  
небесами, за посветлевшей водой.  
Уж с Гомборской горы упадет в Исани  
первый луч—неумелый, совсем молодой.

Сколько в этих горах я камней пересилил!  
И тесал их и мучил, как слово лепил.  
Превозмог и освоил цвет белый и синий.  
Теплый воздух и иней равно я любил.

И еще что я выдумал: ветку оливы  
я жестоко и нежно привил к миндалю,  
поместил ее точно под солнце и ливни.  
И все выдумки эти Тбилиси дарю.

## МЕТЕХИ

Над Метехи я звезды считал,  
письменам их священным дивился.  
В небесах, как на древних щитах,  
я разгадывал знаки девиза.

Мне всегда объясняла одно  
эта клинопись с отсветом синим—  
будто бы не теперь, а давно,  
о Метехи, я был твоим сыном.

Ты меня создавал из ребра,  
из камней твоих сокровенных,  
и наказывал мне серебра  
не жалеть для нарядов военных.

Пораженный монгольской стрелой,  
я дышал так прощально и слабо  
под твоей крепостною стеной,  
где навек успокоился Або.

**За Махатской горой много дней  
ты меня окунал во туманы,  
колдовской паутиной твоей  
врачевал мои бедные раны.**

И когда-то спасенный тобой,  
я пришел к тебе снова, Метехи.  
Ворожи над моей головой,  
обнови золотые доспехи.

Одари же, как прежде, меня  
Иорским облаком и небесами,  
подведи под уздцы мне коня,  
чтоб скакать над холмами Исани.

А когда доскажу все слова  
и вздохну так прощально и слабо,  
пусть коснется моя голова  
головы опечаленной Або.

## ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит  
и среди тутовых веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Где-то рядом, у глаз и у щек,  
драгоценный узор уже соткан —  
шелкопряды мотают свой шелк  
на запястья верийским красоткам.

Вся дрожит золотая блесна,  
и по милости этой погоды  
так далекая юность близка,  
так свежо ощущение свободы.

О, ходить, как я хаживал, впредь  
и твердить, что пора, что пора ведь  
в твои очи сквозь слезы смотреть  
и шиповником пальцы поранить.

Так сияй своим детским лицом!  
Знаешь, нравится мне в этих грозах,  
как стоят над жемчужным яйцом  
аистихи в затопленных гнездах.

Как миндаль облетел и намок!  
Дождь дорогу марает и моет—  
это он подает мне намек,  
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в тутовых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.



## НА НАБЕРЕЖНОЙ

Я в семь часов иду — так повелось —  
по набережной, в направленье дома,  
и продавец лукавый папирос  
мне смотрит вслед задумчиво и долго.

С лотком своим он на углу стоит,  
уставится в меня и не мигает.  
Будь он неладен, взбалмсшный старик.  
Что знает он, на что он намекает?

О, неужели ведомо ему,  
что, человек почтенный и семейный,  
в своем дому, в своем пустом дому,  
томлюсь я от чудачеств и сомнений?

Я чиркну спичкой — огонек сырой  
возникнет. Я смотрю на это тленье,  
и думы мои бродят над Курой,  
как бы стада, что ищут утоленья.

Те ясени, что посадил Важа,  
я перенес в глубокую долину,  
и нежность моя в корни их вошла,  
и щедро их цветеньем одарила.

Я сердце свое в тонэ закалил,  
и сердце стало вспылчивым и буйным.  
И все ж порою из последних сил  
тянул я лямку — одинокий буйвол.

О старость, приговор твой отмени  
и детского не обмани доверья.  
Не трогай палисадники мои,  
кизиловые не побей деревья.

Позволь, я закатаю рукава.  
От молодости я изнемогаю —  
пока живу, пока растет трава,  
пока люблю, пока стихи слагаю.

## ОТ ЭТОГО ПОРОГА..

От этого порога до того  
работы переделал я немало.  
Чинары я сажал — в честь твоего  
лица, что мне увидеть предстояло.

Пока я отыскал твои следы  
и шел за ними, призванный тобою,  
состарился я. Волосы седы.  
Ступни мои изнурены ходьбою.

И все ж от этой улицы до той  
я собирал оброненные листья,  
и наблюдали пристально за мной  
прохожих озадаченные лица.

То солнце жгло, то дождик лил — всего  
не перескажешь. Так длинна дорога  
от этого порога до того  
и от того до этого порога.

И все-таки в том стареньком дому  
все нашими населено следами,  
и где-то там, на чердаке, в дыму,  
лежит платок с забытыми слезами.

От этого и до того огня  
ты шила мне мешок для провианта.  
Ты звездную одела на меня  
рубашу. Ты мешок мой проверяла.

От этого порога до того  
я шел один среди жары и стужи,  
к бокам коней прикладывал тавро,  
и воду пил, толок я воду в ступе.

Я плыл по рекам и не знал—куда,  
и там, пока плыла моя пирога,  
я слышал, как глаголила Кура, —  
от этого и до того порога.

## ОЛЕНИ НА ГУМНЕ

Я молод был. Я чужд был лени,  
Хлеб молотил я на гумне.

Я их упрашивал:

— Олени!

Олени, помогите мне!

Они послушались. И славно  
работали мы дотемна.

О, как смеялись мы, как сладко  
дышали запахом зерна!

Нас солнце красное касалось  
и отражалось в их рогах.

Рога я трогал—и казалось,  
что солнце я держу в руках.

Дома виднелись. Их фасаду  
закат заглядывал в лицо.

И вдруг, подобная фазану,  
невеста вышла на крыльцо.

Я ей сказал:

— О, совпаденье!

Ты тоже здесь? Ты — наяву?

Но будь со мной, как сновиденье,  
когда засну, упав в траву.

Ты мне привидишься босая,  
босая, на краю гумна.

Но, козы за плечи бросаю,  
ты выйдешь за пределы сна.

И я скажу тебе:

«Оденем

оленям на рога цветы.

Напьемся молоком оленьим

иль буйволым—как хочешь ты».

Меж тем смеркается, и вилы  
крестьянин прислонил к стене,  
и возникает запах винный,  
и пар клубится на столе.

Присесть за столик земледельца  
и, в сладком предвкушении сна,  
в глаза олени заглядеться  
и выпить доброго вина...

## БЫКИ

Что за рога украсили быка!  
Я видел что-то чистое, рябое,  
как будто не быки, а облака  
там шли, обремененные арбою.

Понравились мне красные быки.  
Их одурманил запах урожая.  
Угрюмо напряженные белки  
смотрели добро, мне не угрожая.

О, их рога меня с ума свели!  
Они стояли прямо и навесно.  
Они сияли, словно две свечи,  
и свечи те зажгла моя невеста.

Я шел с арбой. И пахло все сильнее  
чем-то осенним, праздничным и сытым.  
О виноградник юности моей,  
опять я янтарем твоим осыпан.

Смотрю сквозь эти добрые рога  
и вижу то, что видывал когда-то:  
расставленные на лугу стога,  
гумно и надвижение заката.

Мне помнится—здесь девочка была,  
в тени ореха засыпать любила.  
О женщина, ведущая быка,  
сестра моя! Давно ли это было?

Прими меня в моих местах родных  
и одари теплом и тишиною!  
Пусть светлые рога быков твоих,  
как месяцы, восходят надо мною.

## АНАНИЯ

Люблю я старинные эти старания:  
сбор винограда в ущелье Атени.  
Волов погоняет колхозник Анания,  
по ягодам туты ступают их тени.

Пылает оранжевым шея вола!  
Рогам золотым его — мир и хвала!  
Сквозь них мне безмерная осень видна.  
Уже виноград претерпел умиранье.

Но он воскресает с рождением вина,  
в младенчестве влаги, что зрела века.  
Ведь эта дорога и прежде вела  
туда, где хранит свои тайны марани.

Ах, осени этой труды и сияния!  
А вон и ореха обширная корона, —  
как часто под ней засыпал ты, Анания,  
и было лицо твое славно и кротко.

Меж тем вечереет, и, в новой длине,  
все тени бредут в неживой вышине,  
как луны, мерцают волы при луне,  
и столько добра и усталости в теле.

Как часто все это припомнится мне:  
тяжелые скрипы арбы в тишине  
и, в мирном и медленном лунном огне,  
Анания, и волы, и Атени...

## В СИГНАХИ, НА ГОРЕ

Я размышлял в Сигнахи, на горе,  
над этим миром, склонным к переменам.  
Движенье неба от зари к заре  
казалось мне поспешным и мгновенным.

Еще восхода жив и свеж ожог  
и новый день лишь обретает имя,  
уже закатом завершен прыжок,  
влекущий землю из огня в польмя.

Еще начало!—прочности дневной  
не научились заново колени.  
Уже конец! — сомкнулось надо мной  
ночное благо слабости и лени.

Давно ли спал младенец-виноград  
в тени мсей ладони утомленной?  
А вот теперь я пью вино и рад,  
что был так добр к той малости зеленой.

Так наблюдал я бег всего, что есть,  
то ликовал, то очень огорчился,  
как будто, пребывая там и здесь,  
раскачивал качели и качался!

## ГРЕМСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Всему дана двойная честь  
быть тем и тем:  
предмет бывает  
тем, что он в самом деле есть,  
и тем, что он напоминает.

Я представлял себе корабль  
всегда, когда смотрел на Греми.  
Каким небесным якорям  
дано держать его на гребне?

Я знал—нет смерти на земле,  
нет ничему предела, если  
опять, о Греми, на заре  
твои колокола воскресли.

Вкусивший гибели не раз,  
твой грозный царь, поэт твой бедный,  
опять заплакал Теймураз,  
тобой возвышенный над бездной.

Кахетии так тяжела  
нагрузка кисти виноградной.  
Вокруг покой и тишина  
и урожая вид нарядный.

От заслонивших очи слез  
в счастливом зрительном обмане,  
твой странник, Греми, твой матрос,  
гляжу, как ты плывешь в тумане.

### ПО ПУТИ В СВАНЕТИЮ

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чужак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так.

Я проходил. И детскую прилежность  
твоей походки я увидел.  
Ты  
за мужем шла покорная,  
но нежность,  
сиянье нежности возшло из темноты.

Наши глаза увиделись.  
Ревниво  
взглянул твой муж.  
Но как это давно  
случилось.  
И спасла меня равнина,  
где было мне состариться дано.

Однако повезло тому, другому,—  
не ведая опасности в пути,

по той дороге он дошел до дому,  
никто не помешал ему дойти.

Не гикнули с откоса печенегъ,  
не ухватились за косы твои,  
не растрепали их.  
Не почернели  
глаза твои от страха и любви.

И, так и не изведавшая муки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Но все равно—на этом перевале  
ликует и живет твоя краса.  
О, как лукавили, как горевали  
глаза твои, прекрасные глаза.

## **ЗАДУМАННОЕ ПОВЕДАЙ ОБЛАКАМ**

А после — шаль висела у огня,  
и волосы, не знавшие законов  
прически, отряхнулись от заколок  
и медленно обволокли меня.

Я в них входил, как бы входил в туман  
в горах сванетских, чтобы там погибнуть,  
и все-таки я их не мог покинуть,  
и я плутал в них и впадал в обман.

Так погибал я в облаке твоём.  
Ты догадалась—и встряхнула ситом,  
пахнуло запахом земным и сытым,  
и хлеб ячменный мы пекли вдвоем.

Очаг дышал все жарче, все сильней.  
О, как похожи были ты и пламя,  
как вы горели трепетно и плавно,  
и я гостил меж этих двух огней.



Ты находилась рядом и вокруг,  
но в лепете невнятного наречья,  
изогнутою, около Двуречья  
тебя увидеть захотел я вдруг.

Чуть не сказал тебе я: «О лоза,  
о нежная, расцветшая так рано...»  
В Сванетии не знают винограда,  
я не сказал. И я закрыл глаза.

Расстались мы. И вот, скорей старик,  
чем мальчик, не справляюсь я с собою,  
и наклоняюсь головой седою,  
и надо мной опять туман стоит.

Верни меня к твоим словам, к рукам.  
Задуманное облакам поведай,  
я догадаюсь—по дождю, по ветру.  
Прошу тебя, поведай облакам!

## ДЕВЯТЬ ДУБОВ<sup>1</sup>

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего.

Да, девять дэвов, девять капель яда  
на черных листьях, сникших тяжело.  
Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то,  
я не забыл то древнее число.

Вот девять гор, сужающихся кверху,  
как бы сосуды на моем пути.

---

<sup>1</sup> Число девять считалось в народе магическим (девять дорог, девять гор, девять корней и т. д.). Девять дубов — символ непоколебимости, силы, долговечности народа.

И девять пчел слетаются на кевври,  
и кевври тех — не больше девяти.

Я шел, надежду тайную лелея  
узнать дубы среди других лесов.  
Мне чудится—они поют «Лилео».  
О, это пенье в девять голосов!

Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Марабды<sup>1</sup>,  
и девяти колодцев чистота.

Вдруг я увидел: посреди тумана  
стоят деревья. Их черты добры.  
И выбегает босиком Тамара  
и девять раз целует те дубы.

Я исходил все девять гор. Колени  
я укрепил ходьбою. По утрам  
я просыпался радостный. Олени,  
когда я звал, сбегали по горам.

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз изведавшему это  
не боязно однажды умереть.

Мои дубы помогут мне. Упрямо  
я к их корням приникну. Довезти  
меня возьмется буйволов упряжка.  
И снова я сочту до девяти.

---

<sup>1</sup> Девять плит Марабды — девять могил братьев Херхулидзе, героически погибших в битве при Марабде.

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О СЕРАФИТЕ

Во время археологических раскопок древней картлийской столицы Армази, близ Мцхета, была обнаружена гробница юной и прекрасной девушки — Серафиты, чей облик чудом сохранился до наших дней в своей живой прелести. В гроб ее проник корень гранатового дерева, проскользнувший в кольцо браслета.

### РАЗДУМЬЯ О СЕРАФИТЕ

Как вникал я в твоё многолетие, Мцхета.  
Прислонившись к тебе, ощущал я плечом  
мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета,  
вздых стены, затруднённый огромным плющом.

Я хотел приобщить себя к чуждому ритму  
всех старений, столетий, страстей и смертей.  
Но не сведущий в этом, я звал Серафиту,  
умудрённую возрастом звезд и детей.

Я сказал ей: — Тебе всё равно, Серафита:  
умерла, и воскресла, и вечно жива.  
Так явьсь мне воочью, как эта равнина,  
как Армази, созвездия и дерева.

Не явилась воочью. Невнятной беседой  
искушал я напрасно твою немоту.  
Ты—лишь бедный ребенок, случайно бессмертный,  
но изведавший смерть, пустоту и тщету.

Всё тщета! — я подумал. — Богатые камни  
неусыпных надгробий — лишь прах, нищета.  
Всё тщета!—повторил я. И вздрогнул:—А Картли?  
Как же Картли? Неужто и Картли—тщета?

Ничего я не ведал. Но острая влага  
округлила зрачок мой, сложилась в слезу.  
Вспомнил я—только ель, ежевику и благо,  
снизошедшее в этом году на лозу.

И пока мои веки печаль серебрила,  
я пугал меня истины сладостный риск,

продолжала во веки веков Серафита  
красоты и бессмертия детский каприз.

Как тебе удалось—над убитой боями  
и воскресшей землею, на все времена,  
утвердить независимый свет обаянья,  
золотого и прочного, словно луна?

Разве может быть свет без источника света?  
Или тень без предмета? Что делаешь ты?  
Но тебе ль разделять здравомыслие это  
в роковом заблужденье твоей красоты!

Что тебе до других? Умирать притерпелись,  
не умеют без этого жить и стареть.  
Ты в себе не вольна—неизбывная прелесть  
не кончается, длится, не даст умереть.

Так прощай или здравствуй! Покуда не в тягость  
небесам над Армази большая звезда,—  
всем дано претерпеть эту муку и благодать,  
ничему не дано миновать без следа.

#### ЗОВУ СЕРАФИТУ

Не умерла, не предана земле.  
Ты — на земле живешь, как все.  
Но разве,  
заметив боль в пораненном крыле,  
не над тобою плакал твой Армази?

О, как давно последние дары  
Тебе живая суета дарила!  
С тех пор я жду на берегах Куры,  
и засухой опалена долина.

Не умерла. И так была умна,  
что в спешке доброты и нетерпенья  
достиг твой шелест моего гумна:  
вдох тишины и слабый выдох пенья.

Что делаешь? Идешь? Или пока  
тяжелым гребнем волосы неволишь?

Не торопись. Я жду тебя — века.  
Не более того. Века всего лишь.

Еще помедли, но приди. Свежа  
и не трудна твоя дорога в Мцхету.  
Души моей приветная свеча  
уже взошла и предается свету.

Уж собраны и ждут тебя плоды  
и лакомства, стесненные корзиной.  
Как милосердно быть такой, как ты:  
сюда идущей и такой красивой.

В молчании твой голос виноват.  
Воспой глубоким горлом лебединым  
и виноградаря, и виноград,  
и виноградники в краю родимом.

Младенческой песней умудрен,  
я разгадаю древние затеи  
и вызволю из тесноты времен  
отцов и дедов доблестные тени.

Бессмертное не может быть мертво.  
Но знает ли о том земля сырая,  
ошибку ожиданья моего  
оплакивая и благословляя?

Как твой удел серьезен и высок:  
в мгновенных измененьях мирозданья  
все бодрствует великий голосок  
бессмертного блаженства и страданья.

#### ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО У ГРОБНИЦЫ СВРАФИТЫ

И встретились:  
бессмертья твоего  
прекрасная и мертвая громада  
и маленькое дерево граната,  
возникшее во мгле из ничего.

Ум дерева не ведает иной  
премудрости:  
лишь детское хотенье  
и впредь расти, осуществлять цветенье  
и алчно брать у щедрости земной.

Не брезгуя глубокой тьмой земли,  
в блаженном бессознании умнейшем,  
деревья обращаются к умершим  
и рыщут пользы в прахе и пыли.

Но что имел в виду живой росток,  
перерастая должные границы,  
когда проник он в замкнутость гробницы  
и в ней сплоченность мрамора расторг?

Влекло его твое небытие  
пройти сквозь твердь плиты непроходимой,  
чтобы припасть к твоей руке родимой,  
удостоверясь в тонкости ее.

С великим милосердием дерев  
разнял он узкий холодок браслета  
и горевал, что ты была бессмертна  
лишь вечно, лишь потом, лишь умерев

Гранат внушал запястью твоему  
все то, что знал об алых пульсах крови  
в больших плодах, не умещенных в кроне  
и по ночам слетающих во тьму.

Он звал тебя узнать про шум ветвей  
с наивностью, присущую растениям, —  
истерзанный тяжелым тяготеньем,  
кровоточеньем спелости своей.

Какая же корысть владела им,  
вела его в таинственные своды  
явить великодушие природы —  
в последний раз! — твоим рукам немым?

Не Грузии ли древней тишина  
велит очнуться песенке туманной:

«Зачем так блещут слезы, мой желанный?  
Зачем мне эта легкость тяжела?»

Не Грузии ли древней колдовство  
велит гранату караулить плиты  
и слабое дыханье Серафиты  
не упускать из сердца своего?

### СКАЗАННОЕ ВО ВРЕМЯ БОМБЕЖКИ

В той давности, в том времени условном  
что был я прежде? Облако? Звезда?  
Не пробужденный колдовством любовным  
алгетский камень, чистый, как вода?

Ценой любви у вечности откуплен,  
я был изъят из тьмы, я был рожден.  
Я—человек. Я, как поющий купол,  
округло и таинственно сложен.

Познавший мудрость, сведущий в искусствах,  
в тот день я крикнул: — О земля моя!  
Даруй мне тень! Пошли хоть малый кустик—  
простить меня и защитить меня!

Там, в небесах, не склонный к проволочке,  
сияющий нацелен окуляр,  
чтобы вкусил я беззащитность точки,  
которой алчет перпендикуляр.

Я по колено в гибели, по пояс,  
я вязну в ней, тесно дышать груди.  
О школьник обезумевший! Опомнись!  
Губительной прямой не проводи.

Я — человек! И драгоценен пламень  
в душе моей. Но нет, я не хочу  
сиять заметно! Я — алгетский камень.  
О господи, задуй во мне свечу!

И отдалился-грохот равномерный,  
и куст дышал, и я дышал под ним.  
Немилосердный ангел современный  
побрезговал ничтожеством моим.

И в этот мир, где пахло и желтело,  
смеркалось, пело, силилось сверкнуть,  
я нежно вынес собственного тела  
родимую и жалостную суть.

Заплакал я, всему живому близкий,  
вздыхающий, трепещущий, живой.  
О высота моей молитвы низкой,  
я подтверждаю бедный лепет твой.

Я видел одинокое, большое  
свое лицо. Из этого огня  
себя я вынес, как дитя чужое,  
слегка напоминавшее меня.

Не за свое молился долговечье  
в тот год, в тот час, в той темной тишине —  
за чье-то золотое, человечье,  
случайно обитавшее во мне.

И выжило оно. И над водою  
стоял я долго. Я устал тогда.  
Мне стать хотелось облаком, звездой,  
Алгетским камнем, чистым, как вода.

## ОСКОЛКИ ГЛИНЯНОЙ ЧАШИ

Некогда Амиран, рассердившись, раз-  
бил вдребезги глиняную чашу, но  
осколки ее, желая соединиться, с шу-  
мом и звоном улетели в небо.

Из народного сказания

...И ныне помню этот самолет  
и смею молвить: нет, я не был смелым.  
Я не владел своим лицом и телом.  
Бежал я долго, но устал и лег.



Нет, не имел я твердости колен,  
чтоб снова встать. Пустой и одинокий,  
я все лежал, покуда взрыв высокий  
землей чернел и пламенем алел.

Во мне скрестились холод и жара.  
Свистел пропеллер смерти одичавшей.  
И стал я грубой, маленькою чашей,  
исполненною жизни и добра.

Как он желал свести меня на нет,  
разбить меня, как глиняную цельность,  
своим смертельным острием прицельсь  
в непрочный и таинственный предмет.

И вспомнил я: в былые времена,  
глупец, мудрец, я счастлив был так часто.  
А вот теперь я — лишь пустяк, лишь чаша.  
И хрупкость чаши стала мне смешна.

Что оставалось делать мне? Вот-вот  
я золотыми дребезгами гряну,  
предамся я вселенскому туману,  
на искру увеличив небосвод.

Пусть так и будет. Ночью, как-нибудь,  
мелькну звездой возле созвездья Девы.  
Печальные меня проводят дэвы  
в мой Млечный и уже последний путь.

Разрозненность сиротская моя  
воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.  
И, может быть, я все ж вернусь, как аист  
на милый зов родимого жилья.

Земля моя, всегда меня хранит  
твоя любовь. И все-таки—ответствуй:  
кто выручит меня из мглы отвесной  
и отсветы души соединит?

## ЖИЗНЬ ЛОЗЫ

Новелла в четырех песнях

### 1

Солнце гуляет по-над берегами Иори,  
зной непомерный свершился, а день в половине.  
Лютное солнце спалило поля — не его ли  
станем учить, как делять цветы полевые?  
Все-таки, все-таки только природе доверяю:  
книга горы, где любая глава—виноградник,  
рукопись солнца: сложенная гением ересь,  
вникнуть бы в смысл этих надписей невероятных!  
Чу! Виноградарей песня зовет не меня ли  
зрением слез созерцать этот край избыллия?  
Если умру и забудусь — небес и Манави  
встреча и в том забытии да не будет забыта!  
Если б строку совершенной лозе уподобить!  
Я — только голос, чтоб хору все пелось и пелось.  
Я — только глаз, чтобы взгляд был всевидяще-добрым,  
видя и ведая зелень, и вольность, и прелесть.  
Не шелохнувшись, мгновение длится, как время.  
Разве помыслишь о зле, о вражде и о вздоре?  
Я не случайно избрал для любви и доверья  
бег и стремленье и легкую поступь Иори.  
Солнце — мое! И на радостях мне захотелось  
солнце, как шапку, забросить в небесную чашу.  
Тот, только тот, кто в уста целовал ркацители,  
видел светило, вмещенное в винную чашу!  
— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс.  
Твое и мое одинаковы сердцебиенья.  
Ты — прежде, ты — мастер, я — твой подражатель,  
и пусть!—  
Тебе посвящу ученичество стихотворенья.

## II

Слава, Манави, тому, кто затеял однажды  
вечность любви, и сады, и судьбу, и угожья.  
Крепость в руинах, и та изнывает от жажды  
верить в бессмертье цветенья и плодородья.  
Мертв от рожденья, кто верит в скончание света.  
Свет будет длиться—без перерыва и риска.  
Ты, виноградник, поведай, как было все это:  
лоз исчисление—триста, и триста, и триста.  
Воздух прозрачен, как будто отсутствует вовсе,  
помысл сердца в нем явственно опубликован.  
Домики эти всегда помышляют о госте,  
пляясь в пространство высокими лбами балконов.  
Сразу, врасплах, со спины—на ликующий полдень  
обрушился град, нещадная грянула ярость.  
Пал виноградник и смертного мига не понял,  
черное облако, смерти слепая всеядность.  
Только минута прошла: непогода с погодой  
на смерть схватились непоправимо и быстро.  
Солнце опомнилось. Полдень очнулся спокойный.  
Нет ни того, кто убит, ни того, кто убийца.  
Мертвой лежит драгоценная малость и радость,  
веточка, чудо, казенное детство побега,  
и улетучилась, и не сбылась виноградность...  
Вёдро. Глаза прозревают от влаги от века.  
— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс:  
бессонница крови, ямб — пауза и ударенье.  
Во мне—твоя кровь. Золотой виноградиной уст,  
тебя восхваляя, свершается стихотворенье.

## III

Было—но есть, ибо память не знает разлуки  
с временем прошлым, и знать не научится вскоре.  
Ношею горя обремененные руки.  
Памятник битве неравной. Безмолвие скорби.  
Брат виноградарь, когда бы глупей иль умнее  
был, я б забыл о былом, но не рано ль, не рано ль?  
В наших зрачках те события окаменели,  
сердце прострелено градом, о брат виноградарь.  
Если нахмурюсь и молвлю: — Я помню. Ты помнишь?  
Мне собеседник ответит: — Ты помнишь? Я помню.

Жизнь—это средство смертельно рвануться на помощь  
жизни чужой: человеку, и саду, и полдню.  
Что из того, что навряд ли и трех очевидцев  
бой пошадил, чтобы длилась суровая тризна.  
Может быть, трое осталось из тех арагвинцев,  
много и мало их было, а было их триста.  
Женщины реяли, черные крылья надевши,  
в высях печали, которую ум не постигнет.  
Встань, виноградник, предайся труду и надежде!  
Ты—непреклонен, вовек ты не будешь пустынен.  
Ты, как и я, завсегдатай горы зеленейшей.  
Я, как и ты, уроженец и крестник Манави.  
Сводит с ума—так родим, и громоздок, и нежен  
поскрип колес до отверстого входа в марани!  
— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс.  
Благоговею пред страстью твоею к даренью.  
Ты мою кровь понукаешь спешить, тороплюсь:  
благодаренье окажется стихотвореньем.

#### IV

Хочет лоза говорить, повисая бессильно,  
изнемогая, вздыхая все тише и реже.  
Чтобы потом сожаление нас не бесило,  
пусть говорит! Как добры ее чудные речи!  
— Может быть, дух испущу—и тогда не отчаюсь.  
Я одолею меня испытующий ужас.  
Непрерываемость жизни, любви неслучайность,  
длительность времени—мне отведенная участь.  
Вечно стремлюсь, как Иори и как Алазани,  
как продвиженье светил в глубине мирозданья,  
тысячелетья меня провожают глазами,  
вечно стремлюсь исцелить и утешить страданья.  
Помню грузин, что о Грузии так трепетали:  
о, лишь возьми мою жизнь, и дыханье, и трепет.  
Жизнь не умеет забыться для сна и печали,  
и виноградник живет, когда бедствие терпит.  
Дудочки осени празднество нам возвестили.  
Слушайте, воины и земледельцы, мужчины!  
Той же рукою, которой меня вы взрастили,  
ввысь поднимите с великою влагой кувшины.  
Жажда — была и, как горе, сплыла, миновала,  
быть ей не быть — не колеблясь и не канителя.

Тот, кто на солнце смотрел сквозь стакан ркацители,  
может сказать: меня солнце в уста целовало!

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс,  
тот пульс, что во мне, это только твое повторенье.  
Пока он так громок, насыщен тобой и не пуст,  
прошу, о, прими подношение стихотворенья!



С гор и холмов, ни в чем не виноватых,  
к лугам спешил я, как учил ручей.  
Мой голос среди троп замысловатых  
служил замысловатости речей.

Там, над ручьем, сплеталась с веткой ветка,  
как если бы затеяли кусты  
от любопытства солнечного света  
таить секрет глубокой темноты.

Я покидал ручей: он ведал средство  
мои два слова в лепет свой вплетать,  
чтоб выдать тайну замкнутого сердца,  
забыть о ней и выпытать опять.

Весть обо мне он вынес на свободу,  
и мельницы, что кривы и малы,  
с той алчностью присваивали воду,  
с какою слух вкушает вздор молвы.

Ручей не скрытен был, он падал с кручи,  
о жернов бился чистотою лба,  
и, наостривши узенькие уши,  
тем желобам внимали желоба.

Общительность его души исторгла  
речь обо мне. Напрасно был я строг:  
смеялся я, скрывая плач восторга,  
он — плакал, оглашая мой восторг.

Пока миниатюрность и нелепость  
являл в ночи доверчивый ручей,  
великих гор неколебимый эпос  
дышал вокруг — божественный, ничей.

В них тишина грядущих гроз гудела.  
В них драгоценно длился каждый час.  
До нас, ничтожных, не было им дела,  
сил не было любить ничтожных нас.

Пусть будет так! Не смея, не надеясь  
занять собою их всевышний взор,  
ручей благословляет их надменность  
и льется с гор, не утруждая гор.

Простим ему, что безобидна малость  
воды его — над малою водой  
плывет любви безмерная туманность,  
поет азарт отваги молодой.

Хвала ручью, летящему в пространство!  
Вы замечали, как заметил я, —  
краса ручья особенно прекрасна,  
когда цветет растение иа<sup>1</sup>.



На берегу то ль ночи, то ли дня,  
над бездною юдоли, полной муки,  
за то, что не отринули меня,  
благодарю вас, доли и дудуки<sup>2</sup>.

Мои дудуки, саламури, стон  
исторгшие, и ты, веселый доли,  
зывают к вам вино, и хлеб, и соль:  
останьтесь в этом одиноком доме.

---

<sup>1</sup> И а — фиалка.

<sup>2</sup> Доли, дудуки — музыкальные инструменты.

Зачем привычка к старости стара,  
и что за ветер в эту ночь задушен?  
Мне во главе пустынного стола  
осталось быть и страждущим, и пьющим.

Играет ветер в тени, в голоса,  
из винной чаши, утомившей руки,  
в мои глаза глядят мои глаза,  
влюбленные в вас, доли и дудуки.

Тбилиси держит на ветру свечу,  
пусть ваша жизнь ее огнем продлится!  
Я пью вино. Я плачу. Я хочу,  
друзья мои, увидеть ваши лица.

Без вас в ночи все сиротливо и мертво.  
Покуда доли воплощает в звуки  
все перебои сердца моего,  
мой стон звучит в стенании дудуки.



Эти склоны одела трава.  
Сколько красок сюда залетело!  
А меня одолели слова.  
Слово слабой душой завладело.

Как все желто, бело и красно!  
Знать, и мак свою силу здесь тратил.  
Как понять пестроту? Все равно!  
Погляди и забудь, о читатель.

Нет, и бог не расстелет ковра  
одноцветного, не расписного.  
Я лелеял и помнил слова,  
но не понял — где главное слово.

Бсем словам, что объемлет язык,  
я был добрый и верный приятель.  
Но какое ж мне выбрать из них,  
чтоб тебе угодить, о читатель?



Летит с небес плетеная корзина.  
Ах, как нетрезвость осени красива!  
Задор любви сквозит в ее чертах.  
В честь истины, которую мы ждали,  
доверимся младенчеству маджари!  
А ну-ка чашу! Чашу и черпак!

Опустимся пред квеври на колени,  
затем поднимем брови в изумленьи:  
что за вино послал нам нынче бог!  
Пылают наши щеки нетерпеньем,  
и, если щеки не утешить пеньем,  
что делать нам с пыланьем наших щек?

Лоза хмельная ластится к оградѣ.  
Не будем горевать о винограде —  
душа вина бессмертна и чиста.  
Пусть виночерпий, как и подобает,  
улады виноградарям добавит —  
им подобает усладить уста.



Когда расцеловал я влагу  
двух глаз твоих и совершенство  
их нежной мрачности постиг,  
сказал я: я имел отвагу  
жить на земле и знать блаженство —  
я жил, я знал, и бог простит.

Сегодня я заметил странность,  
увы, заметил я, что море  
твой образ знает и творит:  
в нем бодрствует твоя усталость,  
и губы узнают в нем горе  
тех слез твоих, о, слез твоих.



## РУССКОМУ ПОЭТУ — МОЕМУ ДРУГУ

Я повторю: «Бежит, грохочет Терек».  
Кровопролиться древнего тшета  
и ныне осеняет этот берег:  
вот след клинка, вот ржавчина щита.

Покуда люди в жизнь и смерть играли,  
соблазном жить их Терек одарял.  
Здесь нет Орбелиани и Ярали,  
но, как и встарь, сквозит меж скал Дарьял.

Пленяет зренье глубина Дарьяла,  
познать ее не все обречены.  
Лишь доблестное сердце выбирало  
красу и сумрак этой глубины.

— Эгей! — я крикнул. Эхо не померкло  
до этих пор. И, если в мире есть  
для гостя и хозяина проверка,  
мой гость, проверим наши души здесь.

Да, здесь, где не забыт и не затерян  
след путника, который в час беды  
в Россию шел, преодолая Терек,  
помедлил и испил его воды.

Плач саламури еще слышен в гуле  
реки священной. Мой черед настал  
испить воды, и быть тергдалеули<sup>1</sup>,  
и распахнуть пред гостем тайну скал.

Здесь только над вершиной перевала  
летят орлы на самый синий свет.  
Здесь золотых орлов как не бывало.  
Здесь демона и не было и нет.

Войди сюда не гостем — побратимом!  
Водой свободной награди уста...  
Но ты и сам прыжком необратимым  
уже взошел на крутизну моста.

---

<sup>1</sup> Тергдалеули — человек, испивший воды Терека.

В минуту этой радости высокой  
осанка гор сурова и важна,  
и где-то на вершине одинокой  
все бодрствует живая тень Важа.

## НА СМЕРТЬ ПОЭТА

В горле моем заглушенного горя мгновенье—  
вот преткновенье для вдоха, и где дуновенье  
воздуха? — вымер он весь иль повеять ленится?  
Тяжко, неможется, душно дубам Леонидзе.  
Гогла, твой дом опален твоим жаром последним.  
Грозный ожог угрожает деревьям соседним.  
Гогла, платан, что привык быть тобою воспетым,  
проклятый пеклом, горит и становится пеплом.  
Если и сосен к себе не зовешь пред разлукой, —  
как же ты занят твоей огнедышащей мукой!  
Доблестный Мцыри, скиталец нездешней пустыни,  
где же та пустынь, в которой отшельник ты ныне?  
Слово одно исцелит твое бедное горло,  
ты ли не знаешь об этом, о Гогла, о Гогла!  
Смертная мука пребудет блаженством всего лишь,  
если гортань ты о ней говорить приневолишь.  
Лютую смерть, бездыханную участь предмета  
вытерпеть легче, чем слышать безмолвье поэта.  
Грузии речь, ликование, страдание, награда,  
не покидай Леонидзе так рано, не надо,  
лишь без тебя он не вынес бы жизни на свете,  
лишь без тебя для него бесполезно бессмертье.

## **КОРНИ**

Вознесен над Евфратом и Тигром,  
сверху вниз я смотрел на века,  
обведенные смутным пунктиром,  
цвета глины и цвета песка.

И клонилась, клонилась средь ночи  
к междуречью моя голова.  
Я без страха глядел в его очи,  
словно в очи заснувшего льва.

Там, вверху, я оплакал утрату  
тех времен, что теперь далеки,  
когда белая темень Урарту  
вдруг мои осенила зрачки.

И когда в повороте капризном  
промелькнул, словно тень меж ресниц,  
дорогой и таинственный призрак  
шумерийских и хеттских границ.

Приласкать мои руки хотели, —  
но лишь воздух остался в руках, —  
голубей, обитавших в Халдее,  
в разоренных ее облаках.

Что-то было тревожное в этом  
вихревом и высоком дыму,  
белым цветом и розовым цветом  
восходившем к лицу моему.

О, куда бы себя ни умчала,  
свой исток да припомнит река!  
Кровь моя обрела здесь начало  
и меня дожидалась века.

В скольких женщинах, скольких мужчинах  
билась пульсов моих частота.  
Так вино созревает в кувшинах  
и потом услаждает уста.

И пока тяжелы мои корни  
посреди занесенных полей,  
я — всего лишь подобие кроны  
над могилою этих корней.

## ХВАМЛИ

Я, как к женщинам, шел к городам.  
Города, был обласкан я вами.  
Но когда я любил Амстердам,  
в Амстердаме я плакал о Хвамли.

Скромным жестом богини ко мне  
протянула ты руки, Эллада.  
Я в садах твоих спал, и во сне  
видел Хвамли я в день снегопада.

О Эмпайр, по воле твоей  
я парил высоко над Гудзоном.  
Сумма всех площадей и полей  
представлялась мне малым газоном.

Но твердил я: — О Хвамли, лишь ты,  
лишь снегов твоих вечный порядок,  
древний воздух твоей высоты  
так тяжел моим легким и сладок.

Гент, ответь мне, Радом, подтверди —  
вас ли я не любил? И не к вам ли  
я спешил, чтоб у вас на груди  
опечаленно вспомнить о Хвамли?

Благодарствуй, земля! Женских глаз  
над тобой так огромно свечение.

Но лишь раз я любил. И лишь раз  
все на свете имело значенье.

Воплотивший единственность ту,  
Хвамли, выйди ко мне из тумана,  
и вольюсь я в твою высоту —  
обреченный, как сын Амирана.

## ОПУСТЕВШАЯ ДАЧА

Увы, ушелie пустое!  
Давно ли в сетке гамака  
желтелo платьице простое,  
как птица в глубине силка?

Давно ли женщина глядела  
глазами чуть наискосок?  
Кто улетел? Что улетело  
и след впечатало в песок?

Давно ль смородиной зеленой  
играли пальчики любви  
и на веранде застекленной  
шел спор меж милыми людьми?

Но кто ж возник здесь? Что возникло?  
Кто плакал и не вытер слез?  
Какой бесчинствовал возница?  
Куда увез? Зачем увез?

Под сенью бедного ореха  
чего я жду? Кого я жду?  
Какого голоса и смеха?  
Какого шепота в саду?

Так утром, при погоде славной,  
я шел меж опустевших дач,  
овеянный печалью сладкой  
и предвкушеньем неудач.

●

Я книгочей, я в темень книг глядел,  
я звездочет, я созерцал пространство,  
невежда, я не ведал — где предел  
любви, что беспредельна и прекрасна.

Есть край бескрайним лепетам молитв,  
и мера есть безмерным лептам плача.  
Как я молился! Сколько слез пролил!  
Избыток муки — вот моя удача.

Я ранен был, и мертв, и снова жил,  
и, в бесконечной грусти мироздания,  
грущу о том, что мало послужил  
оплошности чрезмерного страдания.

●

Жаждешь узреть — это необходимо —  
(необходимо? зачем? почему?) —  
жаждешь узреть и собрать воедино  
все, что известно уму твоему.

Жаждешь, торопишься, путаешь, боже,  
вот сколько нужно: глаза, голоса,  
горе... а радости? Радости тоже!  
Радости, шалости и чудеса!

Жаждешь и думаешь: помню ль? могу ли?  
Вечер в Риони, клонящийся к слезам  
солнцем и свадьбою: «Лиле»... «Макрули»...  
И Алазань? Как забыть Алазань?

Жаждешь в душе твоей, в бедном ковчеге,  
соединить без утрат и помех  
все, что творится при солнце и снеге:  
речи, поступки, и солнце, и снег.

Жаждешь... Но если, всевышним велением,  
вдруг обрешь это чудо и жуть,  
как совладаешь с чрезмерным видением.  
словом каким наречешь его суть?



Ты увидел? Заметил? Вгляделся?  
В мире — прятанье, поиск, игра:  
улепетывать с резвостью детства,  
притаиться, воскликнуть: «Пора!»

Обыскав ледники и теплицы,  
перестав притворяться зимой,  
март взывает: «Откликнись, Тбилиси!  
Ты — мой баловень, неженка мой».

Кутерьма адресатов и почты:  
блеск загара грустит по лицу,  
рыщет дерево: где его почки?  
Не они ль утаили листву?

Ищет сад — пребывания втайне,  
ищет ливень — пролиться куда,  
но скрывает Куры бормотанье,  
что скрывает и ищет Кура?

Наконец все находят друг друга,  
всех загадок разгадка ясна,  
и внутри драгоценного круга  
обретает Тбилиси весна.

## ДАЛЕКАЯ ШХЕЛДА

Тот снег — в ожидании нового снега,  
скажу лишь о нем, остальное я скрою.  
И прошлой зимой длилось действие неба  
над Шхелдою, над осянной горою

Свеченья и тьмы непрестанная смена —  
вот опыт горы, умудряющий разум.  
Тот снег в ожидании нового снега —  
в недвижности, но и в азарте прекрасном.

Неистовый дух, вечно алчущий света,  
молящийся, страждущий и дерзновенный.  
Тот снег в ожидании нового снега.  
Далекая Шхелда и сумрак вселенной.

## КАМЕНЬ

Я сравнивал. Я точен был в расчетах,  
Я применял к предметам власть свою.  
Но с тайною стихов неизреченных  
что мне поделать? С чем я их сравню?

Не с кладом ли, который вдруг поранит  
корыстный заступ, тронувший курган?  
Иль равен им таинственный пергамент,  
чей внятный смысл от всех сокрыл Кумран?

Иль есть в них сходство с недрами Армази,  
присвоившими гибель древних чаш?  
Их черепки сверкнут светлей алмаза,  
но не теперь, — когда настанет час.

Иль с Ванскими пещерами? Забава  
какой судьбы в тех знаках на стене?  
Или с Колхидой, копыя и забрала  
хранящей в темноте и тишине?

Нет, с нежным чудом несвершенной речи  
сравниться могут — не сравнившись с ней —  
лишь вещей Мцхеты сумрачные свечи,  
в чьем пламени живет душа теней.

Не искушай, метафора, не мучай  
ни уст немых, ни золотых чернил!



Всему, что есть, давно уж выпал случай —  
со всем, что есть, его поэт сравнил.

Но скрытная, как клинопись на стенах,  
душа моя, средь бдения и снов,  
все алчет несравнимых, несравненных,  
не сказанных и несказанных слсв.

Рука моя спешит предаться жесту —  
к чернильнице и вправо вдоль стола.  
Но бесполезный плач по совершенству —  
всего лишь немота, а не слова.

О, как желает сделаться строкою  
невнятность сердца на исходе дня!  
Так, будучи до времени скалою,  
надгробный камень где-то ждет меня.

## ВЕСНА

Деревья гор, я поздравляю вас:  
младенчество листвы — вот ваша прибыль,  
вас, девушки, затеявшие вальс,  
вас, волны, что угодны юным рыбам,

вас, небеса, — вам весела гроза,  
тебя, гроза, — тобой полны овраги,  
и вас, леса, глядящие в глаза  
расплывчатым зрачком зеленой влаги.

Я поздравляю с пчелами луга,  
я поздравляю пчел с избытком меда  
и эту землю с тем, что велика  
любви и слез беспечная погода.

Как тяжек труд пристрастия к весне,  
и белый свет так бел, что видеть больно.  
Но заклинаю — не внемлите мне,  
когда скажу: «Я изнемог. Довольно».

## **ПАМЯТЬ**

В час, когда осень щедра на дожди  
и лихорадка осину колотит,  
глянешь — а детство блеснит позади  
кроткой луною, упавшей в колодец.

Кажется — вовсе цела и ясна  
жизнь, что была же когда-то моею.  
Хрупкий узор дорогого лица  
время сносило, как будто монету.

Мой — только памяти пристальный свет,  
дар обладания тем, чего нет.



Я сам не знаю, что со мной творится:  
другой красы душа, не понимает,  
и холм чужбины в зрении двонется  
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым  
среди звезд и лун, при ветреной погоде.  
Есть похвала тому, что изумляет:  
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.  
Смотрю, от обожания немею  
и все, что в этом мире несравненно,  
я сравниваю с Грузией моею.

## ИЗ СТИХОВ ТУРМАНА ТОРЕЛИ<sup>1</sup>

### 1. НА БОЙНЕ

Грянула буря. На празднестве боли  
хаосом крови пролился уют.  
Я, ослепленный, метался по бойне,  
где убивают, пока не убыют.

В белой рубашке опрятного детства  
шел я, теснимый золой и огнем,  
не понимавший значенья злодейства  
и навсегда провинившийся в нем.

Я не узнал огнедышащей влаги.  
Верил: гроза, закусив удила,  
с алым закатом схватилась в овраге.  
Я — ни при чем, и одежда бела.

Кто убиенного слышал ребенка  
крик поднебесный, — тот проклят иль мертв.  
Больно ль, когда опьяневшая бойня  
пьет свой багровый и приторный мед?

Я не поддался двуликому ветру.  
Вот я — в рубахе, невинной, как снег.  
Ну, а душа? Ее новому цвету  
нет ни прощенья, ни имени нет.

Было, убило, прошло, миновало.  
Сломаны — но расцвели деревья...  
Что расплывается грязно и ало  
в черной ночи моего существа?

### 2. ЕДИНСТВЕННЫЙ СВЕТ

Глядит из бездны прежней жизни остов.  
Потоки крови пестуют ладью.  
Но ждет меня обетованный остров,  
чьи суть и имя: я тебя люблю.

---

<sup>1</sup> Турман Торели — персонаж исторической эпопеи Г. Абашидзе.

Лишь я — его властитель и географ,  
знаток его лазури и тепла.  
Там — я спасен. Там — я святой Георгий,  
поправший змия. Я люблю тебя.

Среди растленья, гибели и блуда  
смешна лишь мысль, что губы знали смех.  
Но свет души, каким тебя люблю я,  
в былую прелесть красит белый свет.

Ночь непроглядна, непомерна стужа.  
Куда мне плыть — не ведомо рулю.  
Но в темноте победно и насыщено  
встает сиянье: я тебя люблю.

Лишь этот луч хранит меня от бедствий,  
и жизнь темна, да не вполне темна.  
Меж обреченной плотью и меж бездной  
есть дух живучий: я люблю тебя.

Так я плыву с ослепшими очами.  
И я еще вдохну и пригублю  
заветный остров, где уже в начале  
грядущий день и я тебя люблю.



Вот я  
    смотрю  
        на косы твои грузные, —  
как падают,  
        как вьются тяжело...  
О, если б ты была царицей Грузии, —  
о, как бы тебе это подошло!  
О, как бы подошло тебе приказывать!  
Недаром твои помыслы чисты.  
Ты говоришь —  
        и города прекрасного  
в пустыне  
        намечаются  
            черты.  
Вот ты выходишь в бархате лиловом,  
печальная и бледная слегка,  
и, умудренные твоим прощальным словом,  
к победе  
        устремляются войска.  
Хатгайский шелк пошел бы твоей коже,  
о, как бы этот шелк тебе пошел,  
чтоб в белой башне из слоновой кости  
ступени целовали твой подол.  
Ты молишься —  
        и скорбь молитвы этой  
так недоступна нам и так светла,  
и нежно посвящает Кашуэта  
тебе одной свои колокола.  
Орбелиани пред тобой,  
        как в храме, —  
молчит по мановению бровей.  
Потупился седой Амилахвари  
пред царственной надменностью твоей.  
Старинная ты,  
        но не устарели

твои черты.. Светло твое чело.  
Тебе пошла бы нежность Руставели..  
О, как тебе бы это подошло!  
Как я прошу..  
                    Тебе не до прощений,  
не до прощений  
                    и не до меня.. —  
Ты отблеск славы вечной и прошедшей  
и озаренье нынешнего дня!

**МРАВАЛЖАМИЕР**

Твоим вершинам,  
белым и синим,  
Дарьялу и Тереку,  
рекам твоим,  
твоим джигитам,  
статным и сильным,  
а также женщинам,  
верным им, —  
мравалжамьер, многие лета!

Твоим потокам,  
седым потокам,  
твоим насупленным ледникам,  
предкам твоим  
и твоим потомкам,  
их песням,  
танцам  
и смуглым рукам —  
мравалжамьер, многие лета!

Твоим героям,  
делам их ратным,  
их вечной памяти на земле,  
твоим языкам и наречьям разным,  
лету,  
осени,  
весне  
и зиме —  
мравалжамьер, многие лета!

Горам и ущельям,  
низу и долу,  
каждому деревцу во дворе,  
Волге твоей,  
и Днепру,

и Дону,  
Сыр-Дарье,  
и Аму-Дарье —  
мравалжамьер, многие лета!

Твоим строителям неутомимым,  
реке,  
и речке,  
и каждой струе,  
тебе, овеянной светом и миром,  
тебе,  
моей дорогой стране, —  
мравалжамьер, многие лета!



Где же еще Грузия другая?  
Гр. Орбеллиани

Все, что видела и читала,  
все —  
твое,  
о тебе,  
с тобой.  
В моем сердце  
растет чинара,  
ночью ставшая голубой.  
И в минуту самую грустную  
предо мною одна,  
дорогая,  
ты, прекрасная Грузия.

«Где же еще Грузия другая?»

О луга моей Карталинии,  
олени с большими рогами  
и такие хрупкие лилии,  
что страшно потрогать руками.  
Ты об этом помнить велишь мне.  
Я смотрю на тебя,



не мешая,  
край,  
овейный белым величьем...

«Где же еще Грузия другая?»

Травы синие  
лягут на плечи.  
С этих трав  
я росинки сняла.  
О мои виноградные плети!  
О Тетнульда большие снега!  
Зажигаются звезды со звоном,  
искры белые  
извергая.  
Я слезу  
за далеким их звоном:

«Где же еще Грузия другая?»

Пусть герои твои умирали —  
слава их  
разнеслась далеко.  
Прямо к солнцу  
взмывает Мерани,  
и печально звучит  
«Сулико».  
Живы Алуда и Лела.  
Устал Онисэ,  
размышляя.  
О родина песен и лета!

«Где же еще Грузия другая?»

С тихими долгими песнями  
проходят  
твои вечера.  
Плачут  
горийские персики,  
когда наступает пора.  
Они нависают с ветки.  
Ветка густая,  
большая.  
Разве ты не одна на свете?  
«Где же еще Грузия другая?»

●

Ты такое глубокое,  
небо грузинское,  
ты такое глубокое и голубое.  
Никто из тех, кто тебе грозился,  
приюта не обрел под тобою.  
Ни турки, ни персы  
и ни монголы  
не отдохнули под тобой на траве,  
не заслонили цветов магнолий,  
нарисованных на твоей синеве.  
Ошки,  
и Зарзма,  
и древний Тао  
поют о величье твоём,  
о небо!  
Птицы в тебе летают  
и теряются в тебе,  
голубом...

●

Вот солнце  
на носки привстало,  
и город потянулся сонно.  
Ему быть темным  
не пристало.  
Входило солнце  
в город солнца.  
И воздух был прозрачный,  
ранний,  
просвечивающий изнутри.  
Стоял Тбилиси, как Ираклий,  
у древней крепости Нары.  
Такая ли была погода,  
когда в Тифлис вступали персы  
и не сдавались им подолгу  
его воинственные песни?

## В ЗЕДАЗЕНИ

Лето заканчивается поспешно,  
лето заканчивается на дворе.  
Поспела ежевика,  
ежевика поспела  
и боярышник на горе.

Листовою заметает овраги,  
здесь эхо такое большое да ломкое.  
А небо над ущельем Арагви  
все такое же синее и далекое.

Хорошо иметь его,  
хорошо иметь его  
в сердце..  
О, как стройна  
дорога на Имеретию,  
дорога на Имеретию  
прямая, словно струна.

Как эти места чисты и добры,  
как быстро здесь дни летят.  
Над Зедазени шелестят дубы,  
дубы шелестят...

## В ШИОМГВИМЕ<sup>1</sup>

Железный балкон,  
уютный и ветхий.  
О, люди редко бывают тут.  
Зато миндаль  
сюда наклоняется веткой,  
и липы опадают,  
когда отцветут.

---

<sup>1</sup> Ш и о м г в и м е — селение, где сохранились развалины древнего монастыря.

Эти деревья намного ст рше,  
намного старше,  
чем я в ты.  
Но неужели  
этим деревьям не страшно  
одиночество келий и темноты?

## ВХОДИЛА В ГУРИЮ КАЛАНДА<sup>1</sup>

Я помню изгородь под инеем.  
Снег падал тихо и светло.  
Кричит петух — и вспоминаю я  
мое гурийское село.  
Проламывалась наледь тонкая  
под грузом шага моего,  
и лаяла устало Толия,  
сама не зная, на кого.  
Похожий на большую букву,  
один на вековом посту  
дуб укрывался, словно в бурку.  
в свою дырявую листву.  
Глубокий снег следы марали,  
тропинка далеко вела,  
и возле вешего марани  
был ветер пьяным от вина.  
Все это — где-то и когда-то,  
но позабыть о том нельзя...  
Входила в Гурию каланда  
и чичилаки<sup>2</sup> нам несла.

---

<sup>1</sup> К а л а н д а — праздник Нового года в Гурии.

<sup>2</sup> Ч и ч и л а к и — оструганный ствол дерева, употребляемый  
вместо новогодней елки.

## ПО ДОРОГЕ В БЕТАНИЮ

Шиповник,  
смородина,  
и черника,  
и боярышник иногда.  
Дождь прошел..  
И привольно и дико  
по горам сбегает вода.

Мы идем..  
И холодные, ясные  
дуют ветры.  
Деревья дрожат.  
На тропинке —  
каштановые,  
ясеневые  
и дубовые  
листья лежат.

Мы подходим к ущелью Самадло.  
Снова дождь нас вводит в обман.  
Я хочу быть с тобою.  
Сама я —  
словно горы и словно туман.  
Шиповник,  
смородина,  
и черника,  
и боярышник иногда.  
Дождь прошел..  
И привольно и дико  
по горам сбегает вода.



Снег аджаро-гурийских гор,  
моих гор родных.  
О, какой там большой простор,  
какой чистый родник!  
Маленькая мельница на Губазоули  
у ворот моего двора.

Там лавровишни давно уснули,  
и роса их сладка и добра.  
О родина,  
уже, наверное, год  
я не виделась с ней!  
Снег аджаро-гурийских гор,  
туман и снег..



Охотник сумрачно и дерзко  
раскладывает западни.  
Здесь ходит горная индейка —  
ее подстерегут они.  
О, по опасной той аллее  
мы пробегаем много дней.  
Как годовалые олени,  
пугаемся своих теней.  
О, будь, индейка, осторожна,  
не проходи по той тропе.  
Ты слышишь?  
Горестно,  
тревожно  
твой милый  
плачет о тебе.

## ЗВЕЗДЫ

Апрельская тихая ночь теперь.  
Те птицы и эти  
свои голоса сверяют.  
О звезды, —  
невозможно терпеть,  
как они сверкают,  
как они сверкают!  
Земле и небу  
они воздают благодать  
и, нарушая

темноту этой ночи,  
сверкают,  
сверкают —  
издалека видать! —  
мои звезды  
и твои очи.  
Теперь апрельская тихая ночь,  
и глаза  
к ней медленно привыкают.  
О звезды —  
мне это все невмочь, —  
как они сверкают!  
Как они сверкают!



Громче шелести,  
осина,  
громче, мать-земля, гуди.  
Живы мы!  
И зло и сильно  
сердце прыгает в груди.  
Лес!  
У нас есть листья,  
губы —  
целоваться,  
говорить.  
О, гуди — пусть эти гуды  
будут в воздухе бродить!

### РАЗГОВОР С ЧИАМАРИЕЙ<sup>1</sup> В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О медлительная побелка  
этих яблоневых лепестков!  
Так здравствуй, победа.  
победа,  
победа во веки веков!

---

<sup>1</sup> Ч и а м а р и я (груз.) — божья коровка.

Выходи,  
чиамария,  
празднуй,  
тонко крылышками трубя.  
Мои руки совсем не опасны —  
мои руки  
ласкают тебя.  
Возмужавшей земле обожженной  
не управиться  
с новой травой.  
Где наш враг?  
Он лежит,  
пораженный  
справедливой и меткой стрелой.  
Чиамария,  
как мы тужили,  
как мы плакали,  
горе терпя,  
но смеется  
герой Цицишвили,  
защитивший меня и тебя.  
Чиамария,  
мир, а не горе!  
И, вступая в привычки труда,  
тут степенно пройдетя Никора,  
и воскреснет за ним борозда.  
Как Никора доволен работой!  
Как глаза его добро глядят!  
Я стою среди луга рябого.  
«Гу-гу-гу...»  
Это вязы гудят...

### Я СЛЕЧУ, СИРЕНЬ...

Небо синее,  
нет у неба предела  
здесь, близко,  
и там, далеко.  
Появилось облачко  
и поредело.



Небу  
тайну хранить нелегко.

Я прикрою веки,  
прикрою веки,  
чтобы мир едва голубел и серел.  
Слечу я  
на твои синие ветки,  
на твои синие ветки  
слечу, сирень!

Я буду петь твоим мелким цветочкам,  
о, буду петь,  
буду только петь —  
твоим прожилкам,  
крапинкам, точкам,  
потому что не смогу утерпеть.

Я буду петь голосисто и тонко.  
Как мне хочется петь, сирень!  
Никому так не хочется!  
Может быть, только  
небу хочется так же синеть.

О облака!  
Я догнать их надеюсь.  
Я за ними следую  
всегда и сейчас.  
Но куда я денусь?  
О, никуда не денусь,  
сирень,  
от твоих сиреневых глаз.

О, зачем мне скрывать эту тайну?  
Навеки,  
навсегда  
одного хочу.  
Я слечу на твои синие ветки,  
на твои синие ветки слечу.

●

Когда прохожу  
по долине росистой,  
меня, как ребенка,  
смешит роса.  
Цветы  
приоткрывают  
ресницы,  
к моим глазам  
обращают глаза.  
Я вижу  
движение каждого пестика,  
различаю границу  
утра и дня.  
Ветер,  
подай мне цветок персика,  
травой и листьями  
осыпь меня!  
Я,  
эти цветы нашедшая,  
хочу,  
чтоб они из земли вылезали.  
И как сумасшедшая —  
о, сумасшедшая —  
хохочет трава  
с растрепанными волосами.  
Деревья сняли  
свои драгоценности  
и левой пригоршней  
меня забросали.  
Вот драгоценности —  
все они в целости.  
Деревья,  
вы понимаете сами.  
Я тоже,  
я тоже сошла с ума.  
Всего мне мало,  
и все мне малó!  
Хохочет,  
хохочет —  
не я сама! —

хохочет,  
хохочет сердце мое!  
И ты  
на исходе этого дня  
листьями и травою прогоркшей  
осыпь меня,  
да, осыпь меня,  
но только правой пригоршней!



О бабочек взлеты и слеты!  
Может быть, я ошибаюсь.  
То слезы,  
но добрые слезы.  
Я плачу  
и улыбаюсь.

Я выросла в поле,  
где средь травинок  
капли росы навешены.  
Я веточка,  
полная зеленых кровинок,  
срезанная невеждами.

Я стану свирелью,  
свирелью зеленой!  
Нагряну к вам трелью,  
трелью залетной!

Я —  
этого воздуха обительница,  
не страшась ничего.

Я —  
плачущая обладательница  
сердца твоего.  
С горных пастбищ,  
для любви навеяна,  
медленно  
я поднимаюсь кверху.

О земля,  
если б ты мне не верила, ---  
я бы обратилась  
к ветру:  
О ветер,  
докажем,  
докажем скорей,  
докажем каждому,  
что я —  
свирель.

Дохни —  
и медленно и жалобно  
польется песня  
из зеленого желоба.  
И прислушаются люди чутко,  
и уловят  
мое дыхание,  
и поймут они  
силу чувства,  
обращенного в это звучание.

## **Я СОВСЕМ МАЛЕНЬКАЯ ВЕТОЧКА...**

Вот я стою — ни женщина, ни девочка,  
и ветер меня гладит по плечам.  
Я — маленькая, маленькая веточка.  
Садовник, утоли мою печаль.

Садовник, заслони меня от ветра!  
мой он разоряет лепестки.  
Что сделаю я — маленькая ветка?  
Ведь у меня ни слова, ни руки.

О, подойди, скажи: не солгала ты,  
ты — маленькая веточка, прости.  
А ветер — он буян и соглядатай,  
и ты меня от ветра защити.

●

Как пелось мне и бежалось мне,  
как хотелось  
петь и бежать!  
Недоверчивой и безжалостной  
мне никогда не бывать.  
Когда месяц встает  
за крепостной стеной  
Орбелиани,  
там,  
вдалеке,  
я, как дудка, следую за тобой  
и отражаюсь в реке.  
Идешь ли ты за арбою,  
или у родника  
стоишь, —  
я иду за тобою,  
и походка моя легка.  
Недоверчивой и безжалостной никогда  
мне не бывать  
с тобой.  
Поверь,  
когда засияет звезда  
предраассветная  
во мгле голубой, —  
это ты мне свой посылаешь привет,  
просишь помнить,  
не **забывать**.  
Недоверчивой и безжалостной —  
нет! —  
мне никогда не бывать!

### **О МАГНОЛИЯ, КАК Я ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ!**

За листом твоим,  
листом дорогим,  
не угнаться —  
он летит по воде и по суше.  
Так и сердце его:  
другим, другим,  
другим его сердце послушно.

О моя магнолия,  
лист твой поднят  
ветром —  
не видать тебе твоего листа.  
Наверно, не помнит он меня,  
наверно, не помнит,  
конечно, не помнит он моего лица.

Девятиглазого солнца  
и бушующих морей  
мы несем любовь,  
только ты и я.  
Но почему он не помнит  
об этой любви моей,  
почему, магнолия,  
он не помнит меня?

У тебя, быть может,  
был такой же час,  
и он снова вернется,  
и все это развеется?..  
Нет, чтобы южные ветры  
навек покинули нас,  
мне что-то не верится,  
что-то не верится.

Как он горд, магнолия,  
как он горд.  
Но с нами любовь  
и цвет голубой  
прекрасных морей,  
прекрасных гор.  
О магнолия, как я хочу быть с тобой!

### МОЛИТВА ЗМЕИ

Как холодна змея,  
красива,  
когда черты ее видны.  
Все крапинки ее курсива  
так четко распределены.

Внимая древнему мотиву,  
она касается земли  
и погружается в молитву,  
молитву страшную змеи.  
Знать, душу грешную свою  
с надеждой богу поверяет,  
в молитве с нею порывае  
и просит:  
«Бог, прости змею!»  
О, нету,  
нету больше мочи! —  
и к скалам приникает грудь,  
и вдруг таинственная грусть  
змеинные заслонит очи.  
И будет шепот этот литься  
с ее двойного языка,  
пока вокруг сухие листья  
толкают руки ветерка.  
Сейчас пусти ее в пески,  
не попрекни смертельным делом —  
с глазами,  
полными тоски,  
и к солнцу обращенным телом.  
Пусть отстоит  
свою молитву  
и чудно полосы свернет,  
и сквозь просвирник и малину  
всей кожей крапчатой сверкнет.  
Пусть после этих странных таинств  
она взовется вдалеке,  
чтоб отплясать свой страшный танец  
как будто с бубнами в руке.  
Так пусть отпляшет разудало,  
своими кольцами звеня.  
Быть может,  
старый «узундара»  
сегодня выберет змея...

## ТАТАРКЕ ДЕВУШКЕ

Татарка девушка,  
сыграй на желтом бубне,  
здесь, возле рынка, где кричит баран.  
Татарка девушка,  
нарушим эти будни,  
отпразднуем торжественно байрам.  
О, сколько клиньев,  
красных и сиреневых,  
в себя включает  
странный твой наряд.  
Сплетенья маленьких монет серебряных  
на шее твоей тоненькой горят!  
Возьми свой бубен.  
Пусть в него вселится  
вся молодость твоя и удаливость.  
Пусть и моя душа повеселится  
на празднике веселья твоего.

## БУБНЫ

Когда я говорить устану,  
когда наскучат мне слова,  
когда я изменю уставу  
веселости и торжества, —  
выходят из подвалов бубны  
тогда,  
о, именно тогда,  
все их движения так буйны  
и песня их так молода.  
Осенним солнцем залитые,  
они на площади сидят,  
и бьют в ладошки золотые  
и весело вокруг глядят.



●

Что за ночь — по реке и по рошам!  
Что за ночь окружает меня!  
Ты кричишь: «Эй, паромщик, паромщик!»  
Но вокруг ни души, ни огня.

Как далеки и Дзегви, и Мцхета,  
и таинственный месяц в реке.  
Он молчит, но так слышимо это.  
Что он думает там, вдалеке?

●

Я тебя увенчаю короной,  
я тебе жемчугов надарю.  
Захочу я — и славой короткой,  
громкой славой тебя наделю.

А когда ты затихнешь в восторге,  
я сама засмеюсь, удивлюсь.  
Для тебя я взошла на востоке,  
для тебя я на запад склонюсь.

### СКАЖИ МНЕ, ЧИАМАРИЯ...

Чиамария, чиамария,  
отшумел этот дождик сполна.  
Ты такая смешная и маленькая.  
Чиамария, где ты спала?

Твои крылышки, верно, простыли,  
когда капля тебя волокла.  
Я кажусь тебе тенью в пустыне, —  
так я рядом с тобой велика.

Чиамария, в чем твоя радость?  
Эти крапинки кто намечал?  
Чиамария, в чем наша разность?  
Ведь и мне этот дождь не мешал.



Свирель поет печально,  
стройно,  
и птица напрягает мускулы.  
О, как задумчиво и строго  
акация  
внимает музыке.  
Взлетает птица  
выше,  
выше,  
туда,  
где солнце и цветенье,  
а маленькая ветка вишни  
хранит ее прикосновение.



Он безмолвствует,  
спит на крышах,  
но вот он гудеть начинает,  
и тогда  
на зеленых крыльях  
поднимаются  
к солнцу  
чинары.  
Страх перед ними осия,  
плача от тяжелой печали,  
взмывают мои осины,  
шевелия  
большими плечами.

Какие розовые щеки,  
и в каждой светит по костру,  
и глаз голубенькие щелки  
еще не клонятся ко сну.  
О девочка,  
что «Деда-эна»<sup>1</sup>  
тебе расскажет о земле?  
Как виноград лисица ела?  
Как заяц белым стал к зиме?  
С какую трогательной грустью  
ты плачешь! Вздрагивают плечики.  
Зачем лисице с белой грудью  
попались маленькие птенчики?!  
О, радость первого незнания!  
Ты выговорила едва  
цветов красивые названия:  
«а-и нар-ги-зи, а-и и-а»<sup>2</sup>.  
Все в маленьком твоём рассудке  
запечатлелось, но опять  
ласкаешь пестрые рисунки.  
Устала книжка,  
хочет спать.  
День к вечеру переломился.  
Вот месяц вышел и горит,  
а язычок не утомился.  
Смеется он  
и говорит.  
Жизнь будет сложная и долгая.  
О девочка,  
запомни так:  
страна твоя большая,  
добрая,  
она вся в реках и цветах.  
А ты играешь с мамой в ладушки—  
тебе ли думать о судьбе!

---

<sup>1</sup> «Деда-эна» (груз.) — «Родная речь».

<sup>2</sup> «А и нар гизи, аи и а» (груз.) — «Вот нарцисс, вот фиалка».

Ромашки,  
маки  
или ландыши —  
что больше нравится тебе?

## ЛАДО АСАТИАНИ

Вспомнят меня, как Никалу, и насту-  
пят на теплую могилу мою.

Л. Асатиани

Где-то поблизости  
солнце и ветры  
дадут акации  
зацвести поскорей,  
и осыплются эти белые ветки,  
осыплются  
над могилой твоей.  
Я-то знаю,  
что под этой елью  
ты уснул,  
положив свою голову в маки.  
Взбудораженный любовью,  
наполненный ею,  
ты лежишь,  
как лежат все поэты и маги.  
А земля наполняется парусами  
и цветами,  
которые тебя так манили...  
А Пиросмани?  
О, Пиросмани  
придет к твоей теплой могиле...  
Ты умер, окончился,  
но снова прокрался  
в эту жизнь.  
Велики твои радость и грусть.  
О весна! Взгляни, сколь она прекрасна!  
А цветы все падают и падают тебе на грудь.

●

Долгой жизни тебе,  
о фиалка!  
Твоим синим и милым глазам.  
Чтобы ветром тебя не сразило!  
Чтобы градом тебя не задело!  
Чтоб тебя не ушибли ногой!

## ОБЛАКА

Грозы и солнца перемирие,  
и облака несут утрату  
дождя —  
над всем:  
над пирамидами,  
над Хеттой,  
Мидией,  
Урарту.  
И радуга —  
грозы напарница —  
встает,  
и пенится Кура.  
Куда теперь они направятся?  
Куда? Не ведаю.  
Куда?

●

О, пусть ласточки обрадуют нас вестью  
о появлении первых роз.  
Пусть мотылек  
поцелуется с яблонево́й ветвью  
и та приоткроет  
свой маленький рот.

О, снова март,  
и снова это деленье  
на голубое с зеленым  
с примесью красок других.  
Цветы начинаются на земле,  
поднимаются на деревья,  
и март  
раскрывает  
их.



Тень яблони  
живет на красивом лугу.  
Она дышит,  
пугливо меняет рисунок.  
Там же живет самшит,  
влюбленный в луну,  
одетый кольчугой росинки.  
Цикады собираются оркестрами.  
Их музыка  
достойна удивленья,  
и шепчутся с деревьями окрестными  
около растущие деревья.  
А к утру затихнет их шепот,  
погаснет  
и ветром задунется.  
О, есть что-то,  
безмерно заставляющее задуматься...



Перекликаются куропатки...  
И, рассеивая аромат,  
в том парке  
и в этом парке  
цветы танцуют и говорят.

Опьяняются ими долины  
в пятнах света и темноты,  
и опять,  
опять неделимы  
бабочки  
и цветы.  
Ветры землю проветривают,  
начинаясь там,  
у реки.  
Пчелы волшебниц проведывают.  
Сплетничают мотыльки.  
Который год,  
о, который год  
повторяются эти порядки.  
Сумерки спускаются с гор...  
Исступленно перекликаются куропатки.

## ТУТА

Чего,  
чего же хочет **туда?**  
Среди ветвей ее темно  
Она поскрипывает туго,  
как будто просится в окно.  
Она вдоль дома так и ходит,  
след оставляет на траве.  
Она меня погладить хочет  
рукой своей по голове.  
О тута,  
нужно в дом проникнуть  
и в темноте его пропасть,  
и всей корой ко мне приникнуть,  
и всей листвой ко мне припасть.



Когда наступит ночь  
и вычернит  
все камни и цветы вокруг,  
когда на небе месяц вычертит  
свой точный  
неразрывный круг  
и склонятся ко сну  
все травы,  
все люди,  
все живые твари, —  
луч месяца соединится  
со снегом чистым, молодым,  
то белым светом озарится,  
то розовым,  
**то голубым.**  
Их поцелуй так тих,  
отраден  
и запахом цветов отравлен.  
Лишь палочкою-выручалкой  
там птица вдалеке стучит.  
Кавкасион величавый  
все видит,  
**дышит**  
и молчит.



Что делает весна  
с владениями роз?  
Ей хочется  
заботой их порадовать.  
**Шиповник**  
медленный свой замечает рост,  
и начинают веточки подрагивать.  
Как голоса  
влюбленные пернатые  
над каждую лужайкой и тропой!



А вот цветы, поникшие,  
прямые,  
перемешанные с травой.  
Их, верно, парни девушкам дарили.  
У тех же, видно,  
помыслы свои:  
они сбегают весело  
в долины,  
где новые цветы и соловьи.



О ты, чинара,  
взмывшая высоко, —  
страшны ли тебе ветер и гроза?  
На фоне просветлевшего востока  
ты открываешь медленно глаза.  
Всей кожей на рассвете холодея,  
ты распуши листву  
и так замри,  
безмолвная,  
как Тао и Халдея,  
соединеньем неба и земли.  
Назначена  
для страсти и восторга  
бровей твоих  
надменная краса...  
О ты, чинара,  
взмывшая высоко, —  
страшны ли тебе ветер и гроза?!



Опять нет снега у земли.  
Снег недоступен и диковин.  
Принимаю солнцепек зимы,  
облокотясь о подоконник.

Дымы из труб — как словеса,  
чей важный смысл — абракадабра,  
и голубые небеса  
дивятся странности подарка.

Я даровал бы крышам снег,  
будь я художник иль природа, —  
иначе совершенства нет  
в пейзаже с тенью дымохода.

## **Я И ТЫ**

О, уезжай! Играй, играй  
в отъезд. Он нас не разлучает.  
Ты — это я. И где же грань,  
что нас с тобою различает?  
Я сам разлуку затевал,  
но в ней я ничего не понял.  
Я никогда не забывал  
тебя. И о тебе не помнил.  
Мне кажется игрой смешной  
мое с тобою расставанье.  
Ты — это я. Меж мной и мной  
не существует расстоянья.  
О глупенькая! Рви цветы,  
спи сладко иль вставай с постели.  
Ты думаешь, что это ты  
идешь проспектом Руставели?  
**А это — я. Мои глаза**  
ты опускаешь, поднимаешь,  
моих знакомых голоса  
ты слушаешь и понимаешь...  
И лишь одно страшит меня  
и угрожает непрерывно:  
ты — это я. Ты — это я!  
А если бы меня не стало?

## **ГАГРА**

Меж деревьев и дач — тишина.  
Подметание улиц. Поливка.  
Море... поступь его тяжела.  
Кипарис... его ветка поникла.

И вот тонкий, как будто игла,  
Звук возник и предался огласке, —  
Начинается в море игра  
В смену темной и светлой окраски.

Домик около моря. О ты, —  
Только ты, только я в этом доме.  
И неведомой формы цветы  
Ты приносишь и держишь в ладони.

И один только вид из окна —  
Море, море вокруг — без предела!  
Спали мы. И его глубина  
Подступала и в окна глядела.

Мы бежали к нему по утрам,  
И оно нас в себя принимало,  
И текло по плечам, по рукам,  
И легко холодком принимало.

Нас вода окружала, вода, —  
Литься ей и вовек не пролиться.  
И тогда знали мы, и тогда,  
Что недолго все это продлится.

Все смешается: море и ты,  
Вся печаль твоя, тайна и прелесть.  
И неведомой формы цветы,  
И травы увядающей прелесть.

В каждом слове твоём—соловьи  
Пели, крылышками трепетали.  
Были губы твои солонь,  
Твои волосы низко спадали...

Снова море. И снова бела  
Кромка пены. И это извечно.  
Ты была? В самом деле была?  
Или нет? Это мне неизвестно.

## ПАН

Старый дуб, словно прутик, сгибаю,  
Достаю в синем небе орла.  
Я один колоброжу, гуляю,  
Гогочу, как лихая орда.

Я хозяин заброшенных хижин,  
Что мелькают в лесу кое-где.  
Осторожный и стройный, как хищник,  
Жадно я припадаю к еде.

Мне повадно и в стужу и в ветер  
Здесь бродить и ступать тяжело.  
Этот лес — словно шкура медведя,  
Так в нем густо, темно и тепло.

Я охотник. С тяжелою ношей  
Прихожу и сажусь у огня.  
Я смеюсь этой темною ночью,  
Я один — и довольно с меня!

Сказки сказываю до рассвета .  
И пою. А кому — никому!  
Я себе открываю все это,  
Я-то все рассужу и пойму.

Я по бору хожу. Слава бору!  
Город — там, где отроги темны,  
Мне не видно его. Слава богу!  
Даже ветер с другой стороны!

Только облако в небе. Да эхо.  
Да рассвет предстоящего дня.  
Лишь одно только облако это, —  
Нет знакомых других у меня!

С длинным посохом, долгие годы,  
Одинокий и вечный старик,  
Я брожу. И как крепость свободы,  
В чаще леса мой домик стоит!

## ИЗ НЕПОСЛАННОГО ПИСЬМА

Как сверкают и брызгают капли!  
По Москве мое тело бредет.  
А душа моя — в Картли. О, в Картли,  
Одинокая, клич издает.

Там, где персики,  
                                персики,  
  персики,  
Где сияет и пахнет земля,  
Там, где держатся пчелы за пестики  
Белоснежных цветов миндаля...

Я такой же, как в прежние годы,  
Седина моя в счет не идет.  
Но душа моя, вырвавшись в горы,  
В Карталинии  
                                клич  
  издает!

## В ПОЕЗДЕ

Между нами — лишь день расстоянья.  
Не прошло еще целого дня.  
От тебя — до меня, до сиянья  
Глаз твоих, провожавших меня.

А за окнами горы и горы.  
Деловое движенье колес.  
День. О господи! Годы и годы  
Я твоих не касался волос!

Я соседа плечом задеваю.  
«Эхе-хе!» — я себе говорю.  
Разговор о тебе затеваю.  
У окошка стою. И курю.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Я говорю вам: научитесь ждаты!  
Еще не все! Всему дано продлиться!  
Безмерных продолжений благодать  
не зря вам обещает бред провидца:  
возобновит движение рука,  
затевшая добрый жест привета,  
и мысль, невнятно тлевшая века,  
все ж вычислит простую суть предмета,  
смех округлит улыбку слабых уст,  
отчаянье взлелеет тень надежды,  
и бесполезной выгоды искусств  
возжаждет одичалый ум невежды...  
Лишь истина окажется права,  
в сердцах людей взойдет ее свеченье,  
и обретут воскресшие слова  
поступков драгоценное значенье.

### 31 ДЕКАБРЯ

Этот день — как зима, если осень причислить к зиме,  
И продолжить весной, и прибавить холодное лето.  
Этот день — словно год, происходит и длится во мне,  
и конца ему нет. О, не слишком ли долго все это?

Год и день, равный году. Печальная прибыль седин.  
Развеселый убыток вина, и надежд, и отваги.  
Как не мил я себе. Я себе тяжело досадил.  
Я не смог приручить одичалость пера и бумаги.

Год и день угасают. Уже не настолько я слеп,  
чтоб узреть над собою удачи звезду молодую.  
Но, быть может, в пространстве останется след,  
или вдруг я уйду — словно слабую свечку задую.

Начинаются новости нового года и дня.  
Мир дурачит умы, представляясь блистательно новым.  
Новизною своей Новый год не отринет меня  
от медлительной вечности меж немотою и словом.

## СОБЛЮДАЮЩИЙ ТИШИНУ

...В этом мире, где осень, где розовы детские лица,  
где слова суеты одинокой душе тяжелы,  
кто-то есть...

Он следит, чтоб летели тишайшие листья,  
и вершит во вселенной высокий обряд тишины.

## КОНЕЦ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

Октябрь. Зимы и лета перепалка.  
Как старый фолиант без переплета —  
потрепанная ветром ветхость парка.  
И вновь ко мне взывает перепелка.

Зовет: — Приди, губитель мой родимый.  
Боюсь я жить в моем пустынном поле.  
Охотник милосердный и ретивый,  
верши судьбу моей последней боли.

Но медлю я в ночи благословенной,  
украшенной созвездьями и тишью.  
И безнадежно длится во вселенной  
любовь меж мной и этой странной птицей.

## С ТЕХ ПОР

Сколько хлопьев с тех пор,  
сколько капель,  
сколько малых снежинок в снегу,  
сколько крапинок вдавлено в камень,  
что лежит на морском берегу,  
сколько раз дождик лил по трубе,  
сколько раз ветерок этот дунул,  
сколько раз о тебе, о тебе,  
сколько раз о тебе я подумал!



●

«О милая!» — так я хотел назвать  
ту, что мила, но не была мне милой.  
Я возжелал свободы легкокрылой,  
снедал меня ее пустой азарт.

Но кто-то был — в дому, или в толпе,  
или во мне... Он брал меня за локоть  
и прекращал моих движений легкость,  
повелевая помнить о тебе.

Он был мой враг, он врал: «Прекрасна та».  
Ты, стало быть. Ты не была прекрасна.  
Как мне уйти, я думал, как прокрасться  
туда, где нет тебя, где пустота?

Как он любил, как он жалел твою  
извечную привычку быть любимой!  
Все кончено. Побег необходимый  
я никогда уже не сотворю.

Но кто он был, твоим глазам, слезам  
столь преданный, поникший пред тобою?  
Я вычислял, и мудростью тупою  
вдруг вычислил, что это был я сам.

### ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ С ПРОСПЕКТА РУСТАВЕЛИ

Ошибся тот, кто думал, что проспект  
есть улица. Он влажный брег стихии  
страстей и таинств. Туфельки сухие,  
чтоб вымокнуть, летят в его просвет.

Уж вымокли! Как тяжек труд ходьбы  
красавицам! Им стыдно или скушно  
ходить, как мы. Им ведомо искусство  
скольжения по острию судьбы.

Простое слово чуждо их уму,  
и плутовства необъяснимый гений  
возводит в степень долгих песнопений  
два слова: «Неуже-ели? Почему-у?»

Ах, неуже-ели это март настал?  
Но почему-у так жарко? Это странно!  
Красавицы средь стекол ресторана  
пьют кофе — он угоден их устам.

Как опрометчив доблестный простак,  
что не хотел остаться в отдаленьи!  
Под взглядом их потусторонней лени  
он терпит унижение и страх:

Так я шутил, так брезговал бедой,  
покуда на проспекте Руставели  
кончался день. Платаны розовели.  
Шел теплый дождь. Я был седым-седой.

Я не умел своей душе помочь.  
Темнело небо — медленно и сильно...  
И жаль мне было, жаль невыносимо  
Есенина в ту мартовскую ночь.

## ДАЧНАЯ СЮИТА

Старомодные тайны субботы  
соблюдают свой нежный сюжет.  
В этот сад, что исполнен свободы  
и томленья полночных существ,

ты не выйдешь — с таинственным мужем,  
ты в столовой сидишь допоздна.  
Продлевают ваш медленный ужин  
две свечи, два бокала вина.

И в окне золотого горенья  
все дыханье, все жесты твои  
вняты сердцу и скрыты от зренья,  
как алгетских садов соловьи.

●

Когда бы я, не ведая стыда,  
просил прохожих оказать мне милость  
иль гения нелепая звезда  
во лбу моем причудливо светилась, —

вовек не оглянулась бы толпа,  
снедаемая суетой слепую.  
Но я хотел поцеловать тебя  
и потому был окружен толпою.

Пойдем же на вокзал! Там благодать,  
там не до нас, там торопливы речи.  
Лишь там тебя смогу я целовать —  
в честь нашей то ль разлуки, то ли встречи.

## СЕВЕРНАЯ БАЛЛАДА

Только степи и снег.  
Торжество белизны совершенной.  
И **безвестного** путника **вдруг** оборвавшийся след.

Как отважился он  
фамильярничать с бездной вселенной?  
В чем разгадка строки,  
ненадолго записанной в снег?

Иероглиф судьбы,  
наделенный значением крика, —  
человеческий след,  
уводящий сознание во тьму...

И сияет пространство,  
как будто открытая книга,  
чья высокая мудрость  
вовсеки невнятна уму.

## ОЧКИ

*Памяти Симона Чикова*

Вот кабинет, в котором больше нет  
Хозяина, но есть его портрет.  
И мне велит судьба: неотвратимость  
Сквозь ретушь отчуждения, сквозь дым  
Узнать в лице пресветлую родимость  
И суть искусства, явленную им.

Замкнул в себе усопших книг тела  
Аквариум из пыли и стекла...  
Здесь длилась книг и разума беседа,  
Любовь кружила головы в дому.  
И это все, что кануло бесследно,  
Поэзией приходится уму.

Меня пугают лишь его очки —  
Еще живые, зрячие почти.  
Их странный взгляд глубок и бесконечен,  
Всей слепотой высматривая свет,  
Они живут, как золотой кузнецик,  
И ждут того, чего на свете нет.



В ночи непроходимой, беспросветной  
являлась смерть больной душе моей  
и говорила мне: — За мною следуй!  
И я молчал и следовал за ней.

Я шел за ней до рокового края.  
В пустое совершенство глубины  
вела стена, холодная, сырая, —  
я осязал камень той стены.

Подумал я — в живой тоске последней,  
внушающей беспомощность уму:

неужто опыт мудрости посмертной  
я испытаю раньше, чем умру?

Я видел тайну, и открытье это  
мне и поныне холодит чело:  
там не было ни темноты, ни света,  
ни тишины, ни звука — ничего.

## НОСТАЛЬГИЯ

«Беговая», «Отрадное»... Радость и бег  
этих мест — не мои, не со мною.  
Чужеземец, озябший, смотрю я на снег,  
что затеян чужою зимою.

Электричества и снегопада труды.  
Электричка. Поля и овраги.  
Как хочу я лежать среди глубокой травы  
там, где Иори, и там, где Арагви.

Северяне, я брат ваш, повергнутый в грусть.  
Я ослеп от бесцветья метели.  
Белый цвет — это ласточек белая грудь.  
Я хочу, чтобы птицы летели.

Я хочу... Как пуста за изгибом моста  
темнота. Лишь кусты и вороны.  
«Где ты был и зачем?» — мне готовит Москва  
домочадцев пустые вопросы.

«Беговая», «Отрадное»... Кладбища дач.  
Неуместных названий таблицы.  
И душа, ослабев, совершает свой плач,  
прекращающий мысль о Тбилиси.

●

Он ждал возникновенья своего  
из чаш небытия, из мглы вселенной.  
Затем он ждал — все к этому вело —  
то юности, то зрелости степенной.

Печально ждал спасенья от любви,  
затем спасенья от любви печальной.  
Хвалы людей и власти над людьми  
он ждал, словно удачи чрезвычайной.

Когда он умер, он узнал про смерть,  
что только в ней есть **завершенность** жеста.  
Так первый раз сумел он преуспеть  
вполне и навсегда, до совершенства.

## МАСШТАБЫ ЖИЗНИ

Как комната была велика!  
Она была, как земля, широка  
и глубока, как река.  
Я тогда не знал потолка  
выше ее потолка.  
И все-таки быстро жизнь потекла,  
пошвыряла меня, потолка.  
Я смеялся, купался и греб...  
О детских печалей и радостей смесь:  
каждое здание — как небоскреб,  
каждая обида — как смерть!  
Я играл, и любимой игрой  
был мир — **огромный, завидный**:  
мир меж Мтацминдой и Курой,  
мир меж Курой и Мтацминдой...  
Я помню: у девушки на плечах  
загар лежал влажно и ровно,  
**и взгляд ее, выразивший** печаль,  
**звал меня властно и робко.**

**Я помню: в реке большая вода,  
маленькие следы у реки...  
Как были годы длинны тогда.  
как они сейчас коротки!**



**Когда я целую тебя,  
ты на цыпочки привстаешь, —  
ты едва до меня достаешь,  
когда я целую тебя...**

**Как я мало еще совершил.  
Я — как путник в далеком пути.  
Словно до недоступных вершин,  
до тебя мне идти и идти.**

## **СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ**

**Я видел белый цвет земли,  
где безымянный почерк следа  
водил каракули среди снега  
и начинал тетрадь зимы.**

**Кого-то так влекло с крыльца!  
И снег — уже не лист бесцельный,  
а рукопись строки бесценной,  
не доведенной до конца.**



**Родное — я помню немало родных  
и лиц, и предметов... Но сколько?  
Родное — всего лишь холодный родник,  
потрогаешь камень — и скользко,**

и чисто,  
и весело,  
и глубоко.  
Дышать там легко, а видать — далеко.  
В подоле горы, в подоле горы  
подольше гори, подольше гори..  
А он говорит и на солнце горит,  
и всё это так не расскажется.  
О сердце, немало ты примешь обид  
и все же потом не раскаешься...

### СТИХОТВОРЕНИЕ С ПРОПУЩЕННОЙ СТРОКОЙ

Земля, он мертв. Себе его возьми.  
Тебе одной принадлежит он ныне.  
Как сеятели горестной весны,  
хлопочут о цветах его родные.

Чем обернется мертвость мертвеца?  
Цветком? Виденьем? Холодком по коже?  
Живых людей усталые сердца  
чего-то ждут от мертвых. Но чего же?

Какая связь меж теми, кто сейчас  
лежит во тьме, насыщенной веками,  
и теми, кто заплаканностью глаз  
вникает в надпись на могильном камне?

.....  
Что толку в наших помыслах умнейших?  
Взывает к нам: — Не забывайте нас! —  
бессмертное тщеславие умерших.



## ПЕСНЯ

Я, как гора, угрюм. А ты горда,  
как город, превзошедший города  
красой и славой, светом и стеклом.  
И вряд ли ты займешься пустяком  
души моей. Сегодня, как всегда,  
уходят из Тбилиси поезда.

Уходят годы. Бодрствует беда  
в душе моей, которая тверда  
в своей привычке узнавать в луне  
твое лицо, ниспосланное мне.  
Но что луне невзрачная звезда!  
Уходят из Тбилиси поезда!

Уходит жизнь — не ведаю куда.  
Ты не умрешь. Ты будешь молода.  
Вовеки оставайся весела.  
Труд двух смертей возьму я на себя.  
О, не грусти в час сумерек, когда  
уходят из Тбилиси поезда.



Когда б я не любил тебя — угрюмым,  
огромным бредом сердца и ума, —  
я б ждал тебя, и предавался думам,  
и созерцал деревья и дома.

Я бы с родней досужей препирался,  
и притворялся пьяницей в пивной,  
и алгебра ночного преферанса  
клубилась бы и висла надо мной.

Я полюбил бы тихие обеды  
в кругу семьи, у скромного стола,  
и развлекался скудостью беседы  
и вялым звоном трезвого стекла...

Но я любил тебя, и эту муку  
я не умел претерпевать один.  
О, сколько раз в мою с тобой разлуку  
я бедствие чужой души вводил.

Я целовал красу лица чужого,  
в нем цвел зрачок — печальный, голубой,  
провидящий величие ожога,  
в мой разум привнесенного тобой.

Так длилось это тяжкое, большое,  
безбожное чудачество любви...  
Так я любил. И на лицо чужое  
родные тени горечи легли.



Я, человек, уехавший из Грузии,  
боготворящий свой родимый край,  
колена преклонив, просить берусь я:  
дай, боже, мне уменья, силы дай—  
такое написать стихотворенье,  
чтобы оно, над скалами звеня,  
спасло бы не от смерти —  
от забвенья  
на родине возлюбленной  
меня!

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты — маленькая ростом. Я — высок.  
Ты — весела, но я зато — печален.  
На цыпочки ты встанешь — и висок  
с моими поравняется плечами.

Вот так мы и встречаем каждый день,  
и разница сближает нас глубоко...  
О ты, моя коротенькая тень!  
Я тень твоя, но павшая далеко.

## БЕГСТВО ОТ ТЕБЯ В МЦХЕТУ

О, как дожди в то лето лили!  
А я бежал от нас двоих.  
Я помню мертвенные лики  
старух молящихся,  
до них —  
о, не было до них мне дела,  
их вид меня не поражал.  
Я помню лишь, как ты глядела,  
как улыбалась... Я бежал!  
И здесь, в старинной Мцхете вещей,  
смеялся я, от солнца слеп,  
но в этой клинописи вечной  
твоей руки я видел след,  
ты здесь играла, рисовала,  
ты и тогда была умна  
и камням этим раздавала  
иероглифы и имена.

Гора лежала, словно буйвол, —  
так тяжела и высока,  
у ног ее, в движенье буйном,  
текла и падала река.  
И ворот неба был распахнут,  
и синевою обжигал,  
и луг был заново распахан...  
А я — все от тебя бежал!  
Зеленые, как у рыбачки,  
глаза мне виделась твои, —  
я словно в каменной рубашке  
спасался от твоей любви.  
Я помню плач и конский храп.  
Как долго мной ты помыкала!  
Я гордо превращался в храм,  
но... это мне не помогало!

●

Домик около моря. О, ты —  
только ты, только я в этом доме.  
И невидимой формы цветы  
ты приносишь и держишь в ладони.  
И один только вид из окна —  
море, море вокруг без предела.  
Спали мы. И его глубина  
подступала и в окна глядела.  
Мы бежали к нему по утрам,  
и оно нас в себя принимало.  
И текло по плечам, по рукам  
и легко холодком принимало.  
Нас вода окружала, вода,  
литься ей и вовек не пролиться.  
И тогда знали **мы и тогда**,  
что недолго все это продлится.  
Все смешается: море, и ты,  
вся печаль твоя, тайна, и прелесть,  
и неведомой формы цветы,  
**и травы увядающей прелесть.**  
В каждом слове твоём соловьи  
пели, крылышками трепетали.  
**Были губы твои солонь,**  
твои волосы низко спадали...  
Снова море. И снова бела  
кромка пены. И это извечно.  
Ты была! В самом деле была  
или нет? Это мне неизвестно.

## НА СМЕРТЬ Э. ХЕМИНГУЭЯ

Охотник непреклонный!  
Целясь,  
ученого ты был точней.  
Весь мир оплакал драгоценность  
последней точности твоей.

## Т И Й Ю<sup>1</sup>

Чужой страны познал я речь,  
и было в ней одно лишь слово,  
одно — для проводов и встреч,  
одно — для птиц и птицелова.

О Тийю! Этих двух слогов  
достанет для «прощай» и «здравствуй»,  
в них — знак немилости, и зов,  
и «не за что», и «благодарствуй»...

О Тийю! В слове том слегка  
будто посвистывает что-то,  
в нем явственны акцент стекла  
разбитого  
и птичья нота.

Чтоб «Тийю» молвить, по утрам  
мы все протягивали губы.  
Как в балагане — тарарам,  
в том имени — звонки и трубы.

О слово «Тийю»! Им одним,  
единственно знакомым словом,  
прощался я с лицом твоим  
и с берегом твоим сосновым.

Тийю! (Как голова седа!)  
Тийю! (Не плачь, какая польза!)  
Тийю! (Прощай!)  
Тийю (Всегда!)  
Как скоро все это... как поздно...

---

<sup>1</sup> Т и й ю — имя эстонской девушки.

## СОЛНЕЧНЫЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Вот паруса живая тень  
зрачок прозревший осеняет,  
и звон стоит, и зимний день  
крахмалом праздничным сияет.

Проснуться, выйти на порог  
и наблюдать, как в дни былые,  
тот белый свет, где бел платок  
и маляра белы белила,

Где мальчик ходит у стены  
и, рисовальщик неученый,  
среди известковой белизны  
выводит свой рисунок черный.

И сумма нежная штрихов  
живет и головой качает,  
смеется из-за пустяков  
и девочку обозначает.

Так, в сердце мальчика проспав,  
она вступает в пробужденье,  
стоит, на цыпочки привстав,  
вся жизненность и вся движенье.

Еще дитя, еще намек,  
еще в походке ошибаясь,  
приходит в мир, как в свой чертог,  
погоде странной улыбаясь.

О Буратино, ты влюблен!  
От невлюбленных нас отличен!  
Нескладностью своей смешон  
и бледностью своей трагичен.

Ужель в младенчестве твоём,  
догадкой осенен мгновенной,  
ты слышишь в ясном небе гром  
любви и верности неверной?

Дано предчувствовать плечам,  
как тяжела ты, тяжесть злая,  
и предстоящая печаль  
печальна, как печаль былая...

## ПЕТЕРГОФ

Опять благословенный Петергоф  
дождям своим повелевает литься  
и бронзовых героев и богов  
младенческие умывает лица.

Я здесь затем, чтоб не остаться там,  
в позоре том, в его тоске и в неге.  
Но здесь ли я? И сам я—как фонтан,  
нет места мне ни на земле, ни в небе.

Ужель навек я пред тобой в долгу—  
опять погибнуть и опять родиться,  
чтоб описать смертельную дугу  
и в золотые дребезги разбиться!

О Петергоф, свежи твои сады!  
Еще рассвет, еще под сенью древа,  
ликуя и не ведая беды,  
на грудь Адамову лицо склоняет Ева.

Здесь жди чудес: из тьмы, из соловьев,  
из зелени, из вымысла Петрова,  
того гляди, проглянет Саваоф,  
покажет лик и растворится снова.

Нет лишь тебя. И все же есть лишь ты.  
Во всем твои порядки и туманы,  
и парк являет лишь твои черты,  
и лишь к тебе обращены фонтаны.



Да не услышишь ты,  
да не сорвется  
упрек мой опрометчивый,  
когда  
уродливое населит сиротство  
глаза мои, как два пустых гнезда.

Все прочь лететь— о, птичий долг проклятый!  
Та птица, что здесь некогда жила,  
исполнила его, — так пусть прохладой  
потешит заскучавшие крыла.

Но без тебя — что делать мне со мною?  
Чем приукрасить эту пустоту?  
Вперяю я, как зеркало ночное,  
серебряные очи в темноту.

Любимых книг целебны переплеты,  
здесь я хитрей, и я проникну к ним —  
чтоб их найти пустыми. В переплеты  
взвилась с тобою души этих книг.

Ну, что же, в милосердии обманном  
на память мне не оброни пера.  
Все кончено! Но с пятнышком туманным  
стоит бокал — ты из него пила.

Все кончено! Но в скважине замочной  
свеж след ключа. И много лет спустя  
я буду слушать голос твой замолкший,  
как раковину слушает дитя.

Прощай же! И с злорадством затаенным  
твой бледный лоб я вижу за стеклом,  
и красит его красным и зеленым  
навстречу пробегающим огнем.

И в высь колен твое несется платье,  
и встречный ветер бьет, и в пустырях



твоя фигура, как фигура Плача,  
сияет в ослепительных дверях.

Проводники флажками осеняют  
твой поезд, как иные поезда,  
и долгие пути, и в вышине зияют  
глаза мои, как два пустых гнезда.



Колокола звонят, и старомодной  
печалью осеняют небеса,  
и холодно, и в вышине холодной  
двух жаворонков плачут голоса.

Но кто здесь был, кто одарил **уликой**  
траву в саду, и полегла трава?  
И маялся, и в нежности великой  
оливковые трогал дерева?

Еще так рано в небе, и для пенья  
певец еще не разомкнул уста,  
а здесь уже из слез, из нетерпенья  
возникла чьей-то песни чистота.

Но в этой тайне все светло и цельно,  
в ней только этой речки берега,  
и ты стоишь одна, и драгоценно  
сияет твоя медная серьга.

Колокола звонят, и эти звуки  
всей тяжестью своею, наяву,  
**летят в твои протянутые руки,**  
как золотые желуди в траву.

## СНЕГ

Как обычно, как прежде, встречали мы ночь,  
и рассказывать было бы неинтересно,  
что недобрых гостей отсылали мы прочь,  
остальным предлагали бокалы и кресла.

В эту ночь, что была нечиста и пуста,  
он вошел с выраженьем любви и сиротства,  
как приходят к другим, кто другим не чета,  
и стыдятся вины своего превосходства.

Он нечаянно был так велик и робел,  
что его белизну посчитают упреком  
всем, кто волей судьбы не велик и не бел,  
не научен тому, не обласкан уроком.

Он был — снег. И звучало у всех на устах  
имя снега, что стало известно повсюду.  
— Пой! — велели ему. Но он пел бы и так,  
по естественной склонности к пенью и чуду.

Песня снега была высоко сложена  
для прощенья земле, для ее утешенья,  
и, отважная, длилась и пела струна,  
и страшна была тонкость ее натяженья.

Голос снега печально витал над толпой.  
— Пой! — кричали ему. — Утешай и советуй!  
Я один закричал: — Ты устал и не пой!  
Твое горло не выдержит музыки этой.

На рассвете все люди забыли певца,  
занимаясь заботам: плача и смеха.  
Тень упала с небес и коснулась лица —  
то летел самолет там, где не было снега.



В быт стола, состоящий из яств и гостей,  
в круг стаканов и лиц, в их порядок насущный  
я привел твою тень. И для тени твоей —  
вот стихи, чтобы слушала. Впрочем, не слушай.

Как бы все упростилось, когда бы не снег!  
Белый снег увеличился. Белая птица  
преуспела в полете. И этот успех  
сам не прост и не даст ничему упроститься.

Нет, не сам по себе этот снег так велик!  
Потому он от прочего снега отличен,  
что студеным пробелом отсутствий твоих  
его цвет был усилен и преувеличен.

Холод теплого снега я вытерпеть мог —  
но в прохладу его, волей слабого жеста,  
привнесен всех молчаний твоих холодок,  
дабы стужа зимы обрела совершенство.

Этим снегом, как гневом твоим, не любим,  
я сказал своей тени: — Довольно! Не надо!  
Оглушен я молчаньем и смехом твоим  
и лицом, что белее, чем лик снегопада.

Ты—во всем. Из всего—как тебя мне извлечь?  
Запретить твоей тени всех сказок чрезмерность,  
твое тело услышать, как внятную речь,  
где прекрасен не вымысел, а достоверность?

Снег идет и не знает об этом. Летит  
и об этом не ведает белая птица.  
Этот день лицемерит и делает вид,  
что один, без тебя он сумеет продлиться.

О, я помню! Я сам был огромен, как снег.  
Снега не было. Были огромны и странны  
возле зренья и слуха—твой свет и твой смех,  
возле губ и ладоней — вино и стаканы.

Но не мне быть судьей твоих слов и затей!  
Ты прекрасна. И тень твоя тоже прекрасна.  
Да хранит моя тень твою слабую тень  
там, превыше всего, в неуютности пространства.



Я попросил подать вина и пил.  
Был холоден не в меру мой напиток.  
В пустынном зале я делил мой пир  
со сквозняком и запахом опилок.

Несмелый локоть горестной зимы  
из тьмы, снаружи лег на подоконник.  
Из сумрачных берлог, из мглы земли,  
наверно, многих, но не знаю, скольких,

рев паровозов вышел и звучал.  
Не ведаю, что делалось со мною,  
но мне казалось — плач их означал  
то, что моею было тишиною.

Входили люди, супа, папирос  
себе просили, поступали просто  
и упрощали разноречивое сиротство  
до одного и общего сиротства.

Они молчали, к помыслам своим  
подняв многозначительные лица,  
как будто что-то, ведомое им,  
намеревалось грянуть и случиться.

Их тайна для меня была темна.  
Я не спешил расспрашивать об этом.  
Желанием моим или вина  
было — увидеть снег перед рассветом.

Снег начинался около крыльца,  
и двор был неестественно опрятен,  
словно постель умершего жильца,  
где новый штрих уже невероятен.

Свою печаль я укротил вином,  
но в трезвых небесах неукротенных .  
звучала встреча наших двух имен  
предсмертным звоном двух клинков скрещенных.

### ШЕЛ ДОЖДЬ...

Шел дождь — это чья-то простая душа  
пеклась о платане, чернеющем сухо.  
Я знал о дожде. Но чрезмерность дождя  
была впечатленьем не тела, а слуха.

Не помнило тело про сырость одежд,  
но слух оценил этой влаги избыток.  
Как громко! Как звонко! Как долго! О, где ж  
спасенье от капель, о землю разбитых!

Я видел: процессии горестный горб  
влачится, и струи небесные льются,  
и в сумерках скромных сверкающий гроб  
взошел, как огромная черная люстра.

Быть может, затем малый шорох земной  
казался мне грубым и острым предметом,  
что тот, кто терпел его вместе со мной,  
теперь не умел мне способствовать в этом.

Не знаю, кто был он, кого он любил,  
но как же в награду за сходство, за странность,  
что жил он, со мною дыханье делил,  
не умер я — с ним разделить бездыханность!

И я не покаран был, а покорен  
той малостью, что мимолетна на свете.  
Есть в плаче над горем чужих похорон  
слеза о родимости собственной смерти.

Бессмертья желала душа и лгала,  
хитросплетенья дождя расплетала,  
и капли, созревшие в колокола,  
раскачивались и срывались с платана.

## ПИЦУНДА

Эта зелень чрезмерна для яви.  
Это — сон, разумеется,  
сон о зеленом...

Ветру не терпится вялую дрему тумана  
вывести, выволочь, вытолкнуть из сосняка,  
и туман,  
как и подобает большому сонному животному,  
понуро следует за ветром,  
и потому — все вокруг зеленое:  
стена, лестница, балкон, скамья и книга —  
та книга, которая всю ночь  
впустую взывала к состраданию,  
желая разгласить заключенную в ней боль  
(словно старуха, ощутившая дыхание смерти,  
столь же острое и важное,  
как дыханье того, о, того,  
кто когда-то впервые говорил ей о любви,  
и вот теперь — к отупевшему лицу,  
замкнутому, как клетка,  
которой нечего держать взаперти,  
изнутри подступила страсть).

Это — сон, разумеется,  
длинный сон...

Шаги по сосновому полу ничем не вредят тишине.  
Воздух, вобранный птичьей гортанью,  
вскоре возвращается в виде зеленого свиста,  
то есть не слышно, а видно,  
как клюв исторгает зеленую трель,  
ибо туман забрал себе и присвоил все звуки—  
в обмен на право прогуливаться  
среди ветвей в зеленых шлепанцах...  
Изваянная, как жеребенок,  
закинув голову, нюхает воздух маленькая девочка.

## БЕССОННИЦА

Было темно. Я взгляделся: лишь это и было.  
Зримым отсутствием неба я счел бы незримость небес,  
если бы в них не разверзлась белесая щель, —  
вляое облако втиснулось в эту ловушку.  
Значит, светает... Весь черный и в черном, циркач  
вновь покидает арену для темных кулис.  
Белому в белом — иные готовы подмости.  
Я ощущал в себе власть приневолить твой слух  
внять моей речи и этим твой сон озадачить,  
мысль обо мне привнести в бессознание твое, —  
но предварительно намеревался покинуть  
эти тяжелые и одноцветные стены.  
Так я по улицам шел, не избрав направленья,  
и злодеянье свое совершал добродетельный свет,  
не почитавший останков погубленной ночи:  
вот они — там или сям, где лежат, где висят —  
разъединенной, растерзанной плотью дракона.  
Лужи у ног моих были багрового цвета.  
Утренней сырости белые мокрые руки  
терли лицо мое, мысли стирая со лба,  
и пустота заменила мне бремя рассудка.  
Освобожденный от помыслов и ощущений,  
я беспрепятственно вышел из призрачных стен  
города, памяти и моего существа.  
Небо вернулось, и в небо вернулась вершина —  
из темноты, из отлучки.  
При виде меня  
тысячу раз облака изменились в лице.  
Я был им ровня и вовсе от них не отличен.  
Пуст и свободен, я облаком шел к облакам,  
нет, как они, я был подвижим стороннею волей:  
нес мое чучело вдаль неизвестный носильщик.  
Я испугался бессмысленной этой ходьбы:  
нет ли в ней смысла ухода от бледных ночей,  
надобных мне для страстей, для надежд и страданий,  
для созерцанья луны, для терпенья и мук,  
свет возжигающих в тайных укрытьях души.

Я обернулся на стены всего, что покинул.  
Там — меня не было. И в небеса посылала,  
в честь бесконечности, дым заводская труба.

Бог памяти, бог забыванья!  
Ожог вчерашнего пыланья  
залечен вечностью слепую.  
И та, чьего лица не помню,  
была ль, покуда не ушла?

Но все надеется душа,  
зияя ящиком Пандоры,  
на повторенья и повторы.

## ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

Я вижу день и даже вижу взор,  
которым я недвижно и в упор  
гляжу на все, на что гляжу сейчас,  
что ныне — явь, а будет — память глаз,  
на все, что я хвалил и проклинал,  
пока любил и слезы проливал.  
Покуда августовская листва  
горит в огне сентябрьского костра,  
я отвергаю этот мед иль яд,  
для всех неотвратимый, говорят,  
и предвкушаю этот яд иль мед.  
А жизнь моя еще идет, идет...

## КОМНАТА

Постуток неба — снегопад.  
Постуток женщины — рыданье.  
Капризов двух и двух услад  
вот совпадение и свиданье.



Снег, осыпаясь с дальних луи,  
похож на плач, и сходство это  
тревожит непроглядный ум  
и душу темную предмета.

Слеза содеяна зрачком,  
но плач — занятие губ и тела.  
Земля и женщина ничком  
лежали, и метель летела.

## СОН

Земля мерещится или есть.  
Что с ней? Она бела от снега.  
Где ты? Все остальное есть.  
Вот ночь—для тьмы, фонарь—для свега.

Вот я — для твоего суда,  
безропотно, бесповоротно.  
Вот голос твой. Как он сюда  
явился, боже и природа?

Луна, оставшись начеку,  
циклопов взор втесняет в шелку.  
Я в комнату ее влеку,  
и ты на ней покоишь щеку.

## БЕЛОЕ ПОЛЕ

Я крепко спал при дереве в окне  
и знал, что тень его дрожащей ветви —  
и есть мой сон. Поверх тебя во сне  
смотрели мои сомкнутые веки.  
Я мучился без твоего лица!  
В нем ни одна черта не прояснилась.  
Не подлежала ты обзору сна  
и ты не снилась мне. Мне вот что снилось:

на белом поле стояли кони.  
Покачиваясь, качали поле.  
И все раскачивалось в природе.  
Качанье знают точно такое  
шары, привязанные к неволе,  
а также водоросли на свободе.

Свет иссякал. Смеркались небеса.  
Твой облик ускользал от очевидца.  
Попав в силки безвыходного сна,  
до разрыванья сердца пела птица.  
Шла женщина — не ты! — примяв траву  
ступнями, да, но почему твоими?  
И так она звалась, как наяву  
зовут одну тебя. О, твое имя!  
На лестнице неведомых чужбин,  
чей темный свод угрюм и непробуден,  
непоправимо одинок я был,  
то близорук, то вовсе слеп и скуден.  
На каменном полу души моей  
стояла ты — безгласна, безымянна,  
как тень во тьме иль камень меж камней.  
Моя душа тебя не узнавала.

**ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ**

Следи хоть день-деньской за шахматной доской —  
всё будет пешку жаль.

Что делать с бедной пешкой?

Она обречена.

Ее удел такой.

Пора занять уста молитвой иль усмешкой.

Меняет свой венец на непреклонный шлем  
наш доблестный король, как долг и честь велели.  
О, только пригубить текущий мимо шлейф —  
и сладко умереть во славу королевы.

Устали игроки.

Все кончено. Ура!

И пешка, и король летят в одну коробку.

Для этого, увы, не надобно ума,  
и тщетно брать туда и шапку, и корону.

Претерпеваем рознь в честь славы и войны,  
но в крайний час —

навек один другому равен.

Чей неусыпный глаз глядит со стороны?

И кто играет в нас, покуда мы играем?

Зачем испещрена квадратами доска?

Что под конец узнал солдатик деревянный?

Восходит к небесам великая тоска —  
последний малый вздох фигурки безымянной.



Вот слово — оскудевшее, иссякшее...  
Как старый камень, о который всякое  
навастривал точильщик острие,  
так слово притупилось от всего,  
на что когда-то искры расточало,  
покуда вовсе их не расточило.  
Не начинать же все это сначала!  
Пора на свалку выкинуть точило.  
Друзья мои, вас нет на белом свете,  
но есть на свете веская причина,  
чтобы устав от постиженья смерти,  
так смерклось сердце, будто опочило.  
Как бедное дитя, скончалось детство,  
и юности нежно-зеленый холмик  
едва заметен, если приглядеться:  
никто его не помнит и не холит.  
Но верю я могилам жизни прежней,  
и то, что мне мои могилы верят,  
свидетельствуют в тишине апрельской  
кладбищенские бузина и вереск.  
Сраженья, спешка, зов трубы — доколе  
жизнь понукать иль сдерживать уздою?  
Дни пали, словно загнанные кони.  
Я больше не играю со звездой.  
Весна в окне — и сколько зноя, звона  
и букв в письме, я их не разбираю.  
Благодарю тебя за прелесть вздора!  
Я со звездой больше не играю.  
Моя обитель: горечь и уют.  
Таков декабрь, когда придет на юг  
и, в свой черед, походит на альбом,  
в котором лик красавицы умершей  
являет мне и чудный тот апломб,  
сто лет назад сводить с ума умевший.

Уж всякой всячиной воспоминаний  
по горло сыты души и леса.  
Но, медленней платановых пыланиї,  
колышется прекрасная слеза.  
Пролиться ей еще не вышел срок.  
Одна слеза — прощает, знает, помнит.  
Дик свет ее, как розовый шипозник,  
да, как шиповник между двух дорог...

*Баграт Шинкуба*

## СЛОВО

Там, за преодоленными горами,  
Иные горы для преодоления,  
И слово мне дано для утоленья,  
Для услажденья страждущей гортани.

Слова тщеты, как я гнушался вами,  
По слову мое горло горевало,  
Я знал неодолимость перевала  
Меж совершенным словом и словами.

О слово, — влага, лакомая свежесть,  
Ты — колокол, глаголящий в тумане,  
Кратчайший путь между двумя умами  
И вечная разлука всех невежеств.

Ты—лунный свет, вместившийся в окружность  
Поющих губ, ты — синева, ты — сущность,  
Ты учишь силе и внушаешь ужас,  
Оружье ты, но ты и безоружность.

Ты просишь соразмерности, ты — способ  
Гармонии, но вовсе не бесплодность.  
Ниспослан всем, но только мудрым познан  
Твой прочный корень, воплощенный в посох.

В ничтожном шуме сутолоки бренной  
Ты — ласточка привета из вселенной,  
Чтоб разум принял поцелуй целебный,  
Исторгнутый любовью речи древней.

Ты — крайностей родимое соседство,  
Ты — исцелитель и спаситель сердца,  
Но нет надежней и смертельней средства,  
Чтоб кровь добыть с его живого среза.

Я сопрягаю горы и глаголы,  
Я шел в горах, я там иду и ныне.  
Преодоление — суть судьбы и книги,  
Я жив. Я преодолеваю горы.



Для выгоды брэнного тела —  
О, нет! Для бессмертного дела! —  
Меж грудью твоей и спиною —  
А все ж меж землей и луною! —  
В тебе — но для пользы всесветной! —  
Таинственный пульс милосердный  
Пылает!  
И алчет даренья  
Открытая рана горенья.

Сияй золотой добротою!  
Не то тебе быть сиротою  
В глуши немоты нелюдимой  
На родине речи родимой.  
Да будут слова твои правы!  
Беспечный! Для власти и славы  
Зачем ты лукавством мараешь  
Уста? Ты уже умираешь.

И те, что твердили: «Достоин  
Почета, кто дом свой достроил», —  
Не крикнут: «Он умер, о боже!»,  
А скажут: «Он умер, ну что же».  
Так дерево не даровало  
Плодов и теперь деревянно,  
Так высох скупой или нищий  
Родник, никого не вспонвший.

В себе и во мгле мирозданья  
Спасая очаг состраданья,  
Живи! — для кого-то другого,  
Чужого, родного, живого,  
А после предайся бессмертью,  
Чтоб путник затеял беседу  
С тобою — под кроткой и милой  
Листвой над твоею могилой.

### ЗАВЕЩАНИЕ

В одном из абхазских селений  
Пригожий, поджарый, столетний  
Жил некогда старец на свете.  
И вот что он думал о смерти:

— Кончина — еще не причина  
Забуть про родимого сына.

И вот что сказал он:  
— О мальчик!  
Запомни: велик, но обманчив

Избыток воды поднебесной,  
Небесной, соленой и пресной.

Как много пролил ее каждый!  
Но каждый терзается жаждой.

Коль путнику лакома влага,  
Тебе это прибыль и благо.

Поэтому, сын мой, сыночек,  
Заботливо пестуй источник.

Струю утруждай жерновами,  
А пламя побалуй дровами,

Чтоб весть о рождении хлеба  
Простерлась от пацхи до неба.

Но, правя огнем и водою,  
Не спорь с их старинной враждою.



●

Как я желал осилить перевал!  
Как перевал моей беды желал!  
Я бедствовал. Но, словно весть любви,  
Следы мои на нежный снег легли.  
Я шел сквозь ветер, как сквозь толщу стены,  
Но были горячи мои ступни,  
И таял под моей ногою снег.  
Так я служил рождению горных рек.

### СЛЫШУ ГОЛОС...

Слышу голос невнятный и странный..  
На исходе тишайшего дня  
Безутешность души безымянной  
Окликает и мучит меня.

Чу! Опять этой музыки лишней  
Слышен звук. Но дорога пуста.  
Где же плакальщик, слезы проливший?  
Где певец, отворивший уста?

Слышу голос... Но что же он значит?  
Вознесясь над моей тишиной,  
Не моя ль это молодость плачет  
Надо мной, над моей сединой?

Или все, что должно быть воспето,  
Что воспеть я хотел и не мог,  
Моего не дождавшись привета,  
Шлет мне кроткий упрек и намек?

Слышу голос.. Добрейший, умнейший,  
Друг мой верный, ты — там, на войне.  
О, умевший любить и умерший,  
Как же ты не забыл обо мне?

Осень, вечер, в невнятице серой  
Реют лики, крыла, имена.  
Тишина — это вздох милосердный  
Чьей-то муки, простившей меня.

Слышу голос...  
— Безумный, безумный, — говорят  
домочадцы мон.  
Это действует вечный и шумный,  
Непреложный порядок земли.

Переклик голосов бесконечен.  
Не печалься на этом пиру!  
Это добрый лепечет кузнечик.  
Это ставня скрипит на ветру.

Умоляют:  
— Не слушай, не слушай!  
Слышу голос... И все не пойму:  
В чем значение тайны засушпой,  
Причиняющей муку уму?

## ЖАЖДА

Вот девушка в окно на сад глядит,  
И сад в окно на девушку глядит,  
И мчится всадник, и земля летит  
Из-под копыт его коня.  
— Тит! Тит —  
Так девушка собаку понукает,  
Всеобщему веселью помогает  
Петух, вознесший на плетень крыла.  
И радость девушки, как роза, расцвела.

Измучен жаждой всадник молодой,  
И гневается конь его гнедой,  
Траву сминая и звеня уздой.  
Кувшин наполнив сладкою водой,  
Холодную водою ключевою,

Красавица поникла головою:  
— Ах, мама, мама, я боюсь беды!  
Воды просил он — и не пьет воды.

— Когда томится всадник у ворот,  
И жаждет, и кувшина не берет,  
Не надобно стоять, разинув рот,  
А надобно вином наполнить рог, —  
Так мать ее корит и поучает,  
И девушка в смущенье отвечает:  
— Не первый день у нашего крыльца  
Томится всадник. Я страшусь отца!

— Отец твой постарел и поседел,  
Но все же не настолько поглупел,  
Чтоб не сумел припомнить он теперь,  
Как сам он жажду тяжкую терпел.  
Давным-давно у моего крылечка,  
Ах, как он жаждал, жаждал бесконечно,  
И эта жажда весела была,  
И роза радости в моем саду цвела.



Этот месяц зовется июлем —  
И неистово мы караулим  
Мимолетного облака тень.  
В солнцепеке великом и лютом  
Только море прощает и любит  
Толчею наших страждущих тел.

Этот месяц зовется июлем —  
И, гудящая приторным ульем,  
В пекле улиц теснится жара.  
Неужели, хранимая лугом,  
Где-то полнится холодом лунным  
Та река, что и ныне жива?

Этот месяц зовется июлем —  
Рисовальщик, малюющий углем,

Он чернит наши спины и лбы.  
Мы устали, мы загнаны в угол,  
И над югом, объатым недугом,  
Скорбно высятся горные льды.

Этот месяц зовется июлем —  
Он дерзил нашим скромницам юным  
И на нет их наряды сводил;  
Сам Ерцаху сегодня безумен —  
Слыл бессмертным и все-таки умер  
Снег его поднебесных седин.

Этот месяц зовется июлем —  
Мы стораем, но все ж не горюем,  
Воедино нас жажда свела.  
Ах, июлем наш пир именуем —  
Мы пируем, и нас не минуют  
Мамалыга и чаша вина!

## ОТ СУХУМИ ДО ЧЛОУ

Шел я день от Сухуми до Члоу,  
Шел другой, и уже по-ночному  
Потемнело небесное око.  
А до Члоу все так же далеко.  
Тут вы вправе воскликнуть: «Да что вы!  
Час пути от Сухуми до Члоу!»

У Синопа свернул я с дороги.  
Поболтать о делах, о здоровье  
Собрались все друзья и родные,  
Все зеваки и люди иные.  
Затянулась до ночи беседа,  
Да и ночь миновала бесследно.

Поутру же, за чистым Кодором,  
Поравнялся я с другом, с которым  
Я дружил, но не виделся долго.  
Он сказал: «Неужели до дома  
Не дойдешь ты со мною и в доме  
Рог с вином не удержишь в ладони?»

О, уступчивый я, безотказный!  
Угощался я разностью разной,  
Так душа была этому рада,  
Что запели мы: «Райда, о райда!»  
И хозяйка была так радушна,  
Что продолжили: «Райда, райдгуша!»

В Тамыше повстречался мне старец.  
Стодвухлетний и дерзкий красавец,  
Он дразнил меня: «Видно, ты сделан  
Из ольхи — ты мне кажешься дедом».  
В небесах красовался Ерцаху,  
И луна приступала к мерцанью.

Ветер детства на щеки мне дунул.  
Шел я в Члоу, о Члоу я думал.  
Моего промедленья провинность  
Снова длилась, как дивная дивность,  
И не знал я: когда же я двинусь?  
Ах, когда же я все-таки двинусь?

Лицо склонял. Кричал петух, начавший  
Труды свои, но жаждою сладчайшей  
Томился всадник. Длилась ночь любви.

Один лишь раз совпали их уста.  
Но где жених? Одеждой дорогою  
Зачем не блещет? Для чего рукою  
Руки не тронет? О, судьбой другою  
Он занят ныне. Он играл с рекою  
И умерщвлен рекой. Река пуста.

Все — пустота, пустыня, пустошь. Пусть  
Пустое минет. Станет тихо, сухо.  
А здесь — река, присвоившая пульс  
Чужого сердца, будит рану слуха.

Прекрасная, печальная, вели —  
Я буду пить, губить и мучить воду,  
Пока из заточения воды  
Душа твоя не выйдет на свободу.

То молоко, что птица для птенца  
В себе таит, я выпрошу у птицы,  
Чтобы во мраке твоего лица  
Свет удивленья приоткрыл ресницы.

Я душу изведу на снегопад,  
Чтобы твоя одежда побелела.  
Вся белая, ты ступишь в белый сад —  
Словно дитя, свежо и неумело.

И спросишь ты:  
— Но как в снега полей  
Вы столько земляники заманили?  
Я объясню:  
— Снега души моей  
Избытком земляники знамениты.

Воскреснув от беспамятства и мук,  
Возникнет смех твой — тоненький,  
огромный,  
И вспомню я: такой же чистый звук  
Я слышал лишь от куропатки горной.



Не старая, но странная она,  
Как странен всякий, кто вкусил страданий  
Неслыханных. Но как она стройна  
Под бременем печали стародавней.

В ней умер свет и всем черным-черно:  
Душа и зренье, косы и одежда —  
И детское лицо обречено  
К всезнанию и смотрит безнадежно.

Вы скажете: «Но, если молода,  
Зачем осталась чьей-то темной тенью  
И все молчит? Неужто никогда  
Уста ее не послужили пенью?»

О, послужили! Но тогда беды  
Она не знала. Море волновалось,  
Роса цветов в ладони выливалась,  
До полночи недолго оставалось,  
Он попросил — она повиновалась,  
Помедлила и подала воды.

Владели сны усталыми людьми..  
А он все пил. Уже луна над чашей  
Возвысилась — он все еще над чашей.



Кто что умеет, милая, — я должен  
В союз любви соединить слова.  
Зачем я не дитя и не художник? —  
Зрачок мой робок и рука слаба.

Когда б тот дар мой осенил рассудок,  
Я б кисти взял, и пел, и рисовал,  
И выводил твоей души рисунок,  
И был бы он то бел, то розоват.

Гудят машины, чикают возницы.  
О, чад и гам! Им будто нет конца!...  
Измучили чужие живописцы  
Красу и кротость твоего лица.

Лицу — легко ль терпеть их взор пристрастный,  
Вбирающий в себя твои черты?  
Легко ли стать чужою и прекрасной,  
Неточной тенью, павшей на холсты.

Но черт твоих им не дана разгадка!  
И над невнятной тайной глаз и лба  
Склоняется бессмысленно и сладко  
Всех выставок незрячая толпа.

Я все терплю. Безмолвствуя и горбясь,  
Я прохожу под сводом галерей,  
И нежный, ясный, очевидный образ  
Души твоей таю в душе своей.



Отправляясь в Сухуми, возьму ли с собою  
Это сердце пустое, не нужное мне?  
Припаду ли к волне голову седую,  
Чтоб лицо твое высмотреть там, в глубине!

Я отправлюсь! Возьму! Я отпраздную горе!  
Развеселый, приду я на вымерший пляж,  
И окликнет меня безутешное море,  
Словно чей-то огромный, бесформенный плач.

А руки бессильны... Разъять иль свести их, —  
Все равно. Пустота. Только высмотрит глаз,  
Как оранжевой радости малый светильник  
Угасает. Он скоро угаснет. Угас.

О, как сложно, умно — утомленье разлуки  
Претерпеть до конца, совершенно, вполне.  
О, как просто и глупо — отдать в твои руки  
Загоранье, купанье, летанье во сне.

Неужели опять разминусь с простотою,  
Попрощаюсь: «Прощай», — оглянусь на причал,  
И возьму только темное сердце пустое,  
Отправляясь в Сухуми — в лазурь и печаль!

*Ованес Туманян*

Никто в ночи не ведает — каков  
Тот труд кромешный, что творит природа.  
Но вот луга. И в темноте лугов  
Роса сверкает при свечах восхода.

Никто не знает степени тоски,  
В которую вознесся ум поэта.  
Но вот строка. И в темноте строки  
Его печаль имеет зримость света.



Не проси меня петь. Я немного немей.  
Я печаль мою пением не обнаружу.  
Мне б достало ползвучающей печали моей,  
Чтоб вполне погубить свою бедную душу.  
Не по силам тебе эту муку терпеть.  
О, помилуй себя! Не проси меня петь!

Как я пел на горе, среди живой красоты,  
Что меня к своим нежным цветам допустила!  
Там пустыня теперь. Там убиты цветы.  
Ни травинки там нет. Там зияет пустыня.  
На горе, опаленной дыханьем моим,  
Не воскреснуть цветам и растениям иным.

Разве я не надеялся, что разорю  
И тебе раздарю всю красу и прохладу.  
Золотую, во мгле разлитую зарю  
И весну, благосклонную к чистому саду?  
Но уму моему не дано превозмочь  
Силу пенья, в котором лишь горе и ночь.

## ИЗГНАННИК Я, СЕСТРИЦА

Изгнанник я, сестрица, — с детских дней.  
Влекомый нетерпением и незнаньем,  
Бреду в страну неведомых теней, —  
Один, изгнанник.

Былые дни и нынешние дни  
Мучительно влеку я за собою.  
Утомлены ходьбой мои ступни  
И сердце — болью.

Я направляюсь в сторону беды,  
Чтобы очнуться с горьким изумленьем  
Вдали родной земли, родной воды, —  
Больным оленем.

Ты говоришь, что счастлив я вполне,  
Но не умею этого заметить,  
Что мне пора забыть о той стране  
И бег замедлить.

Наивная. Тому свидетель бог:  
Не так я подл, чтоб, средь рабов растленных,  
Вполне счастливым пребывать я мог  
В тюремных стенах.

Утешиться меж прочими людьми  
Я не имел ни помысла, ни средства.  
Свободное от веры и любви  
Пустует сердце.

Так, раненый беглец, бегу в туман,  
В грядущее, в угрюмую пустыню.  
Я все покинул здесь. Неужто там  
Тебя покину?

Сестра моя, иди своей дорогой,  
И пусть она окажется светла.  
Не улыбайся! Рук моих не трогай!  
Нет, я не друг тебе, моя сестра.

Обласканная бедами земными,  
До крайности скитания дошла,  
Но алчет мук и следует за ними,  
И ненасытно мучится душа.

Нет рук таких, открытых для объятий,  
Чтоб я из них не вырвал два крыла.  
Моей душе неведом путь обратный!  
Она безумна, но она — права.

Нечаянность своей вины постигнув,  
Как много душ она сведет на нет,  
Пред тем как в темной и глухой пустыне  
Она погасит свой опасный свет.

Покуда не померкнут и прекрасны  
Черты твои, покуда грусть остра, —  
О том, чтоб разминулись мы в пространстве,  
Молись, сестра! Молись, моя сестра!

## ЭКСПРОМТ

Святые отцы мои и господа!  
Я с Музой расстался — совсем, навсегда.  
Неужто и впрямь сочетал я легко  
Два слова, когда их друг к другу влекло?  
Вы думали прежде, что Муза и я —  
Две грани в любви одного остря?  
Но нет! Между нами зияет вражда,  
Святые отцы мои и господа.  
В разгуле политики и темноты  
Стою — с непреклонным лицом тамады.  
Но — боже! — во мгле моего кутежа

Вдруг память восходит, остра и свежа,  
И горестно я озираю края,  
Где странствует Муза и мука моя.  
В армянских горах, где чисты родники,  
Она углубила их плачем тоски,  
И в кровопролитьи опасного дня  
Нельзя ей забыть иль увидеть меня.  
Но, если, отринув обман и дурман,  
Очнутся свободные души армян,  
И там, где бесчинствует мертвенный чад,  
Воспрянет снегов и цветств аромат,  
И добрые люди, собравшись толпой,  
Воскликнут: «Безумец! Не медли и пой!» —  
Воскреснет мой голос и нежен, и скор,  
И сладок губам будет этот экспромт.



*В. Я. Брюсову*

Явился из снегов, издалека,  
Призвал к величью духа и любви,  
И стала так чиста и глубока  
Надежда, овладевшая людьми.

Средь скорби, увлажняющей глаза,  
Да будут наши помыслы чисты  
И страны согласуют голоса  
Под общим небосводом доброты.

Пусть крепнут в сердце милость и добро.  
Совпав в пространстве и пропав вдали,  
Пусть люди помнят, что лишь им дано  
Явить собою нравственность земли.

Уж если нам соперничать в борьбе,  
То лишь в одной: кто более других  
Выгадывает выгоду себе.  
Безмерно полюбив и подарив.

И прав поэт, что предсказал нам бег  
Времен — в пресветлый и желанный век,  
Где человека любит человек,  
Где с человеком счастлив человек.

## МОЯ ПЕСНЯ

Сокрыт в душе бесценный клад  
Любви моей — он щедр и светел.  
Эй, джан, безмерно я богат.  
Как совладать с богатством этим!

О дарованье, ты — не дар,  
Что выгадаешь и зароешь.  
Ты — разоренье, ты — угар,  
Ты — расточение сокровищ.

Что делать? Мне неведом страх  
Пред воров, злом и крайним крахом.  
Но мысль — утратить дар утрат —  
Меня терзает темным страхом.

Я так рожден! Я так богат!  
Я все дарю! Я всем прощаю!  
И все же — людям и богам  
Лишь их подарок возвращаю.

## ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД СИРИУСА

Что, Сириус, в пути от мглы до мглы  
В уме ты держишь?  
Для чего минуешь  
Окружности вселенной и углы?  
Так спрашивают бедные умы  
Земных существ.  
Зачем ты их волнуешь?

Что, Сириус, ужель тебе легко  
Могущество всевечного движенья?  
И не чрезмерно ль то, что велико?  
Твоим лучам я отдаю лицо,  
И мой зрачок испытывает жженье.

Когда умеришь ты безмерный свет,  
Не потому ли происходит это,  
Что в небо смотрит каждый человек  
И столько зрений, обращенных вверх,  
Все ж расхищают изобилие света?

Но сколько глаз ты знаешь!  
Сколько раз  
Тебе внимали пристальные очи!  
Но взор одних — уже давно угас.  
Другим — смотреть еще не пробил час,  
Они залог твоей грядущей ночи.

Кто, Сириус, любил тебя впервой,  
Благодарил, приветствовал и нежил?  
Кто — с запрокинутою головой —  
Возьмет себе последний пламень твой,  
И — все уже, и — любоваться нечем?

Так в добрый путь, пресветлый чародей!  
Но, приближаясь к средоточью смерти,  
Поведай ей вопрос тоски моей:  
Как много взоров и судеб людей  
В твоем одном, в твоем прощальном свете?



Бледная осень в садах непогоды  
Тихо играет — полна позолота  
Музыки желтой и желтого пенья.

Будто бы птицы в пылу перелета  
Сбросили нежные белые перья, —  
Призрачный снег оседает на горы.

В сердце истаяла нежность до срока,  
Что ж, так бывало во все времена.  
Нет ей возврата! За чашей вина  
Помни об этом и плачь одиноко.



Ах, зелень пробилась к солнцу,  
Когда же мой сын выйдет из тюрьмы?  
Слова моей матери

В небесах: курлы-курлы...  
Это значит: дни светлы,  
Все деревья расцвели,  
Прилетели журавли.

Джан журавль, за голос твой  
Все отдам, что есть на свете.  
Серый, белый, золотой,  
Нет ли мне от сына вести?

Увезли его в тюрьму,  
Его рученьки связали.  
С той поры гляжу во тьму  
Неусыпными глазами.



Рады небо и вода,  
И былинка, и листочек.  
Джан журавль, скажи — когда  
Из тюрьмы придет сыночек?

В небесах: курлы-курлы...  
Это значит, дни светлы,  
Все деревья расцвели,  
Прилетели журавли.



Шел бедуин, и в мираже песчаном  
Тень девушки мелькнула перед ним.  
Он весел был, а сделался печальным.

Его пустыня зноем истерзала,  
От лютой жажды рот его иссох.  
Он любит высоко и несказанно  
И умирает, пав лицом в песок.

Забывшись невещественным и вечным  
Глубоким сном, кто знает — сколько лет  
Все ищет он в пространстве бесконечном  
Бессмертно грациозный силуэт...



На яхонтовых, золотых  
Крылах летящая с Востока,  
Все солнце в сердце затаив,  
Вещунья птица крик исторгла:

«Я — жизнь, а жизнь — всего лишь сон  
В сне мирозданья непробудном.  
Колеблет колокол времен  
Лишь человек уменьем чудным».

Пришедшая из недр огня,  
На Запад улетела птица.  
Там, где во тьму вошла она,  
Смерть красная клубится...



Я утром видел голубя  
В решетчатом окне.  
В темницу солнце глянуло,  
Печалюсь обо мне.

Ах, я тоскую, мучаюсь,  
Кляню мою тюрьму.  
Мою голубку, солнышко  
Когда я обниму?



Та женщина, неведомая мне,  
И по причине, неизвестной мне,  
Так плакала, припав лицом к стене,  
Беду всем телом принимая.  
Внимала плачу женщины стена.  
Я торопилась — дальняя страна  
Меня ждала. Мой поезд был — «стрела».  
Шла в даль свою толпа глухонемая.  
Взлетел гудок. Стакан пустился в пляс.  
Как бледный мим, витал во тьме мой плащ  
И вдруг огромный безутешный плач  
Меня настиг средь мчащегося леса.  
Печальный поезд сострадал ему —  
Колесами, считающими тьму,  
Он так звучал, внушая боль уму,  
Как будто это плакало железо.  
Болтался плащ. Приплясывал стакан.  
О спешка мира! Как рвануть стоп-кран?  
Плач, как палач, меня казнил стократ.  
Подушка сна была груба, как плаха.  
Остановитесь, поезда земли!  
Не рвитесь, самолеты, в высь зари!  
Мотор столетья, выключись, замри!  
Виновны мы в беде чужого плача.

## ИЗ БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ

---

*Кайсын Кулиев*

### ЛУННЫЙ СВЕТ

Лунный свет. Зрачка мученье.  
Сухо. Лунный свет. Легка  
поступь. Лунный свет. Ущелье.  
Скалы. Лунный свет. Река.

Лунный свет. Белейший верх  
гор. Дорога. Человек.

Лунный свет. Обрыв. Ограда.  
Лунный свет. Ожог меж век.  
Крыши. Лунный свет. Не надо  
плавать! Горы. Лунный свет.

Лунный свет на белый свет  
пал. Сухие камни. Снег.

Лунный свет на кукурузе.  
На воротах — лунный свет.  
Лунный свет. Мгновенность грусти.  
Лунный свет. За веком — век.

В эту ночь не плачь, овет!  
Лунный свет. Высокий снег.

## ПРИСЛУШАЙСЯ К СЛОВАМ

Прислушайся к словам:  
«Сегодня снег идет» —  
звук стерся дочерна,  
но как бела услада!  
Прислушайся к словам:  
«Сегодня льется дождь» —  
всего-то, а душа —  
свежей дождя и сада.

Прислушайся к словам:  
«Светает на земле», —  
лицо — уже светло,  
еще темна природа.  
Прислушайся к словам:  
«Звезда встает во мгле», —  
и обретут слова  
значение небосвода.

Прислушайся к словам:  
«Печется хлеб в печи», —  
нет новости старей  
и нет желанней вести.  
Прислушайся к словам:  
«Горит огонь в ночи», —  
при них тепло, светло,  
как при тепле и свете.

Прислушайся к словам:  
«Зеленая трава», —  
прислушайся к словам:  
«Сад расцветает снова», —  
и кажется тебе,  
что мать твоя жива,  
и прочен на губах  
вкус молока парного.

Прислушайся к словам:  
«Уже луна взошла», —  
на землю снизойдет  
покой благословенный.

Прислушайся к словам:  
«Гора белым-бела», —  
и мысль соотнесешь  
с веками и Вселенной.

## **МЫ СЛУШАЛИ МУЗЫКУ**

Мы слушали музыку. Вечер и сад  
так верили ей. И так мысли парили,  
как будто и музыка, и снегопад,  
и все это с нами случилось впервые.

Впервые, давно, до всего, до судьбы,  
до участи хлеба, постигшей колосья,  
до тяжести, обременившей сады,  
до встречи кувшина с водою колодца.

Казалось, что пуля не знает ствола,  
петух не приходит заре на подмогу,  
рука человека огня не зажгла  
и жернов еще не учился помолу.

Нет времени позже, чем ранняя рань,  
нет опыта утра у мглы предрассветной,  
не ведает тело премудрости ран,  
и нет ничего, кроме музыки этой.

Мы слушали музыку в мире пустом,  
уже существуя, еще не печалась:  
страданья — потом, и несчастья — потом,  
пока — только музыки первоначальности!

## БЕЛИЗНА ЗИМНЕЙ НОЧИ

Луна, звезда, притихшая чинара.  
Душа — их отраженье сочиняла,  
и вышло так: о, ночи белизна!

Безлюдная дорога, горы, камни.  
Им длиться дважды — явью и стихами  
короткими: о ночи белизна!

## СОН ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Шел снег. И при медленном снеге,  
при стуже небес и земли,  
чем глубже я спал, тем краснее  
тюльпаны Чегема цвели.

Шел снег, но душа ночевала  
вдали от его белизны.  
Шел снег. Зеленела чинара.  
Как зелены зимние сны!..

## ТИШИНА

Не убивайте тишину! —  
лишь в ней при лампе догоревшей  
мудрец, взирая на луну,  
склонялся к мысли долговечной.

Лишь тишина взрастит зерно,  
чтоб хлеб живой детей насытил,  
и тишиной предрешено,  
чтоб снег поля и двор осыпал.

Весна желает тишины,  
что справедливо — то негромко,  
и веселит трава весны  
меня и малого ягненка.

Нужна такая тишина,  
чтоб нежилась и зрела дыня,  
чтобы в ночи сбылась луна  
и путником руководила.

Лишь в тишине бахче легко  
налиться сладостью земною.  
Ребенок, сено, молоко  
и луг — объяты тишиною.

При тишине горит очаг  
и юной матери не спится,  
при ней родится хлеб в печах,  
пшеница зреет, реет птица.

Лишь тишина склонит ко сну,  
утешит мыслью и беседой.  
Не убивайте тишину —  
дар драгоценный, дар бессмертный!

## ЧОККА

В селении Тегенекли,  
где, пав с Эльбруса, вдаль текли  
река и малость ручейка,  
жил, благоденствуя, Чокка.  
Он умер в сто шестнадцать лет,  
из них сто лет он сеял хлеб,  
и ровно сто шестнадцать лет  
он видел горы, солнце, лес  
и высоко над головой  
свет наших душ — Эльбрус седой.  
Здесь скот его, и огород,  
и той дороги поворот,  
где от мелькнувшего огня  
крепчала прыть его коня.  
Здесь что ни путь — то перевал,  
здесь он на свадьбах пировал,  
и скорбной сухостью зрачка  
на кровь и смерть смотрел Чокка,



но жизни воздавал хвалу,  
растил детей, косил траву,  
и, поупрямившись сперва,  
тащился ослик по дрова.  
Так жил он сто шестнадцать лет,  
из них двенадцать лет он слеп  
от слез. И там, вдали от гор,  
он сам не знал, зачем огонь  
он разводил, зачем зерно  
лелеял, как заведено.  
Пускай минует вас тоска,  
которой тосковал Чокка!..  
Он умер дома в декабре,  
при белом снеге во дворе.  
Навек оставшийся в зиме,  
он счастлив: он — в родной земле.  
Теперь считать я не берусь,  
как часто позволял Эльбрус,  
чтобы Чокка пришел туда,  
где лишь вершина и звезда.  
Кто жил вблизи, кто жил вдали, —  
всяк ехал, шел в Тегенекли,  
Чокка всегда был гостю рад,  
для гостя пенился айран,  
и я недавно и давно  
ел хлеб его и пил вино.  
Я видел, как он целый день  
греб сено, возводил плетень,  
да что там день — почти века  
трудился на земле Чокка,  
считая не важнее тщеты  
все, что сложнее простоты.  
Попробуйте-ка так пожить,  
так знать рассвет, так стог сложить  
и незаметный, вечный след  
оставить там, где вечный снег!

Жил сто шестнадцать лет Чокка,  
ущелья, горы, облака,  
дожди, колосья, деревья  
любил он больше, чем слова.  
А я доверился словам  
и жизнь Чокка поведал вам.

## ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

*Теймуразу Чиргадзе*

Сказал я печали: — Приди и владей  
душой—пусть исторгнет стихи о печали!  
Я все их отдам за веселье людей,  
которые душу мою привечали.

Веселые люди, о, как я любил  
везде—и в Тбилиси—ваш смех безрассудный!  
Вино было алым, цветок — голубым,  
и вся эта жизнь — беспредельной и чудной.

О, как я любил ожидать: вот сейчас  
войдет и, рукой ничего не касаясь,  
не ведаю так, превратит, весельчак,  
гостей — в острословов, а гостей—в красавиц.

Вошел врачеватель, чудак, чудодей,  
и я в нем признал незнакомца и друга,  
и вновь возлюбил я веселых людей,  
спасающих нас от беды и недуга.

При них — и холодная ночь горяча,  
как полдень, ожегший проспект Руставели.  
Зимой это было. Цвела алыча,  
и абрикосы в снегу розовели.

Пусть кто-то обидел нас иль рассердил —  
забудем! Подумаешь, важность какая!  
Но ты незабвенен, Ходжа Насреддин,  
упорствуй и смейся, осла понукая!

Покуда плодами увешана ветвь,  
покуда земля зеленеть не забыла,  
веселые люди, ваш смех — это весть  
о том, что вовек эта жизнь неизбывна!

●

Как много в городе людей!  
А я привык к иному краю,  
не ведаю я их затей,  
куда спешат — не понимаю.

Покуда сумерки и снег,  
не медли, незнакомец милый!  
Коль надобно — верши свой бег  
извечный и неутомимый.

Не расточай на жизнь мою  
ни слова, ни кивка, ни взгляда.  
Пусть добрую твою семью  
утешит новость снегопада.

Случайный гость твоих равнин  
и голубых вершин Арбата,  
я знаю: твой гокой храним  
любовью матери иль брата.

И та, в чьих мыслях и речах  
все ты да ты, домой вернется,  
склонится, разожжет очаг —  
иль как это в Москве зовется?..

Хоть кем-нибудь одним, родным,  
задохшимся от нетерпенья,  
ты неминуемо любим,  
и в этом смысл сердцебиенья.

На землю белую легли  
следы — твои, мои, иные...  
**Великий снегопад любви**  
**сплотил нас, путники земные.**

Нас где-то ждут. О нас грустят.  
О нас во сне лепечут дети.  
А если все это не так —  
что белого на белом свете?

●

Деревья, вы — братья мои.  
Темнело, но все же могли  
глаза мои видеть при звездах,  
что впали вы в дрему и отдых,  
как путник, как пахарь, как кто-то,  
кого утомила работа.  
Деревья, я раньше уйду.  
Я вам оставляю звезду,  
и снег, и рассвет, и пространство,  
к которому сердце пристрастно.  
Спасибо вам, братья мои,  
за то, что метели мели,  
за тень и за шорох листвы,  
за то, что я — раньше, чем вы...

### СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ В БОЛЬНИЦЕ

*Н. А. Лопаткину*

Страданье человека! Милосердным  
ты делаешь того, кто человек.  
Что было домом — стало пеплом серым,  
чернейшим снегом стал белейший снег.

Страданье человека — пепел зерен,  
казненный хлеб, не утоливший рот.  
Я видел пепел колоса. Он черен.  
Люблю смотреть, как зеленеет рожь.

Я тронул пепел дерева рукою  
крестьянина, не устыдившись слез.  
Зато зимой я плакал над строкою:  
«Весною зацветает абрикос!»

Страданье человека — смысл насущный  
хлебов, погибших в пепле и золе.  
Я видел горе. Плач детей я слушал.  
Так полюбил я радость на земле.

## ГОВОРЮ В ПУТИ

Темна дорога. Высока гора.  
Вдали окно и крыши черепица.  
В том домике живет моя сестра.  
Мой путь далек. Моей сестре не спится.

Я приходил и уходил опять.  
Но сколь ни странствуй, нет судьбы превыше,  
чем знать, что ждут тебя сестра и мать,  
хлеб на столе и сень отцовской крыши.

Приму спокойно все, что суждено,  
и детского обета не нарушу.  
Для каждого в ночи горит окно,  
чей свет в живых удерживает душу.

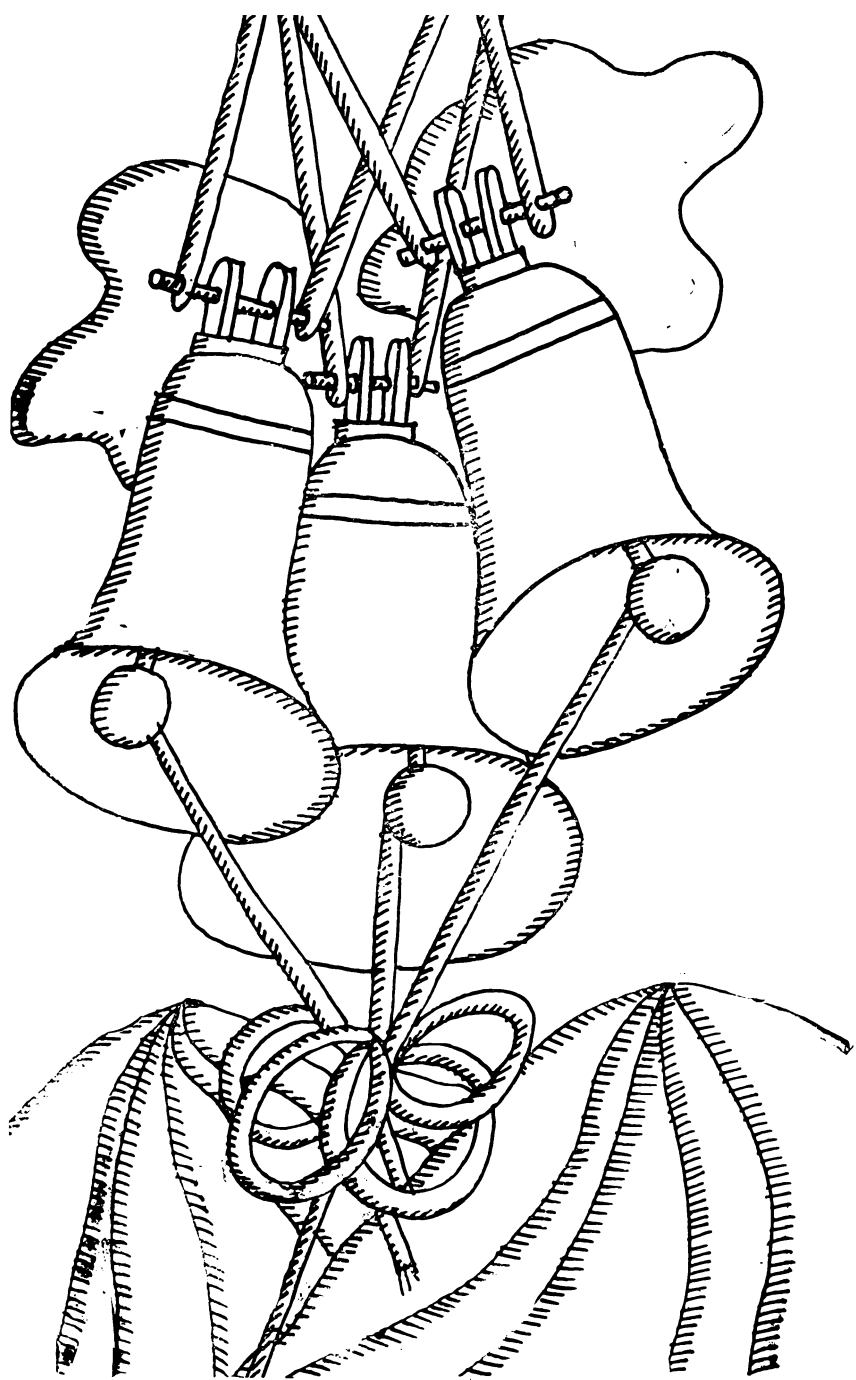
Темна дорога. Высока гора.  
Выходят звезды в свой дозор привычный.  
Не одинок я. Ждет меня сестра  
в том домике под крышей черепичной.



Что бы ни делалось на свете,  
всегда желавшем новизны,  
какой бы новый способ смерти  
ни вызнал старый бог войны, —

опять, как при слепом Гомере,  
лоза лелеет плод вина,  
шум трав и розы багровенья —  
все, как в иные времена.

И слез о смерти так же много,  
и счастлив, кто рожден уже,  
и так свежо, так старомодно  
бессмертья хочется душе!..



# Проза

---

## ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает, и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...»

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клекот, который все нарастает в горле, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поет сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но квеври—остроконечные, зарытые в землю кувшины—уже были полны



юного, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уже все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также все остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.

## ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О друзья, лишь поэзия — прежде, чем вы,  
прежде времени, прежде меня самого,  
прежде первой любви, прежде первой травы,  
прежде первого снега и прежде всего.

Так — приблизительно так, ведь это всего лишь перевод — сказал он в ту прекрасную пору жизни, когда душа художника испытывает молодость и зрелость как одно состояние, пользуется преимуществами двух возрастов как единым благом: равновесием между трепетом и дисциплиной, вдохновением и мастерством. В мире свершились великие перемены, настоящее время ощущалось не как длительность, а как порыв ветра на углу между прошлым и будущим. Энергия этого ветра развевала знамена, холодила щеки, предопределяла суть и форму стихов. Он был возбужден, зачарован. Он ликовавал. К этому времени он пережил и написал многое.

Светает! И огненный шар  
Гаскаленный встает из-за моря...  
Скорее — знамена!  
Возжаждала воли душа,  
и раннею ранью, отвесной тропею,

---

К 80-летию со дня рождения Галактиона Табидзе.

раненой ланью спеша,  
летит к водопою...  
Терпеть ей осталось немного.  
Скорее — знамена!  
Слава тебе, муку принявший  
и павший в сражении витязь!  
Клич твой над нами витает:  
— Идите за мною, за мною!  
Светает! Сомкнитесь,  
сомкнитесь, сомкнитесь!  
Знамена, знамена...  
Скорее — знамена!

(1917)

Еще в тринадцатом году было написано и с тех пор пребывает в классике грузинской поэзии стихотворение «Я и ночь». «В классике» — звучит величественно и отчужденно, словно вне нас, в отторженном бессмертии, в торжественном «нигде», так звучит, а значит — именно «везде», в достоверной материи пространства, в живой плоти людей. Ночь—время и место поэтического действия, предмет созерцания и сама соглядатай, ночь — образ мироздания, вплотную подведенный к зрению и слуху. Я—и ночь, я—и мерцающая Вселенная, и неутолимая мука, творящаяся между нами,—суть моего ремесла, от которого нет отдыха и защиты. Можно сказать так, но это совсем не похоже на волшебство, ускользающее от иноязыкого исследователя этого стихотворения. Попробую сказать по-другому:

Только ночь — очевидец  
невидимой муки моей.  
И мое тайнословье —  
всеведущей — ведомо ей.

Почти точно, но какая пустая бездна несоответствия вмещается в это «почти»! Но он сказал: «Я и ночь», раз навсегда присвоив ночь себе и предав себя ей, станемте искать его в ночи, павшей на тбилисские улицы, дворы и закоулки.

В пятнадцатом году—«Мери». Бедная, счастливая, неверная, прекрасная Мери! Все уста, открытые для грузинской речи, вовеки будут повторять ее имя, и все

потому, что с другим, с другим венчалась она в ненастную ночь, не оставив поэту никакого утешения, кроме его собственных стихов, да Шекспира, который один мог соответствовать этой скорби.

Ночь, Мерц, Знамена. Ранящий мир, любовь, события истории воспринимаются и воспроизводятся им с равным пристрастием сердца, единственным едимым ему способом.

Наши души белют белее, чем снег.

Занимается день у окна моего.

И приходит поэзия — прежде, чем свет,

прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Так написал он, когда был еще молод и уже достаточно многоопытен, чтобы сформулировать свою главную страсть и доблесть и вынести ее в заглавие личности, своей судьбы, драгоценных для Грузии и общей культуры людей. Нет ли в этой формуле профессиональной замкнутости, усеченности? Видимо, нет. Ведь, когда он писал это, его звали Галактион Табидзе, а вскоре стали звать и теперь зовут Галактион, и только потому что на его земле его имя не требует уточнения, он — единственный. И я счастлива, что неисчислимо много раз я видела, как действует это имя на самых разных жителей Грузии, каким выражением света и многознания отзываются их лица на заветный пароль этого имени. Счастлива, что вообще на свете бывает такая любовь всех, действительно всех людей к своему поэту, к своей поэзии. Только об этой любви и хотела я повести речь, чтобы вовлечь; заманить в нее новых пленников, как меня когда-то вовлекли и заманили добрые люди — а потом уже сам Галактион, когда душа была возделана, готова и открыта для любви. Все мы знаем, что многие творения великих грузинских поэтов блестяще переведены на русский язык, но это не вполне относится к Галактиону Табидзе, чья хрупкая и прихотливая музыка легко разрушается даже от бережного прикосновения, — в чем тут дело, не берусь судить. Иногда кажется, что сами стихи его одушевленно упорствуют в непреклонном желании остаться в естественной и неприкосновенной гармонии родного языка, не хотят нести неизбежного убытка.

Пристальное чтение станет легче и благодатней для нас, если мы предположим ему предысторию заведомой нежности к поэту, к его мятежному и сложному нраву, к его обширному, не простому, многообразному творчеству, столь дорогому для тех, кто говорит с ним на одном языке. А уж в этом надо поверить им на слово.

Так я поверила Вам, батона Сандро, старый кахетинский крестьянин, чьи руки можно читать, как книгу о щедрой земле, о долгом труде. Спасибо Вам, что Вы позвали нас в дом лишь за ту заслугу, что мы были путники, бредшие мимо, что луна вставала над виноградником, что стихи Галактиона, сложные для некоторых специально ученых людей, для Вас были вовсе просты.

Вы, пекари из райской преисподней, где всю ночь сотворяется хлеб, мне жаль, что мой перевод «Мери» много несовершенней горячего хлеба, вознаградившего меня за этот труд.

Вы, несравненный Ладо Гуднашвили, как я люблю Ваш дом — я только в последний раз заметила, как он красив сам по себе, прежде я все не замечала, что вообще есть дом, — все смотрела, как Вы похаживаете возле Ваших дивных полотен, застенчиво объявляя их названия и смысл, ободряя родительским взором соцветья и созвездья красок. Ваша память и Ваше искусство многое знают о Галактионе.

А Вас мне не сыскать, ночной сторож, мы грелись возле Вашего костра. Вы не раз видели Галактиона, он бродил по этим улицам, ему было легко и просто говорить — Вы сказали: «Говорить со мной, с таким, как я». Таких, как Вы, я не встречала больше, но и другие люди рассказывали похожие истории...

И вот, всех упомянутых и всех неупомянутых людей я поздравляю с лучшей радостью, с днем рождения великого поэта, чья жизнь все будет длиться и расти, и смерти его не останется вовсе — останутся рождение и стихи.

**Что же, город мой милый, на ласку ты скуч?  
Лишь последнего жду я венка твоего.  
И уже заклинанья срываются с губ:  
Жизнь. И Смерть. И Поэзия — прежде всего.**

## ОТРЫВОК

Осенью минувшего года я впервые была в том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет Леонидзе. Город, любовно затверженный мной наизусть, но преображенный, искаженный их отсутствием, был мне нов и неведом. Как изменился вид на Метехи!

Но платаны на проспекте Руставели—розовели в честь предстоящей зимы!

Женщина, изогнувшись, освобождала окно от штор и допускала солнце к обилию цветущих холстов, к чрезмерной зрелости желтых роз в просторных сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый, шел Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями. Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они взывали к нему со стен, толпились и клубились вокруг, но все же подлежали его власти, и он с неловкостью объяснял простой смысл их доброго значения. Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных участников. Где-то под потолком еще витало дивное бормотание любимого переделкинского гостя — восемь лет прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.

Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и разве когда-нибудь отступится она от Метехи?

Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли. По поводу любого места земли слух мой дольше страдает от любви, чем зрение. Память зрачков уже освобождается от лиц и пейзажей, а чужой язык еще живет во мне, бурно творится сам по себе, терзая меня близостью и недоступностью. Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в привольи долгого «и». Как мучалась я из-за этой, не данной мне, музыки — мне не было спасения в замкнутости, потому что вода, льющаяся из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.

Но наступала таинственная ночь труда, и эта речь, еще недавно бывшая сильнее меня, лежала передо мной бездыханным подстрочником — бедная, беззащитная и нагая. Теперь от одной меня зависели ее жизнь или смерть в ином языке. С течением времени я научилась мгновенно множить дословный перевод на воображаемую музыку и по подстрочнику именно грузинского стихотворения сразу же определять, с каким поэтом имею дело.

Да, нет счастья надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Кроме всей жизни, я помню ночь такого счастья, преувеличенного до чрезмерности синевой зелени за окном и предрассветными соловьями.

### «ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ»

Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щек, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое лицо и тратил на него весь слух, видимо, полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щеки, вздор и угрюмое желание зарифмовать все, что есть, были моим вкладом в тот день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово «пальто» превосходит солидность и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, перышко, немного черноты, условная дань чужой зиме. Так же, как его «дача», его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горе. Обремененный лишь легкостью силуэта, он имел мно-

го удобств и преимуществ для того, чтобы «привлечь к себе любовь пространства»: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётном его походки и теперь совершенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о «любви пространства» применительно к ним самим — совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чудак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так!

Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним небывалостью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, «подобная фазану»: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорок и строг.

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего...  
...Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Марабды,  
и девяти колодцев чистота.

Казалось бы, что мне в этом таинственном числе «девять»; столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих «квеври» — остроконечные сосуды для вина? Но еще тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надежнее,

чем талант другого человека. Но вот Симон Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюбленным и прилежным братом, и этого неопределенного звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, крошечный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженством — радостью было воспроизвести в гортани его речь:

И, так и не изведавшая муки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Тайна этой легкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолетных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнешь горюшка.

Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многоученные люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, на добной природе для лепета и бормотания:

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит,  
и средь тутовых веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Еще один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — еще снег был свеж и силен, еще никто не умер в мире — для меня. В старинной синеве сумерек, доверху наполненных снегопадом, в качании андерсеновского фонаря, вдруг — милое, быстрое лицо, не умеющее медлить в одном выражении, сейчас сосредоточенное на улыбке радости и привета. Затем — ошибусь между тропинкой и сугробами, под дополнительным снегопадом с задетых деревьев — к дому и в дом. В теплых сенях — беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.



— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)

Кем приходится мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?

Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и сетовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан, из другого, предстоящего возраста, знак, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, что больше мне так не сидеть никогда?

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз изведавшему это  
не боязно однажды умереть.

Разумеется. И я так думаю. Но вот он спускается с крыльца, уходит, оборачиваясь и улыбаясь, в голубую глубину вселенной, уже никаким объятием нежности его не удержишь, и снега, звезды, деревья смыкаются над ним — навсегда. Как я потом полечу, поеду, полетусь, как поташу себя вверх по той лестнице, в те комнаты, большими окнами озирающие цирковую площадь, как совладаю со слепотою плача?

Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.

Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как соединить воедино перо, чернила и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любят лица тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.

Как миндаль облетел и намок!  
Дождь дорогу марает и моет —  
это он подает мне намек,  
что не столько я стар, сколько молод.  
Слышишь? — в тутовых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.

## АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о торжественном дне ее рождения, но прежде — о былом, о скромном дне рождения цветов миндаля на склонах Мтацминды, о марте, бывшем давно. Какая весна затевалась! Я проснулась поутру, потому что дети в доме напротив, во множестве усевшись на подоконник, играли в зеркало и в солнце и посылали огонь в мое окно, радио гремело: «У любви, как у пташки, крылья...» Начинался день, ведущий к Анне, ослики по дороге во Мцхету кричали о весне, и сколько же там было анемонов! А у Симона Чиковани, у совершенно живого, невредимого, острозрячего Симона, дача была неподалеку — что за дача: дома нет, зато земли и неба в избытке, за рекой, на горе, четко видны развалины стройных древних камней, и виноградник уже очнулся от зимней спячки, уже хлопотал о незримом изначалье вина. Люди, оснащенные высшим даром, имеют свойство дарить нам себя и других. Сиял день весны, Симон был жив и здоров, но подарки еще не иссякли, и Симон восклицал: «Кацо, ты не знаешь Анны, но ты узнаешь: Анна — прекрасна!» К вечеру я уже знала, что Анна — прекрасна, большой поэт, и ее язык, собственный, ведомый только ей, не меньше всего грузинского языка по объему и прелести звучания. На крайнем исходе дня пришла маленькая Анна, маленькая, говорю, потому, что облик ее поразил и растрогал меня хрупкостью очертаний, серьезнейшей скромностью и тишиной — о, такие не суетятся, мыслят и говорят лишь впопад и не совершают лишних поступков.

Потом, в Москве, в счастливом уединении, я перевела стихотворения Анны Каландадзе, составившие ее первую русскую книгу — совсем маленькую, изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна, — я наслаждалась. В тесной комнате с зелеными обоямиплыли облака Хетты, Мидии, Урарту, боярышник шелестел, витали имена земли: Бетания, Шиомгвиме, Орцхали... Анна была очевидна и воздушно чиста, и сколько Грузии сосредоточенно и свободно помещено в Анне! Ее страсть к родимой речи, побуждающая к стихосложению и специальным филологическим занятиям, все еще не утолена, склоняет ее к

---

К 50-летию поэтессы.

мучению, а нам обещает блаженство. Анна, когда живет и пишет, часто принимает себя за растения земли: за травинку, за веточку чинары, за соцветие магнолии, за безымянный стебелек. Что ж, она, видимо, из них, из чистейших земных прорастаний, не знающих зла и корысти, имеющих в виду лишь зеленеть на благо глазам, даже под небрежной ногой незоркого прохожего, — лишь зеленеть победно и милосердно. Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком фиалок — думайте, что метафора, мне все равно, но Анна и цветок по имени «иа» были в явном родстве и трудно отличимы друг от друга.

Да, я переводила Анну и наслаждалась, но и тогда предугадывала, а теперь знаю, что не могла соотноситься на равных с поэтом, о котором пекусь всей душой: я была моложе и я была — хуже. Но много лет прошло, и я еще улучшусь, Анна, я вернусь к Вашим стихам, чтобы, лишенные первоначальной сути, они не сиротствовали в чужом языке, в моем родном языке, а славно и нежно звучали.

До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю, поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси — за себя, за Симона, за Гоглу, и примите в обратный дар строку Вашего стихотворения: «Мравалжамьер, многие лета!»

## СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...

Стихотворение, подлежащее переводу, проживает сложную, трехкратную жизнь. Оно полнокровно существует на родном языке и потом как будто умирает в подстрочнике. Лишенное прежней стройности и музыки, оно кажется немым, бездыханным. И это — самый опасный, самый тревожный момент в судьбе стихотворения. Как поступит с ним переводчик? Сумеет ли он воскресить его, даровать ему новую жизнь, не менее щедрую и звучную, или так и оставит его неодошевленным?

Мне всегда казалось, что в подстрочном переводе есть что-то обнаженное, беззащитное. Он — дитя, оставленное без родительского присмотра. Теперь от переводчика, человека постороннего, зависит: усыновить ли это

дنيا, вдохнуть ли в него всю свою нежность и заботу, или так и оставить его убогой сиротой в чужом языке.

Поэтому я думаю, что перевод — это проявление огромного доверия двух поэтов, где один из них приобщает другого к своей сокровенной тайне. И тому, другому, нужно иметь много деликатности, проникательности и фантазии, чтобы по контурам подстрочника восстановить действительный облик стихотворения, подобно тому, как ученый восстанавливает по черепу черты прекрасного древнего лица.

Вероятно, смысл перевода сводится к одному — переведенное стихотворение должно стать не смутным намеком на его первоначальные достоинства, а полноправным участником другой поэзии, праздником другого языка.

Но все это — очевидно, и спор возникает только вокруг пределов точности, не установленных до сих пор.

Мне хотелось бы сослаться на свою работу над переводами грузинских поэтов — не потому, что я считаю ее поучительным примером, а просто потому, что в ней я осведомлена больше, чем в какой-либо другой, может быть более удачной.

Должна признаться, что я никогда не старалась соблюдать внешние приметы стихотворения: размер, способ рифмовки — исходя при этом из той истины, что законы звучания на всех языках различны. Полная любви и участия к доверенным мне стихам, я желала им только одного — чтобы они стали современными русскими стихами, близкими современному русскому читателю.

Пытаясь сохранить нежную, сбивчивую, трепетную речь Анны Каландадзе, прекрасную странность ее оборотов, я часто прибегала к свободным, необременительным размерам. Я брала за основу строки подлинника, цельность которых не имела права нарушить: «О, есть что-то, безмерно заставляющее задуматься...», «Я слечу на твои синие ветки, сирень...» — и приспособлявала к ним все стихотворение. Кроме того, этим замедленным ритмом мне хотелось подчеркнуть задумчивость, сердечную рассеянность поэтессы, необыкновенную привольность ее души. И напротив, напряжение острого чувства, патриотического, любовного, я пробовала передать короткой, напористой строкой, отчетливыми рифмами.

Я точно повторяла вслед за Каландадзе все геогра-

фические названия в их подборе — тоже качество ее поэтического характера, ее страстная привязанность к Грузии.

Иногда, увлекаясь стихотворением, я позволяла себе некоторую свободу — но для того только, чтобы компенсировать потери, обязательные при переводе на другой язык.

Для грузинского читателя не секрет, что в прекрасном стихотворении Симона Чиковани «По пути в Сванетию» нет строк, впоследствии появившихся в переводе: «Теперь и сам я думаю — ужели по той дороге, странник и чудак, я проходил...» Но не думаю, чтобы этим определением — «странник и чудак», выбранным по собственной воле, я обманула русского читателя — я хотела еще раз напомнить ему о том, как причудлив, капризен внутренний мир этого поэта.

Мне пришлось несколько упростить стихотворение «Девять дубов», чтобы сделать его доступным русскому воображению, не испытывающему благоговения перед таинственной цифрой девять, плохо осведомленному в повадках дэвов.

Чтобы читатель не был строг к замысловатым образам стихотворения, не спрашивал с них строгой реальности, я ввела в конце строки, намекающие на восточную сказочность, на волшебство, открытое поэту: «В глаза чудес, исполненные света, всю жизнь смотрел я, не устав смотреть».

Я думаю, что иногда переводчик волен опустить те или иные детали, имея в виду не только разницу языков, но и разницу в поэтической психологии, в кругу образов различных народов.

В стихотворении Чиковани «Задуманное поведай облакам» есть строки: «Красотой своей ты наполнила кисеты моей души...» Полностью доверяя поэту, мне очень дорогому, я ни минуты не сомневалась, что по-грузински этот образ поэтичен и закономерен. Но в дословном переводе на русский язык он звучит грубо, почти вульгарно, и я попыталась обойтись без него, тем более что очарование женщины и чувство поэта и так были очевидны.

Таким образом, автору угрожают две опасности со стороны переводчика, две свободы: преувеличение или преуменьшение. Мне кажется, в интересах стихотворе-

ния и то, и другое в какой-то мере допустимо. И вряд ли удастся точно установить, математически вычислить — в какой именно мере. Вероятно, определить это может только сам поэт, в одном случае поступая так, в другом — иначе. Достоверным кажется мне только одно — свобода переводчика возможна до тех пор, пока она не наносит ущерба свободе автора. При переводе должны оставаться неприкосновенными весь внутренний мир поэта, лад его мышления и существенные конкретные детали поэтического материала. Так, было бы грешно, да и не нужно, изменить эти, например, точные строки Чиковани: «А после — шаль висела у огня...», «Колени я укрепил ходьбою...», «Изогнутою, около Двуречья тебя увидеть захотел я вдруг...» В них и поэтическая мысль, и заведомое русское звучание настолько полноценны, что нет нужды их переиначивать. Это тот случай, когда грузинская грамматика обогащает русский текст. Я надеюсь, что стихотворение «Олени в гумне» обладает самостоятельным русским звучанием, и все же, конечно, это совершенно грузинское стихотворение — не только из-за отраженной в нем географии, но и из-за такого, например, странного на первый взгляд, прекрасного грузинского образного поворота: «И вдруг, подобная фазану, невеста вышла на крыльцо...» И, наверно, переводчик должен быть очень бережен к этим проявлениям щедрого национального своеобразия.

Неволью присоединившись к дискуссии, я, кажется, не возразила ни той, ни другой стороне. Я просто хотела поделиться с товарищами по делу перевода некоторыми соображениями и подтвердить мое глубокое приращение к грузинской поэзии, давшей мне много радости.

## **ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВСЕГДА БУДЕТ СО МНОЙ**

Мне бы тоже изложить мою точку зрения на дело художественного перевода, но у меня нет точки зрения, а есть зрение. У меня есть руки, которыми я пишу, есть мое сердце, при помощи которого я работаю, и дальше я пойти не могу.

---

Стенограмма выступления 15 марта 1962 г.

Здесь много говорили о том, как следует персодить. Это полезно, это поучительно, и я все-таки не знаю, как надо переводить. Если бы мы знали, было бы больше прекрасных переводов Галактиона Табидзе и других.

Я еще хочу сослаться на обязательный момент — деловитость. Будем рассматривать наши совещания не только как программу работы Союза писателей, как мероприятие нашей общественной жизни, но подумаем, что привело нас друг к другу, что влечет нас встречаться и говорить об одном и том же. Я имею в виду искусство, то, что всегда сближает нас, а кроме этого у нас нет ничего.

Я рассматриваю перевод, как любовь одного человека к другому. Я так говорю не только потому, что мне довелось любить поэтов, которых я переводила, что через стихи Симона Чиковани, Анны Каландадзе я видела их облик, а потому, что я бесконечно доверяла им как поэтам и очень любила их.

Здесь говорили о подстрочниках. Наверное, жестокие слова, сказанные о подстрочнике, очень справедливы, но я думаю, что мы можем не признаваться друг другу в том, каким образом работали. Давайте будем делиться результатами нашей работы, и они скажут сами за себя.

Я не собираюсь упрекать Пастернака в том, что он прибежал к подстрочнику, потому что он **постигал** величайшую грузинскую поэзию, и было бы кощунством упрекать его. Я нежно отношусь к подстрочникам. Мне кажется, что подстрочник — это дитя, если можно так сказать, которое беззащитно, оно потеряло ту жизнь, в которой оно жило на родном языке, и еще не определило новой жизни. Пока это только дитя, с которым можно сделать все, что угодно. И лишь настоящее искусство поставит, направит, усыновит это дитя, сделает его не только своим ребенком, но отнесет ко всему миру, чтобы весь мир принял его в свои объятия.

Я не позволю глумиться над этим ребенком, не позволю сделать нечто дурное, пусть дитя всегда будет прекрасным.

Мне кажется, что есть еще один обязательный прием перевода, это — одержимость. Я буду на этом настаивать, и я говорю это не о себе, а о других. Товарищи, которые принимают участие в этом совещании, это

люди, вооруженные не только знанием своего дела, но и своей способностью познать поэзию по подстрочнику. В наших условиях это обязательный технический прием, необходимый для художественного перевода. По подстрочнику только истинный поэт может понять смысл стихотворения.

Я все время говорю о поэзии, потому что больше ее знаю, и я уверена, что только настоящий поэт восстанавливает облик стихотворения, как облик прекрасного лица. Я ссылаюсь на себя не потому, что считаю себя примером в работе переводчика, просто я это больше знаю. Следует говорить о том, что знаешь лучше, о своем опыте, и я ссылаюсь на грузинскую литературу не в ущерб другой литературе, а опять-таки потому, что я ее больше знаю. Я специально ограничила себя переводом грузинской поэзии. Я хочу сосредоточить себя на этом языке. Я узнаю грузинские слова из тысячи других слов, я настроила себя на это и думаю, что это очень важно.

Мы говорим о пределах вольности перевода. Я думаю, что математическим способом не удастся вычислить должный предел. Мы всегда можем говорить, что можно сделать так или иначе, мы добивались переводов точных и неточных, и я знаю, что я делала. Я считаю, что истинно точным перевод можно сделать путем каких-то неточностей, потому что потери при переводе с одного языка на другой обязательно бывают. Мне никогда не удавалось восстановить звучание грузинских слов, я подчас специально нарушала размер и строй грузинского стихотворения, потому что то, что может звучать в грузинском размере, не может звучать в русском.

Опять-таки мне посчастливилось, я переводила те стихи, которые казались мне прекрасными, иначе я не могла бы работать над ними. Но есть моменты, которые не подлежат точному воспроизведению. Я уже говорила когда-то, как я переводила стихи Симона Чиковани. Там были вещи, которые я не могла воспроизвести точно, потому что при всем доверии к Симону Чиковани, при огромной нежности к его поэзии, я знала, что по-грузински это прекрасно, а по-русски это не может так звучать. И при переводе Галактиона Табидзе «Тебе тринадцать лет» — эти слова по-русски не звучат поэтически, и по-русски нельзя это сказать таким образом.



Я уважаю многих товарищей, которые упрекали меня в вольности перевода Галактиона Табидзе. Дело в том, что Галактион принадлежит Грузии, но каждый грузин не обязан знать, что может угрожать Галактиону. То, что мы даем из грузинской поэзии, — это очень много, но не для Грузии, а для России. Я хочу донести стихотворения Галактиона Табидзе до русского читателя и считаю это возможным. Я не выкидывала ни строчки, не проявляла небрежности, а если и делала что-либо по-своему, то потому, что хотела осветить Галактиона по-русски так, как слышала по-грузински. Когда я хожу по ночам в Тбилиси, мне кажется, что хожу вместе с тенью Галактиона. Я знаю его стихотворение, я знаю, в чем его смысл, оно не чуждо логике, но оно все держится на музыке, которую я не могу точно воспроизвести, — не просите у меня невозможного. Я могу только сказать русскому читателю, что это звучит на грузинском языке божественно. Я хочу, чтобы русский читатель поверил мне на слово, что Галактион — великий поэт. Если бы для этого мне нужно было бы танцевать, я бы танцевала.

Я говорила, что иногда сама работа вынуждает нас к вольности. Когда я переводила стихотворение Симона Чиковани «Девять дубов», я тревожилась за него, я боялась, что это «дитя» не станет любимым русским читателем. У нас число девять не принято обыгрывать. Я специально ввела в конце стихотворения строки, которых не было у Чиковани. Я хотела, чтобы читатель понял, что поэт играет с ним, я хотела облегчить русскому читателю восприятие этого стихотворения.

Но есть какая-то точность, которую нельзя нарушить, и для этой точности нам нужно менять размер и находить пути, которые должны оставить неприкосновенными грузинские обороты тогда, когда они звучат прекрасно и по-русски.

Иногда я переводила стихотворения Симона Чиковани, Анны Каландадзе не соответствующим размером с тем, чтобы передать ту сердечную сбивчивость, которая там была, чтобы донести ее до русского читателя.

В заключение я хочу сказать, что у нас очень много работы. Но я считаю грузинскую поэзию своей, и у меня не будет покоя, пока я не переведу всего того, что должна перевести.

Грузинская поэзия всегда будет со мной. Я буду служить искусству, которое сближает нас, дарует нам счастье и всех нас украшает.

## К ТАИНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

Было, бывало, будет и впредь, есть и сейчас — сей, третий, час с начала дня, и все же до его начала, потому что еще длится непрочное мгновение июньской ночи — уж вы-то его растянете, используете во всю длину сновидений, вы, баловни, счастливы, не знающие, о чем идет речь. Выглядит это так: большая, пустая, нехорошо горячая тяжесть лба прячется в ладони, и все это рушится, клонится к столу. Озвучивается это так: «Я любил этот труд превыше всякого другого труда... я служил ему, как мог... но я изнемог... неужели я навеки сослан на нежную каторгу чужой души, чужой любви, чужого представления обо всем, что есть?.. Дудки, довольно...» И все это — чистосердечно, и все это — ложь, друзья мои, потому что я не умею, не желаю жить без этого, да и не пробовала никогда. Но если вы и впрямь не знаете, о чем идет речь, — да все о том же: о таинственном, доблестном, безвыходно-счастливом деле перевода — я расскажу вам, как это начинается, как это для меня начиналось. Вот — ты молод, толст, румян, собственную неуязвимость принимаешь за ранимость, застенчивость выдаешь за надменность, и, украшенный всем этим, ты приезжаешь в иную страну — назовем ее: Сакартвело, — благосклонно взираешь, внимаешь, уезжаешь и понимаешь, что, уехав, ты остался навсегда в капкане нежности к ее говору, говорению, приговариванью, к ее чужому, родимому языку, загромоздившему твою гортань горой, громом, горечью, виноградной гроздью огромного, упоительного звука. Так и будешь всю жизнь горевать по нему, по его недостижимости для твоих губ и гортань. Речь идет о деле перевода, и пора бы уже упомянуть какой-нибудь исчерпывающий, все объясняющий термин, но мне неизвестно литературоведение, я не пре-

успела в нем, не начать ли мне со слова «обреченность». Обреченность — этому ремеслу, этому языку, этому человеку — переводимому тобой поэту, а ты и не знал, что он — твой родимый брат, точно такой же, как ты, но лучше, драгоценнее тебя, и вовсе не жаль расточить, истратить, извести на него свою речь, жизнь и душу. Вот он сидит рядом с тобой, вы говорите о пустяках, любуясь друг другом, сходством, братством, не-расторжимостью навеки, но он сходит с крыльца, удаляется, углубляется в снегопад, господи боже, не тяжел ли этот снегопад его хрупким плечам, его бедному пальто, в котором нет нужды в стране Сакартвело, там в зимних садах голубеют цветы иа, или фиалки, как вам угодно. Бывало ли с вами то, что было со мною: он всего лишь спускался с крыльца, оборачиваясь, помахивал рукой, не было в этом никакой многозначительности, его звали Симон Чиковани, я совершенно не умела без него обходиться, да и не будет в этом никогда нужды, он просто спускался с крыльца, но я точно знала, что больше я его никогда не увижу. С того снегопада, в который он ушел, начался мой иной возраст, который больнее, печальнее, но лучше молодости. Этот возраст удобен для мастерства перевода. Симон, Симон Иванович, любовь моя, радость, благодарю, что меня во мне меньше, чем вас, я вас переводила, перевела — в себя и во что-то иное, дальнейшее, чему и мой уход в снегопад вовсе не помешает. Да вот вам и термин: подстрочник. Вот как он расшифровывается: стихотворение жило, ликовало, лепетало в своем родном единственном языке, и вот оно насильственно умерщвлено, распластано перед тобой на столе — нагое, бездыханное, беззащитное, оно — подстрочник, ты — переводчик, теперь все от тебя зависит: ты можешь причинить ему грубый вред дальнейшей мертвости или дать ему же собственную, принадлежащую ему по праву, вторую, вовсе не лишнюю жизнь. И если ты не дашь ему всего, чего оно просит: музыки, утверждающей предмет его любви, свободы в твоём языке — не меньшей, большей, чем у тебя самого, — если ты не дашь, значит, — возьмешь, значит, — ты и не переводчик вовсе, а грабитель, отниматель чужого, обкрадыватель человечества, единственного и полноправного владельца всех прекрасных стихотворений и музык.

А как ты все это сделаешь, как ты вынудишь подстрочник проговориться в тайне первоначального звучания, как найдешь точное соответствие между драгоценной сутью и новым звуком, — этого я не знаю...

## НА СИБИРСКИХ ДОРОГАХ

(Отрывок из рассказа)

...Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распадалась на два тоненьких силуэта, и четыре затуманенных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.

Никто из неспящих в этой ночи ничего не знал об археологах. Раза два или три нас посылали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.

Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:

— Кончается бензин, меньше нуля осталось.

Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонь. Наш «газик» все-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

— Браток, не одолжишь горючего? — с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.

— Да понимаешь, какое дело, — живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, — сам стою с пустым баком. Второй час старую запаску жгу.

Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью, в марте горько расцве-

тающий миндалем, в декабре гордо увядающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.

Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем Сакартвело.

Между тем становилось очень холодно, это резко континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холодом после жары.

Все они стали упрашивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.

Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.

— И такие красавцы чуть не погибли в степи! — веселился он. — Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если б не я.

Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.

У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и наскоро простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.

Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.

И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натошак, все же оказывало свое действие. Как долго было все

это: из маленького, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, круглое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; все тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу; затем, бережно собранные воедино, разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томилась и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрошали и воспитывали ее буйность. И все затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.

## ВЕЧНОЕ ПРИСУТВИЕ

Сначала слышалось только: «Бу-бу-бу»... Это большие бабушкины губы бубнили над непрочным детским теменем, извещая его о грядущей истине, о радости, дарованной всем ни за что ни про что, просто за заслугу рождения. Потом, в сиротстве эвакуации, бормотание прояснилось в слова — до сих пор пугаюсь их нежной и безвыходной жути: «Буря мглою небо кроет...».

Много лет спустя в Тригорском, при буре и мгле, при подсвечнике в три огня, как сама по себе, отвечая заводу прошлого столетия, расплывается в клетке маленькая золотая птичка — услада одиноких зимних вечеров. Может быть, и не было ее здесь тогда, — тем хуже! Как тосковал он, как бедствовал в этих занесенных снегом местах.

Между этими двумя ощущениями — много жизни, первое беспечное обладание Пушкиным и разлука с ним на время юношеского смятенного невежества. Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берет его себе, и этот поиск соответствует поиску собственной зрелости. Какое наслаждение — присвоить,

никого не обделив, заполучить в общение эту личность, самую пленительную в человечестве, ободряюще здоровую, безызынную, как зимний день. Кстати, описание этого зимнего дня, который чудесен, с его морозом, солнцем и прелестным безымянным другом, — для всех нас достаточное основание не изведать края горестей.

Любоваться им — нелегко, мучительна тайна его ничем не скованной легкости. Откуда берется в горле такая свобода?

Подъезжая под Ижоры,  
Я взглянул на небеса..

Впрочем, известна эта легкость и эта свобода, за все это — загнанность в угол, ожог рассудка и рана в низ живота. Так и мыкаемся между восторгом, что жив и ненаглядно прекрасен, и страшной вестью о его смерти, всегда новой и затемняющей зрение.

И вспомнил ваши взоры,  
Ваши синие глаза.

Как это делается? Кажется, понимал это лишь А. Н. Вульф, считавший себя соучастником стихотворения, — ах, пусть его, наверно так и было. Но с кем? — с никудышным Алексеем Николаевичем ехал, доверчиво сиял глазами, подъезжал под Ижоры, а меня и в помине не было. Ужас тоски и ревности.

Ревности к Пушкину, как всегда, много. Все мы влюблены и ревнуем, как милое и обширное семейство Осиповых-Вульф, — к друзьям, к возлюбленным, к исследователям, к чтецам, ко всем, посягающим на принадлежность Пушкина лишь нашему знанию и сердцу.

Все мы чего-то ждем, чего-то добиваемся от Пушкина — что ж, он никому не отказывает в ответе. Достаточно сосредоточить на нем душу, не утяжеленную злом, чтобы услышать спасительный шум его появления — не более заметный, чем при возникновении улыбки или румянца. Но не следует фамильярничать с его именем. Он знает, чем мы ему обязаны, и разом поставит нас на место с ликующей бесцеремонностью, позволенной только ему — ему-то не у кого спрашивать позволения: «Читатель ждет уж рифмы розы»... Так и будем стоять с дурацким видом, поймав на лету его галаитную и небрежную розу, — в подарок или в насмешку.

Мы — путники в сторону Пушкина, и, хотя это путь нашего разума, нашей нравственности, географически он приводит нас в Михайловское; где же быть Пушкину, как не здесь? Хранитель заповедных мест, или директор заповедника, С. С. Гейченко говорит, что нужно уметь позвать того, кто насытил своим очевидным присутствием воздух парка, леса и поля, и он незамедлительно ответит: «Ау!». Милый Семен Степанович, судя по вашему многознающему лицу, заглянувшему в тайну, вам не раз выпадала удача этой переклички.

Стало быть, муки, раны и смерти, подтвержденной непреложностью белого памятника за оградой монастыря, все же недостало Пушкину для отсутствия в мире?

Но сейчас речь идет лишь о том, что Пушкин родился, и по этому случаю происходит всенародный праздник, — что же еще делать в этот день народу, породившему это дитя?

Представляю, как белые аисты, живущие над входом в усадьбу, тревожно косят острым зрачком на многотысячную толпу.

Про множество людей, сведенных в единство просвещенной любовью, уместнее сказать человечество. К каким его счастливым обращено «ау», смутно брызжащее в парке, — будто бы ответная приязнь, привет Пушкина — нам?



Он умер, прошло сто лет и еще столько, сколько было мне в прошлом году, когда в августе, вечером, после дождя, я мрачно остановилась посреди парка, где некогда он бывал каждый день. Только что, на повороте аллеи, я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, полтора века назад вытесненный бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. Испытав раздражение, как если бы он, действительно, пробегая, задел меня локтем, я повернулась и пошла обратно.

При его поспешности движений он все здесь осенил и насытил собой, и с памятью о нем нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. И все-



Таки ощущение совпадания с ним было искусственным и неточным.

Чтобы полностью воспроизвести в себе какой-то миг его зрения, я расчетливо направилась туда, где это было наиболее возможно, — к источнику, который он любил наблюдать. Нетерпеливая корысть владела мною. Я уже устала думать о нем, выслеживать его дыхание, уцелевшее в пространстве, мое возбуждение нуждалось в очевидной удаче и взаимности.

Я явилась со стороны кустов, чтобы застать в спину и врасплох обнаженную мраморную фигуру, обязанную стать посредником между моим и его настроением. Я горячо ждала от нее, что она вернет моим глазам энергию его взгляда, воспринятую смуглым камнем в начале прошлого столетия. Приняв страстное заблуждение мозга за острие совершенного расчета, я могущественно нацелила его на ясные черты статуи и тут же поняла, что промахнулась, как человек, поцеловавший пустоту.

Да, конечно, он стоял именно здесь, в августе, вечером, после дождя, и видел юное бессознание этого тела, простое лицо со слабым выражением какой-то полудогадки, нежное, поникшее плечо, острую грудь, бесхитростные колени, открытые влажному падению кленовых листьев... Бог с ним! Теперь мне это было совершенно безразлично.

Разом утомившись и заскучав, я, на всякий случай, еще раз обошла вокруг, то наклоняя голову, то угрюмо всматриваясь исподлобьем, но так и не испытала никакого ответа. Я попила с ладони холодной воды, пустой и скучной на вкус, и, вдруг ощутив злобу и гнев, свободно пошла прочь.

Но постепенно мои нервы опять сосредоточились на нем, и влияние его парка мучительно управляло мной, как сильный взгляд в спину, придающий движениям скованность и нетрезвость. Я тупо и ловко пробивалась вперед, сквозь оранжевую мощь заходящего солнца, обезумев от сильного предчувствия, заострившись телом и помертвев, как пес, прервавший слух и зрение, чтобы не мешать ноздрям вдохнуть короткую боль искомого запаха. И вот, острым провидением лопаток, я уловила тонкий сигнал привета, заботливо обращенный ко мне. Помедлив, я, в торжественной тишине пульсов,

обернулась к этим деревьям, небесам и водам, к изваяниям, разумно белеющим среди зелени, ко всему, что не выдержало вдруг избытка его имени и в тоске и любви выдохнуло его мне в затылок.

В глубоком объеме сумерек чисто мерцало небольшое строение с хороводом колонн возле округлого входа. Откликнувшись призыву яркой белизны, я подошла и на песке возле ступеней различила резвый след маленькой ноги, лукавый и быстрый, как улыбка. Радостно засмеявшись, я ласкалась лбом к доброй прохладе колонн, обретая простоту и покой. Я знала, кто возвел их так справедливо, и благодарила его за ясность ума. Беспечная свобода удлиненного здания сдерживалась суровой и прочной дисциплиной колонн, и в их соразмерном порядке было легко на душе, как под защитой простого закона. Вероятно, и тот, ради кого я пришла сюда, отдыхал здесь от жгучей и неопределенной вспыльчивости юного мозга, упершись сильным лбом в трезвую зрелость мраморных полукружий. Образ его, утомивший меня сегодня, притих и утратил настойчивость, и я могла расстаться с ним с приятным чувством победы.

Я вернулась в город и прекрасно спала в маленьком старомодном номере, даже во сне радуясь его тихому плющу и бесполезной меди канделябров.

Утром я вошла в дом, где он жил и умер, и, привязав к обуви огромные шлепанцы, поднялась в небольшую квартиру, много раз реставрированную и все же хорошо сохранившую выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивали лица ка многочисленным стендам, и в этой осторожной позе все казались длинноносы и трогательно нехороши собой.

Я сразу же попала в острое чувство разлуки с ним, как будто не застала его дома вопреки ожиданию. Все его изображения и копии писем и документов не открывали мне смысла его тайны, а, напротив, отводили меня вдаль от нее, в сторону чужого и ощепринятого объяснения его личности великого человека.

В одной из комнат я столкнулась с большой группой экскурсантов, возглавляемой ученой сотрудницей музея. Уверенным голосом она перечисляла печальные приметы его жизни, безошибочно тыкая указкой в долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних

дней. Мне невольно было это слушать, и, мельком глянув на меня, она, видимо, заметила в моем лице непонимание истине, самостоятельность любви, неподвластную ее хозяйской воле. С каким-то злорадным упорством она стала обращать свои пояснения ко мне, и, попав в неловкую зависимость от ее сурового взгляда, я не могла уйти. Оценив мое смирение и несколько смягчившись, она, как для пения, повысила голос, чтобы объявить мне о его трагической гибели, но я, с неожиданной непринужденностью животного, повернулась к ней спиной и вышла.

Теперь я очень торопилась, желая разминуться с экскурсией, но ученой женщине не терпелось наказать меня взглядом, и я слышала за спиной дыхание и топот подстрекаемой ею погони.

Всю же я задержалась возле скромной витрины, хранящей под стеклом полметра мягкой черной материи, приведенной портным к изящному точному силуэту. Это был жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер поразил и разжалобил меня, и живая прочность моего тела встрепенулась в могучем сострадании, готовая к прыжку, чтобы защитить собой чью-то родимую, горячую, незащищенную худобу. Но давно уже было поздно, и слезы жалости и недоумения помешали мне смотреть...

Внизу, во дворе, где флигели и сирень все еще пребывали в кротком уюте прошлых столетий, маленькая чужая девчонка радостно уставилась на меня и сказала с чистосердечной любовью: «Здравствуй». Я посчитала это доброй приметой и заторопилась ехать, как если бы он ждал меня и я знала, где.

Теперь, когда я знала, что скоро уеду, я шла медленно, чтобы утомить и измучить себя этим городом и не жалеть о разлуке с ним. Он был слишком просто сложен, чтобы не замечать этого. Каждая его улица, блистающая логикой и прямизной, требовала художественной разгадки и угнетала разум непрерывным трудом восхищения. Старинные здания, населенные современной обыденной жизнью, казались мне нездешними и необитаемыми, как Парфенон, и, запрокинув голову к их ясным фасадам, я испытывала темное беспокойство невежды, взирающего на небеса. Тот, чьи следы привели

меня сюда, с легкостью любил этот город: для него совершенство было будничным и произвольным вариантом формы, ничего другого ему и в голову не приходило.

## ЧУДНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Такая маленькая, родом из Выборга, и в облике — особенное выражение, по которому часто можно угадать истинных ленинградцев: неизгладимый отсвет благородного города, который день за днем отражался в пристальном лице человека и запечатлелся в нем чертой красоты. И — слабая голубая тень, неисцеленность от блокады, от страдания, перенесенного в младенчестве. Выпуклость лба — нежная и прочная вместе, как у людей, усугубивших врожденную склонность к знанию кропотливым трудом.

Но не в учености было дело, а в более грозной и насущной страсти, это я сразу поняла, когда увидела, как та, маленькая, с насулленным лбом, стоит одна между Пушкиным и множеством людей, пропуская через себя испепеляющую энергию этой вечной взаимосвязи. Казалось бы: много ли удали надо — быть экскурсоводом, но как доблестно, как отважно стояла, вооруженная указкой, готовая сопроводить к Пушкину или заслонить его собой, если вдруг сыщется среди паломников человек случайный, ленивый, грубый невежда! И, представьте себе, — сыскался.

Она говорила приблизительно вот что. В тот день Пушкин проснулся, разбуженный своей улыбкой, словно внушенной ему извне в знак близкого и неизбежного счастья. Он заметался, помогаясь найти причину нарастающей радости, выскочил на крыльцо и, по привычке зрения к простору здешних мест, глянул широко, с размахом, но близоруко увидел лишь спуск к реке, потому что над Соротью стоял туман и не пускал смотреть дальше. И вдруг, разом, без проволочки обнажилось сияющее пространство на том берегу — и душа, ликуя, ринулась на приволье. Он уже несколько часов бодро жил наяву, а непреодолимая улыбка все длилась. Он

совсем забыл, почему оказался в этих отрадных местах. А ведь он всегда, ожогом гордости, помнил об этом. Не потому ли, что часть его сильной крови была сведуща в незапамятном опыте черного рабства, кровь его болела и запекалась в затылке, когда его неволили и принуждали? Но сегодня он был совершенно свободен. Только эта улыбка — кто-то поддерживал и разжигал ее своей непреклонной властью, и, когда он хотел переменить выражение губ, получался — смех... Если бы ему сказали тогда, что этот день пройдет, как все остальные, что его жизни, столь молодой, минет сто семьдесят пять лет и все люди, обнимаясь и плача, оповестят друг друга об этой радости, — о, какую гримасу скуки выразил бы он переменчивым и быстрым лицом! Что значат эти пустяки в сравнении с тем, что вот-вот должно случиться! Он с утра, с начала улыбки знал, что обречен к счастью, и все же кружева, порхнувшие в двери, застали его врасплох — он испугался, что так не умен. А она, как вы знаете, была гений и светила себе на сильном солнце, не имея ни единого изъяна, как белый день и природа. Вот, кстати, ее плавный профиль, рисованный его рукой.

Но какой двоякий у нее голос: нежный и важный, как у благовоспитанного ребенка, но с потайным дном темной глубины, на устах детский лепет, а в изначалье горла — всплески бездны, взрослой, как мирозданье.

По этой аллее они гуляли, он все был неловок, и она споткнулась — о, ужас! — не был ли при этом поранен ее башмачок? Нет, слава богу, нисколько, вот на этой скамейке, обитой зеленым, он гостил, целый и невредимый, видите подпалину на увядшей зелени? — это он потом поцеловал незримый след того башмачка. Вот как было чудное мгновенье его жизни, ставшее для прочих людей чудной вечностью наслаждения.

Тогда тот случайный и небрежный гость — помните, я говорила, что такой сыскался? — обратился в экскурсоводу и сказал приблизительно вот что. Все это нам и без вас известно. Но не кончилось же на этом дело, были у них другие мгновенья! Прошу внести ясность в этот вопрос для сведения вот этих доверчивых и наивных граждан.

Та, маленькая, со лбом и указкой, выдвинулась впе-

ред прыжком, на который не имел права Данзас, и, обороняя уязвимую хрупкость, чьи изящные очертания сохраняет маленький жилет на Мойке, стала в упор смотреть на противника, пока он не превратился в темный завиток воздуха, вскоре развившийся в ничто. Даже жаль его, право, — разве что пошлый, а так безобидный был человек, как, впрочем, и победители роковых поединков, за смутное сходство с которыми он поплатился.

Та, о которой речь, хоть речь, как всегда, о Пушкине, жила в пристройке к длинному несуразному барскому дому, не однажды переделанному, горевшему и опять живому и здоровому. Некогда здесь обитало семейство, расточительное на дружбу и гостеприимство, возглавляемое просвещенной, пылкой и снисходительной маменькой и теткой. Барышень, своих и приезжих, всегда было в избытке, был и брат, резвый в шалостях и рифмах, не любимый мной единственно из упрямства и своеволия. Все это летало, лепетало, шелестело громоздким шелком, пело, пререкалось по-французски, было влюблено в Пушкина и любимо, дразнимо, мучимо и воспето им.

По вечерам из пристройки нам было слышно, как за стеной вздыхают одушевленные вещи, клавиши позванивают во сне, плачет заводная птичка, постукивают разгневанные или танцующие каблуки, спорят и любезничают голоса. Когда они уж очень там расходились, владелица указки строго глядела в их сторону — я знала, что она пылко ревнует Пушкина, и справедливо: он был ее жизнь и судьба, но, нимало не заботясь об этом, предавался дружбе, влюблялся, любил, а когда стоял под венцом, был бы вовсе бел лицом, если бы не его неискоренимое африканство.

Не от этой ли непоправимой тоски гуляла она вчера с приезжим бородачом, горестно запрокинув к пушкинскому небу юное старинное лицо? Впрочем, бородач в каморку не был допущен, и, когда нам уже не хватало свечи сидеть и разговаривать, мы услышали, как вошел Пушкин и уселся на табурет, подвернув под себя ногу по своему обычаю.

Вы скажете: это не Пушкин был! А я скажу: чьи же еще белки умеют так светиться в ночи, а губы темнеть в потемках, потому что кровь смуглее, чем мрак? К тому же в эту ночь пламенно белел Святогорский мо-

настырь, и прямо над ним дрожало и переливалось причудливое многоцветье, не виданное мной доселе.

Вы скажете: это северное сияние проступило из соседних сфер. Я скажу: пусть так, а все же не раз приходил, сиживал неподалеку и однажды совсем втеснился в наше братство, хоть и скучал от наших разговоров о его вездесущей и невредимой жизни и славе.

Но тут, как на грех, случилась из города золотоволосая гостья, не сведущая в пятистопном ямбе. Она забрала себе все пламя свечи и стояла — насквозь золотая, как гений, как вечная суть женственности и красоты. Она имела в виду проведать упомянутого бородача, а того, кто сидел, подвернув ногу, она не узнала, да он ей и ростом мал показался, но она за дверь — и он за ней, только их и видели.

Вы скажете: а может, это все-таки не наяву было, а в стихах, например? Я скажу: если житье-бытье и бои с неукротенным бытом — меньшая явь, чем стихи, как стану жить?

Чтобы окончательно запутать литературоведение, добавлю, что в ту недавнюю пору и в тех благословенных местах Пушкин был повсюду и на диво бодр и пригож — ведь это был октябрь, любезный его сердцу.

А может быть, дело просто в том, что Пушкин достанет на всех людей и на все времена, он один у всех нас и свой у каждого, и каждый волен обращаться с ним по своему доброму и любовному усмотрению, соотносить с ним воображение, чувства и поступки.

## ЗДЕСЬ ОН ХОДИЛ...

Здесь он ходил. Здесь смотрел. Здесь любил... Здесь записал. Написал!

Я смотрела маленькую картину... нет — картинку, видение...\*.

О тверских местах, где он, Пушкин, жил, любил, писал. И мне захотелось продолжить это нескончаемое

---

\* «Земля Тверская, пушкинские места» (режиссер А. Миронов, оператор В. Супрун).

раздумье о Пушкине, которое длилось и помимо наших усилий, как жизнь Земли, как непреклонный ход светил. Нельзя уличить природу в бездействии, в отсутствии времени года или заподозрить небо в отсутствии звезды: сейчас невидима, но есть же! Так и ваше, мое, общее наше национальное сознание нельзя застать врасплох, без присутствия в нем Пушкина. Его владения неисчислимы нашего знания и сознания, он присвоен кровобращением народа, да так и передается — из пульса в пульс, из поколения в поколение. Вот та старая-престарая женщина, близкая соседка Пушкина уже по другой, по псковской земле, да и по времени не дальняя его соседка — боюсь, нет ее больше поверх этой благословенной земли, давно это было. Я озябла на сеновале и вернулась среди ночи в дом. Женщина эта, истратившая глаза свои на долгое зрение, на слезы по сыновьям, по мужу и по всем, кого случилось ей пережить, увидела все же множество сена в моих волосах и — как она смеялась! И за этот отдых смеха и ночного веселья она четко заметила и полюбила меня, и долго шел мне привет из деревни Малы.

В ту позднюю осень, так похожую на эту тверскую, что на экране, избыток северного сияния достигал наших небес. Призрачно бледнели на стенах избы лица погибших и умерших. Невнятные эти снимки, изначально размытые непристальным фокусом, не снесли влияния времени, стали вовсе блеклы и слабы... Женщина, оплакавшая их и с тех пор впервые смеявшаяся той ночью, никогда не читала ни одной книги. Кем же приходится ей Пушкин, что и тогда, как всегда, не было сомнений в его явном присутствии, в необратимой неистребимости его краткой жизни? Был ли он для нее лишь наслышкой, особенно могучей в тех местах, слухом, которым земля полнится, который по всей Руси великой — сами знаете, что прошел и всегда будет идти? Да, и наслышкой и чудной легендой — о добром, о прелестном, о курчавом, в красной рубахе, терпевшем за правду, всех жалевшем, убитом злодеем и доньне жалеющем всех, у кого печаль. И все же Пушкина в ней было больше, чем сведений о нем, — столько, сколько благородно-живучей прочности, сколько несказанной речи, сколько ясного разума, не ученого грамоте, не имеющего изъяна темноты. Что ж, дело нехитрое — Пушкин и есть наша



речь, наша словесность, наша оснащенность разумом и совестью, в жизни и житье-бытье.

Ну, хорошо, а из тех, кто заботливо и неизбежно научен читать, всякий ли читает Пушкина? Вдруг нет, вдруг кто-нибудь не читает, знать не хочет, алчет иной выгоды, как будто есть более счастливая прибыль, чем прибыль Пушкина в нашей душе, все возрастающая по мере жизни? Кому не завидна эта корысть — пусть, не станем принуждать. Пушкин позаботился о том, чтобы не вовсе заглохла и одичала его душа, чтобы уста его детей открывались не для зла или вздора, а для сотворения родимой речи. У Пушкина достанет сил и времени, его столько, сколько нас — нынешних и грядущих.

И напоследок, на память о том, что Пушкин, как никто другой, держал сердце в доблестном напряжении возвышенного дружеского чувства, говорю: о други, о друзья мои, он, давший нам так много, живший так недолго, страдавший так сильно, — какое блаженство, что он родился!

## ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ...

Когда начинаются в тебе два этих имени и не любовь даже, а все, все—наибольшая обширность переживания, которую лишь они в тебе вызывают?

Может быть, слишком рано, еще в замкнутом и глубочайшем уюте твоего до-рождения на этой земле, она уже склоняется и обрекает тебя к чему-то, и объединяет эти имена со своим именем в неразборчивом вздохе, предрешающем твою жизнь.

Но что я знаю об этом? Сначала — ничего. Потом — проясняется и темнеет зрачок, и в долгом прекрасном беспорядке младенческого беспамятства обозначается тяжелое качание ромашек, где-то под Москвой, появляются другие огромные пустыки, и на всем этом — приторно-золотой отсвет первого детского блаженства. Потом, ни с того ни с сего, в Ильинском сквере, — слабый, голубоватый цвет мальчика, тяжело перенесшего корь, остро-худого, как малое стеклышко. Он умудрен и возвышен болезнью, и мы долго с важностью ходим, взявшись за руки. Из одной ладони в другую легонько

упадает вздох живой кожи, малость какая-то, которой тесно, — его последняя крапинка кори. Сквозь корь я с неприязнью различаю, что взрослых отвлекает от меня какая-то плохая забота, являются новые запахи и звук, чьей безнадежной протяженности тогда я не оценила. Наконец куда-то везут, и в ярком пробеле вагонной двери я вижу небо, короткую зелень травы, коров, и в последний раз понимаю, что все — прекрасно.

Потом — в темноте эвакуации, в чужом доме, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы. Давно уже, в крошечном «всегда», прожитом к тому времени, висят надо мной по вечерам два этих бормотания, слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно, я узнаю в звуках слова, а в словах — предметы мира, уже ведомые мне.

— Буря мглою небо кроет... — И вдруг такая беспроектная тоска, такая боль неуютна и одиночества, беспечного сознания защищенности и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, — что она может поделаться с великой непогодой над миром?

Потом наступает довольно долгий отдых какого-то безразличия. Бешеной детской памятью ты мгновенно усваиваешь даты и строки, связанные с этими двумя именами, смело бубнишь: «Великий русский поэт родился...», и все это придает тебе какой-то свободы и независимости от них. Во всяком случае так это было со мной. И только много позже ты обращаешься к ним всей энергией своего существа, и это уже навсегда. Потому много позже, что, кажется, человек дважды существует в полном объеме своего характера — в раннем детстве и в зрелости.

И вот приходит пора, когда ни о чем другом и думать не можешь, словно разгадываешь тайну. Единым страданием прочитываешь все сначала, но что-то еще остается неясным. Все исследования, все сторонние мнения вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей личности великого человека ты различаешь еще нечто — малое, живое, родимое, предназначеное только тебе.

Тобой овладевает беспокойная корысть собственного поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже неживую, жизнь.

...В Царскосельском парке с ним нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. Он так осенил и насытил собой эти деревья, небеса и всды, статуи, разумно белеющие среди зелени, что все это не выдержало вдруг избытка его имени и радостно выдохнуло его мне в затылок. И вдруг, в радостном помрачении рассудка, сместившем время, я засмеялась: слава богу! один еще бегаёт здесь, пробивая прочную зелень крепкой смуглостью детского лба, а тот, другой, верно, и не родился пока! Какое редкостное благополучие в мире!

...В ту ночь в Михайловском тишина и темнота, обострившиеся перед грозой, помогали мне догнать его тень, и близко уже было, но вдруг быстрый, резкий всплеск многих голосов заплакал над прудом, испугались бесшумного бега вниз. И я одна пошла к дому. Бедный милый дом. Бедный милый дом — столько раз исчезавший, убитый грубостью невежд, и снова рожденный детской любовью людей к его хозяину. Из него можно выйти на крыльцо, сверху глядящее на реку. Но лучше не выходить и не видеть того, что видно. Потому что река, скромно сияющая в просвете деревьев, и простые поля за рекой, не остановленные никаким пределом, расположены там таким образом, что легкие вдыхают вдруг боль и нет такого «ах», чтобы ее выдохнуть. Это есть твоя земля, но в таком чрезмерном средоточии, в такой высокой степени наглядности, что для одного мгновения твоей жизни это невыносимо много.

Но дом был темен и пуст. Где же его хозяин? В Тригорском, конечно!

Ученый и добрый человек разгадал мою чудную тоску и ничего не стал запрещать мне в ту ночь. Я взяла подсвечник, который был старше меня на двести лет, но прочнее и новее меня засверкал он тремя свечами. Я вошла одна в этот длинный, под фабрику строенный дом, более всех домов в мире населенный ревностью, любовью и тоской, — все здесь обожжено и заплакано ими. Медленно, медленно моих губ коснулся сумрак той осени — минута в минуту сто сорок лет назад. И тогда, остановив меня на пороге гостиной, маленьким нежным рыданием заиграл золотой голосок. Я не испугалась! Я знала эту игрушку — бессмертная птичка в клетке, умеющая

открывать жалобно поющий металлический клюв. Как тосковал тот, кто завел ее ночью и слушал один! А как затоскует он зимой. Буря мглою... нет сил.

Что же, он был там? Конечно. А я его видела? Нет, я осторожно пошла прочь. Если очень любишь свою тайну, я думаю — не надо заставлять врасплах ее целомудрие и доводить ее до очевидности.

Ну, а тот, другой, ради которого я вспоминаю все это и не называю, берегу в тишине второе и тоже единственное имя — долгое, прохладное, сложное на вкус. С ним пока еще не так плохо, но и радоваться нечему: ему минуло уже десять лет, а он рано узнает печаль.

Однако как летит время, особенно если ты, случайной кривизной памяти, попал в прошлый век.

О, еще много — четыре с лишним года от этого января и до того июля. Пока неизвестно, что будет потом. Только едва ощутимый холодок недоброго предчувствия, как тогда, вернее — как потом, в моем детстве, в эвакуации.

Эти четыре года, между 1837 и 1841, — самый большой промежуток времени из всех, мне известных. За этот срок юноша, проживший двадцать два года, должен во что бы то ни стало прожить большую часть своей жизни — до ее предела, до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть. Но этому юноше она нужна немедленно — он остался один на один с обстоятельствами великой поэзии, и они вынуждают его к мгновенному подвигу многолетнего возмужания. Разумеется, это естественная, единственно возможная судьба его, а не преднамеренное усилие воли.

И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, в любимой им легенде, путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — «за одну, но только полную тревог».

Итак: «Погиб поэт...»

Я знаю, это мое, несправедливое пристрастие — начинать счет с этого момента, с этой строки, но для меня — отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему. Я поздно спохватилась: остается лишь четыре года,

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одной быстрой мукой, одним порывом почерка написанная часть, потом — зачеркнуто, зачеркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нем. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и внизу. Потом — ясно, сразу написано: «Не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!» Ну да. Ведь это так дополнительно ужасно: погиб, все кончено, но еще, если представить себе, каким образом, — дурное, малое ничто поднимает руку на что? На все, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделаться.

И это — отдельно написанное, благородное, абсолютное, наивное, даже детское какое-то проклятье в конце.

Для меня — это последнее его стихотворение, оставляющее мне возможность обывательской растроганности: господи! а ведь он еще так молод! Дальнейший его возраст — лишь неважная, житейская примета, ничего не объясняющая в завершенной, как окружность, наибольшей и вечной зрелости духа, не подлежащей вычислению.

В спешке жажды и тоски по нему сколько жизни проводим мы среди его строк, словно локти разбивая об острые углы раскаленного неуютя, в котором пребывала его душа. В ссадинах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой звук порезаться, как об острие. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — «И верится, и плачется, и так легко, легко». О, знаю я эту легкость: все быстрее, быстрее бег нервов, все уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце, и бедная эта, живая оговорка: «Но не тем глубоким сном могилы...»

И еще очень люблю я в нем небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: «Пусть она поплачет... Ей ничего не значит». Это—как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораешь перевозбуждением оттого, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то белизны. И увидишь: долгое здание, приведенное в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнешь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не долго и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам так ярко белеют монастырь, маленький памятник и звезды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеей твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И все же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха все хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь, и видел все это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зренья, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращен сюда всевластным усилением любви. Там я и оставила его — он стоит там, облаканный южным небом, но хочет вернуться. И он вернется.

Но почему два имени сразу? Не знаю. Так случилось со мной. Недавно, в чужой стране, в большом городе, я и два человека из этого города, и один человек из моего города, стояли и смотрели на чужую прекрасную реку. И кто-то из тех двоих мельком, имея в виду что-то свое, упомянул эти имена. Мы ничего не ответили им, но наши лица стали похожи. Они спросили: «Что вы?» Я сказала: «Ничего». И выговорила вдруг так, как давно не могла выговорить: ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ.

И в этом было все, все: они, и имя земли, столь близкое к их именам, и многозначительность души, связанная с этим, все, что знают все люди, и еще что-то, что знает лишь эта земля.

## ЛЕРМОНТОВ

### ИЗ АРХИВА СЕМЕЙСТВА Р.

В Москве, на Красноармейской улице, живет и благоденствует семейство Р. Старшие Р. имеют взрослых детей и многих внуков, но их добросердечие и энергия не исчерпаны течением лет, трудами и заботами. В их скромном, радушном и несколько безалаберном доме всегда гостят друзья, а также друзья, родные и знакомые друзей, некоторые с детьми, птицами и животными. Молодожены, ожидающие новоселья, грустные гордецы, терпящие размолвку с домашними, беспечные приезжие разбивают здесь свои непрочные шатры и черпают живое благо из огромной суповой кастрюли. Некогда сюда забрел чужестранец, перепутавший адрес. В это время учились ходить близнецы, оснащенные специальным, быстро несущимся устройством, шаталась стремянка, вбивался гвоздь, на кухне за чисткой рыбы распевала актриса, без убытка расточая древнее серебро знаменитых бледных северных глаз. Стада маленьких добрых существ ластились к коленям пришельца— он замешкался, в совершенстве овладел русским языком, а когда прощался перед отъездом на родину, из груди его вырвалось короткое неблаговоспитанное рыдание, не принятое среди его соотечественников. Ко множеству детских фотографий в доме Р. прибавились изображения двух прилежных кружевных джентльменов, напряженно скрывающих от объектива выражение неслыханного озорства, подступившего к сердцу.

Не гнушайся этими лишними сведениями, любезный читатель. Как знать, может быть, и тебе придется жить под этим кровом, если ты не читаешь эти строки, примостившись где-нибудь вблизи упомянутой кастрюли.

Озирая разноробой здешнего многолюдья, невольно испытываешь тревогу за другие города и пространства. не пришлось ли им вовсе опустеть, чтобы послать сюда столько славных скитальцев?

Легко вообразить, сколько памятных вещиц и неприятельных документов осталось в собрании доброго и рассеянного семейства Р. В упаковочной картонке болгарского производства хранятся бумаги, писанные одной рукой, пренебрегшие заведомым выбо-

ром стиля и жанра, и несколько сторонних писем. Судя по этим записям, их безымянный автор сильно печалился по человеку, родившемуся более ста пятидесяти лет назад и жившему недолго. Сколько лет прошло, а он все печалился, любовь и досада припекали его вспыльчивый, недисциплинированный ум, и, несмотря на непоправимость прошедшего времени, он словно помышлял о спасении и мести. Случилось так, что я вольна распорядиться этими бумагами по моему усмотрению, и вот распоряджаюсь, придав им некоторый порядок для удобства благосклонного читателя. Что же касается авторства, то в нем можно подозревать любого из многочисленных постояльцев гостеприимного дома Р. Долгое время жила там и я (вместе с моею собакой).

За милость приюта, а также за целость и сохранность картонного ящика приношу семейству Р. мою почтительную благодарность.

## I

### СКУКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ В БАРСКОЙ УСАДЬБЕ

Как любил он прежде встречать в серебряном стекле свое пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной пропорции, приятная плавность линий и оранжевые усы драгоценного отлива. Глаза красиво помещены чуть навывкате в стороне от ума, не питающего их явным притоком, — светлые, бесхитростные глаза, надобные для зрения и общей миловидности, а не для того, чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах другого и противоположного устройства, и поныне опаляющих воображение человечества, когда-то он сделал следующую запись: «Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей».)



Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах— это грубоватость их предыстории, винные откупы обожаемого батюшки— и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шелковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.

Некоторые, особенно счастливые свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища пролады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой свое прельстительно молодое лицо, локон, припотевший к виску, сильную, жадную до воздуха шею— все это в отчетливом многозначительном ореоле. Стоял и смотрел, куда судьба, рыщущая в белых сумерках, не заметила молодца для будущей важной надобности. И еще в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на округлом повороте резко, наотмашь отразился в упорительном стекле: вперые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлогом челе мету неуголимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примерить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но еще половина лестницы оставалась ему, и выше крайней ее ступени ничего не будет в его жизни— то была вершина его дней, его Эльбрус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.

Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с капризным дамским комфортом, но зеркало, окаймленное тяжелым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении его было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бодрый, резвый человек, в свободную минуту пускавшийся шалить с маленькими дочерьми и сыновьями. Да, видно, вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в свои пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.

Отвлечшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но

и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые куртины пялили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скучные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило, только вершины гор и избыток звездного неба внушали неприятную робость, схожую с предчувствием недуга, посягающего на непрочную плоть.

Почты он не ждал и не хотел: через ее посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением принюхивающегося к святые его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передернуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протезе побледнел, словно от смерти.

Третьего дня соскочил с его дороги потертый, плюгавый господинчик, устремивший на него нелепую трагическую гримасу, в смысл которой и вчитываться не стоило. На белом свете толкутся тьмы таких бесцельных людишек, даже не помеченных для порядку разнообразием внешности. Точно такого же невежу встретил он давно, выйдя из несильной короткой тюрьмы на дозволенную целебную прогулку: тот так же тарашился, разыгрывая лицом целую драму, и долго не пил воды, брезгливо дожидаясь полной перемены минеральной струи. Третий близнец вмешался в толпу зевак при его венчании, выставя физиономию и натужно мигал, нагнетая в зрачки фальшивый адский пламень. Эти курьезные действия не предвещали браку добра, что вскоре и подтвердилось.

Он давно уже собирался выразить отпор всем нескромным задирам, а отчасти и собственной маленькой неуверенности, иногда крепчавшей до явного неудобства, и только ждал нужного дня.

Утром особенного дня, на который возлагал он большие надежды, он пробудился живей, чем обычно, сразу приглянулся серебряной Диане, приласкал усы и за кофею с такой отдаленностью соотносился с домаш-

ними, словно дивился и сострадал их незначительности и птичьему вздору речей. Сегодня он ждал от природы участия и подъема, но она смотрела в окно по-прежнему бесцветно и глупо, как белесая деревенская девка.

Словно побуждаемый свыше, строго прошел он в кабинет, присел к хрупко-громоздкому, французской работы, столу для умственных занятий и, обмерев от силы момента, плеснувшего за ворот холодком, красиво и крупно вывел вверху листа дорогой бумаги: «МОЯ ИСПОВЕДЬ». Далее — сбоку и мелко — «15 июля 1871 года, село Знаменское». И единым духом, без остановки: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли».

Так вот это кто. Вот зачем ему именно этот день. Как многие обыкновенные люди, он полагался на необыкновенность обстоятельств, чтобы спутать их с собственной заслугой. Роковая округлость даты должна была взбодрить нервы, продиктовать уму скрытый от него смысл. Он фатум приглашал в соавторы своей руке, чьим вкладом в дело был красивый, холеный почерк. И резво бежала рука.

«Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятли малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера».

Почти жизнь. Как сказать. Сам он проживет вдвое больше. Второму участнику происшествия и до этого неполного срока недоставало четырех лет. Но — бледнейте, грядущие литературоведы: ему памятли подробности! Затаим биение сердца и станем заглядывать за плечо, одетое стеганым домашним шелком.

«Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен...»

О, вот оно, сбылось! Не зря он ждал! Сторонняя сила причинила ему состояние, в котором он не имел опыта и которому названия не знал, а это было вдохновение, взлет в чужую пугающую высь, откуда он ясно увидел, что ржавый вкус, и тревога, и вялое ожидание облегчающей перемены — все это было близость его собственной смерти, очень существенной и трогательной до слез. Он не отшатнулся от этого откровения, а даже усугублял его, немного любуясь собой и тайком заго-

варивая судьбу: может, и не сбудется, да и не теперь же, немедленно, ему умереть, а выгода незаурядности, возвышающей его над беспечно живыми людьми, уже есть, и не им корить человека, сознающего предсмертие. Да ведь если он умирает, его столкновение с умершим кончено миром, они уже сравнялись, и никто не виновен. Он впервые примерил смерть к себе, еще совершенно живому, и это было настолько больше и важнее всего, о чем он собирался писать, что чувство стало убывать и остатком его он продолжил:

«Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел».

Он добросовестно отложил перо, затуманил глаза и тут же увидел требуемую личность, которая, как всегда, неприятно поразила его. Нервы его сразу обострились против фантазеров, теперь влюбившихся в эту личность за красоту собственных фантазий. Виновен ли он, что эта личность, обратная и противоположенная ему всеми недостатками и добрыми качествами, всю жизнь наступала на него, задирала, набрасывалась с дружелюбием, звала к Яру, зарифмовывала черт-те с чем, искала в нем пустого места для жгучих неблагоприятных выходов. Даже при вдруг кротком Лермонтове он ощущал неуютное беспокойство, как в горах, когда пейзаж притворяется идиллией, а затылок подозревает на себе прищуренный черкесский глаз. Он не умел отличать самолюбия от чувства чести, отчего площадь его уязвимости была искушающе огромной и требовала неуспяной придиричьей охраны. Еще в юнкерской школе он раз и навсегда предупредил, что с ним шутить нельзя.

Если бы Лермонтов искал себе убийцы или, напротив, опасался его, он бы вспомнил, как озорничала предводительствуемая им «Нумидийская конница». Как оседлавшие друг друга сорвиголовы, облаченные в простыни и вооруженные холодной водой, врываются ночью в расположение новичков и повергали их в смятение и сырость. Как один хорошенький юнкер, обычно имевший в лице простодушное выражение девичьего недомыслия, насупился и напрягся для боя, и лицо его, побелевшее целиком, вместе с глазами, не умещалось в

игре и не сулило пощады. Главный нумидиец засмеялся и завернул эскадрон. Фамилия победителя была Мартынов. А это вам не Есаков, которого Лермонтов продрознил всю осень сорокового года (в Чечне) и всю последующую зиму (в Ставрополе), однако не был за это убит. Есаков: «...он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл».

Все их приятельство, общие гостиные, обеды, карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее неудобство, от которого он и теперь не мог отдохнуть. Он тратил на один предмет одну мысль — так же просто и четко, как обходился одним глазом для прицела, и эта экономность ума предредила исход их долгих отношений. Лермонтов же явно не умещался в одно мнение, рассудок не попевал за ним и терпел эту неудачу как новое маленькое оскорбление. Всей этой зауми Мартынов, разумеется, не знал, но у него были и другие, известные ему, причины быть недовольным. Начать с того, что он считал красоту или хотя бы благообразность неприменимым условием порядочности. А Лермонтов назло ему был дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шел к седлу, даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-мужицки, а по-разбойничьи, — не говоря уже о его зверских прыжках и шалостях! Мало этого — он таинственным образом заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало. Главное же было в том, что при нем Мартынов начинал сомневаться в своей безукоризненной приглядности, в правильности туалета, в храбрости скакать по горам, в находчивости вести беседу и — в крахмальной опрятности совести.

От Лермонтова сквозило или пекло, что составляло целую лихорадку, и он скучал, если не на ком было ее выместить. Когда брошенный Лермонтовым полтинник упал решеткой вверх, в пользу каприза, Пятигорска и гибели, в чем, скажите, виноват был Мартынов? Он мирно спал, когда явился за ним чернявый Найтаки, державший гостиницу: дескать, прибыли и желают видеть без промедления. Он доверчиво пошел, следуя выносливой привязанности: Монго лежал с львиной грацией

и ленью, а Лермонтов так и прыгнул обнимать и звать «Мартышкой». Несносность его крепла еще два месяца.

Но исповедь предполагает осуждение себя, а не других, и он силою стал наводить мысль на хорошие черты Лермонтова, похвалы которым он и не думал скрывать. Первыми в их списке были: очень белые, удобные для насмешника зубы, даже слишком крепкие и сильные для дворянина, и неизменно безупречное белье. Следовало одобрить и халат цвета тины, опоясываемый снурком с золотыми желудями на концах. Хваткие руки ниже запястья — благородной формы и белизны, ладони свежие, с примечательным раскладом линий, по цыганской грамоте — неблагоприятным. Мартынов кочующими и прочими племенами гнушался, вещунов избегал и ладонью разбрасывался с предосторожностью, потому что усвоил и передал фамильную — лучше бы сказать по-французски! — потливість, относящуюся не к исповеди, а к нашему злословию. К достоинствам Лермонтова относились также: превосходная ловкость в обращении с оружием всех видов, даже и с рапирой, не давшейся Мартынову из-за чрезвычайного страха щекотки, точное и смелое чувство лошади (при некрасивой посадке), замечательная легкость в танцах. Кабы не преувеличенные им до крайности, могли нравиться в нем общие для гусара отличия, в ту пору еще соблюдаемые. Так, он несколько не щадил денег (правда, не был учен нуждой), в удалом кутеже оставался трезв, лишь бледнел и темнел глазами, был беспечен к опасности и, хотя мало кого любил, любого мог заслонить в походе (отчасти из-за своего фатализма). И все же хорошим офицером он быть не мог, так как не терпел подчиняться, не скучал о наградах и вынужден был примирять выдающуюся храбрость с непреодолимым дружелюбием к строптивым инородцам, населяющим Кавказские горы. Да и дурное сложение не обещало успехов ни в кавалерии, ни тем более в пешем фронте.

Тут он осекся, вспомнив о докучливых ревнителях лермонтовской славы, движение которой во времени его удивляло и беспокоило. Он не знал давнего рассуждения Т. А. Бакуниной, грустившей о нравах слепого и неблагоприятного общества, но с начальной его частью прежде мог согласиться: «Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал...» **Ав** все оберну-

лось иначе, и он взял более современный и ученый тон.

«Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека».

К нему самому как раз этой стороной своей личности Лермонтов совсем не оборачивался, да и от других норовил ее скрыть за видимым легкомыслием и шалопайством. Он и с Белинским не хотел вначале серьезничать, дурачил и мучил его до болезненной вспышки щек и, кажется, очень был доволен, что сумел-таки произвести тяжелое и даже пошлое впечатление, отпраздновав эту победу резким смехом. И только в ордонанс-гаузе не смог утаить себя — и как счастлив, как влюблен сделался пылкий Белинский, не когда-нибудь через сто лет, а сразу, немедленно постигший, с какой драгоценностью имеет дело, и оповестивший о ней с обожанием, принижением себя, с восторгом.

Лермонтов и для шахмат искал только сильных партнеров, особенно отличая поручика Москалева (да и того обыгрывал). В более таинственные и деликатные игры ума Мартынов и вовсе не мог быть приглашен и не находил их занимательными. А все же он и сам знал об этом общеизвестном уме, что он, точно, есть у Лермонтова, — и по убедительной наслышке и по своему почтительному доверию ко всему непонятному, утверждавшему его причастность к мыслящему кругу. Так хорошие жены вяжут при мужской беседе, не вникая в ее смысл и пребывая в счастливой уверенности, что все это очень умно и полезно для общества, в чье умственное паренье и они сейчас вовлечены.

Хорошо, что автор исповеди не может через наше плечо увидеть этого неприличного сравнения! Он твердо знал и любил свою принадлежность к полу метких стрелков, стройных наездников, бравых майоров (в отставке). А ведь было в нем что-то дамское, что разглядел за усами капризный коварный ангел вольского происхождения, толкнувший к нему балльным веером теплый воздух дурмана, заменяющий твердое «эль» заманчивым расплывом голоса и взятый им в жены. Не то чтобы она стала ревновать его к флаконам, атласу и книжкам, галантно обращенным именно к читательницам, но, после недолгой приглядки, возвела себя в чин грубого

превосходства и на все его соображения отвечала маленькой улыбкой сарказма и нетерпеливым подергиванием башмачка — и это, заметьте, не только тет-а-тет, но и на виду у посторонних.

Мартынов не отрицал пользы глубокомыслия, но, если очень умничали при нем, он томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного лба, поврежденного морщиной недоумения. Застав его лицо в этом беспомощном положении, Лермонтов взглядывал на него с пристальным и нежным сочувствием, но тут же потуплял глаза для перемены взора на дерзкий и смешливый. Оба эти способа смотреть на него равно не устранили Мартынова. Тем не менее он продолжил:

«Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод...»

С наивностью, которую в нем многие любили, он ни в какой мере не соотносил себя и то обстоятельство, что молодость осталась основным и окончательным возрастом Лермонтова. Что касается до положительной оценки его как писателя, то лукавил он лишь в том, что вообще пустился в это рассуждение — для необходимой поправки затаившимся недругам. Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя описания природы и другие длинноты, он очень даже читал, поощряемый естественным любопытством просвещенного человека, а еще более — необоснованными наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а княжну Мери, что и вовсе глупо, — с сестрой Натальей Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не одобрял общей, предвзятой и искаженной картины той жизни, которой сам был не менее автора свидетель и участник. То, что во главу не только романа, но общества и века поставлен был озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно приукрашенные и все же неприятно знакомые черты, казалось ему нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал, что совпадает во мнении со своим августейшим тёзкой, с той разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к Лермонтову он был извещен и оценил ее чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя



к столь сильному монаршему чувству, из излишков которого получилась мимолетняя благосклонность к нему самому. Государь, в свою очередь, не знал, что по художественному устройству природы имеет близкую родню в артиллерийском майоре, с той разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на общегосударственные опасения.

Читал он и другие произведения Лермонтова. Те из них, которые были ему понятны, он считал простыми и незначительными (что ж мудреного слагать рифмы, он и сам их слагал), а более трудные и возвышенные могли быть отнесены к поэзии, да он не был до них охотник. Вольнодумство, сверх обязательной, принятой в его кругу меры, на его взгляд, никак не сочеталось с гармонией. Ему случалось слышать, как Лермонтов, не сдержав или принудив себя, говорил вслух свои стихи, но тогда Мартынова отвлекало и настаивало лицо Лермонтова. И он опять начинал ждать этого, сначала страдающего, а потом веселого взора. Он не любил заставать на себе неожиданно мягкие, любящие и словно прощающие глаза Лермонтова, ненадолго позабытые им в этом выражении, — до скорого пробуждения зрачков в их обычном, задорно-угрюмом виде. И последнее мгновение жизни Лермонтов потратил именно на такой — ласковый, кроткий, безмятежно выжидающий — взгляд. И то, что этот взгляд не успел перемениться, было неприятно Мартынову, потому что такие глаза могли быть только у человека, который не помышлял о прицеле, не хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели. Это было неприятно, это было очень неприятно, но Мартынов стал исповедоваться не в этом, а в дурном отношении Лермонтова к женщинам.

Толковал он об этом и той, которая так выразительно подтвердила справедливость мнения о непреклонной гордыне, присущей полкам вместе с редкостною белой кожей. В ответ на досадные и неуместные расспросы он горячился, нахваливая свой, противоположный лермонтовскому, способ влюбленности, включающий в себя открытое обожествление выбранного предмета, восточную витиеватость речей и особенные посылки томного взора. Это вело к усилению саркастической улыбки, учащенному и злобному выглядыванию башмачка и

перелету глаз на потолок, где, высоко вознесясь над головой красноречивого супруга, молчал и злорадствовал прельстительный господин Печорин. В результате этой многословно-безмолвной распри он, постыдно мучась, стал относить выбор жены не к себе самому, а к тому, чье присутствие в его судьбе оказалось непреодолимым и нескончаемым. Приметы других людей не исчерпывались чином, титулом, занятием и требовали личного уточнения: тайный советник — какой? — Беклемишев, князь — какой? — Щербатов, поставщик — какой? — Френзель. Даже про самодержца всея Руси можно было спросить: какой — почивший в бозе или царствующий ныне? Его же роковое значение было единственным и сводило на нет значение имени, сопровождавшего развитие многих поколений. Он был — такой-то, убийца Лермонтова, и она стала — такая-то, жена убийцы Лермонтова. Впереди маячили такие-то: сын убийцы Лермонтова, внук убийцы Лермонтова, и так до скончания ставшего безымянным рода. Между тем он знал, что убийцами бывают нехристи с большой дороги, душегубцы, лютые до чужого богатства, всклокоченные маньяки. А он был благородный человек, христианин, офицер, имел дом в Москве, поместье, слуг, лошадей, столовое серебро, изрядную французскую библиотеку, превосходный гардероб и никак не мог быть убийцей. Вначале он не тяготился этим определением — оно шло к его белой черкеске и черному бархатному бешмету и как бы проясняло наконец их таинственный оригинальный смысл, оказавшийся совсем не смешным, а величественно важным и печальным. В пору плохих ожиданий, гауптвахты, следствия он делал столь сильное впечатление на дам, что шестнадцатилетняя Надя Верзилина едва не лишилась чувств, завидев его на пятигорском бульваре под стражей сонного и боязливого солдата. Старшая, Эмилия, больно поддержала сестру за локоть и учтиво залепетала о том, о сем, далекими кругами обходя главное, а оно во все ее глаза смотрело на Мартынова, — он улыбнулся снисходительно и скорбно и пошел прочь. В этом ореоле явился он в Киев для церковного покаяния, мысленно примерял его, снаряжаясь на балы, им нечаянно обманул белейшую польку, согласную на любую опасность, кроме скуки, из которой она вышла благополучно — бывшей женой убийцы Лермонтова. Он страдал и простил.

Вот он сидит, освещенный убывающим пеклом июльского дня. Последние тридцать лет не прошли ему даром: победневшие волосы далеко отступили ото лба, в щеках близко видна подноготная сеточка отмершей крови, ему мало осталось жить (он не знал: четыре года). Смилуйтесь над ним — он не похож на убийцу. Матушка, голубка, провидица, она-то гением любви всегда вблизи Лермонтова страшилась за чад своих, зорко смотрела за дочерьми, особенно за Натальей, а надо бы держать сына, жадно притиснув его голову к себе, к охраняющему теплу, в котором он так беспечно спал до рождения. Еще в сороковом году она писала ему на Кавказ: «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык...» Он читал это письмо в застарелом зное, размытый целебной силой воды, ему хотелось Москвы, еще не освоившей лета, только что в сирени и кистея, дома, населенного барышнями, сквозняками, гостями — под четким приглядом материнских глаз, и в молодости очень трезвых и способных к счету. После кончины батюшки, постигшей их в прошлом году, маменька словно увеличилась телом, окрепнув для одиноких вдовьих забот, и глядела не дамой, а будущей тещей, свекровью и бабушкой. Он с неудовольствием видел, как вместо него Лермонтов одолевает лестницу своими крепкими скачущими ногами и ловко склоняется к руке, для него чужой и безразличной, а для Мартынова желанной и лучшей. Как он, может быть, целое мгновение осмеивает ванильный запах и деловую прочность этой руки, а матушка неприязненно глядит на его голову, помеченную светлой шельмовской прядью. Оба они успевают пригасить и поправить лица к началу любезной беседы, и уже слетаются со всех сторон шелест, щебет, каблучки и оборки. Или воображал, как Лермонтов входит к сестрам в ложу и Наталья долго не оборачивается, подвергая его веселому взгляду голую, вдруг озябшую спину и всевидящий край милого напряженного глаза. Привлекательность, радостная и необходимая в других женщинах, в сестрах казалась ему рискованной и обреченно-беззащитной, а применительно к Лермонтову требующей неусыпной старшей опеки. Это сильное чувство, разделяемое матерью, он не использовал для своего удобства во время печальных объяснений: нет, злобы не питал, пре-

длога для ссоры не искал. В то последнее лето язык Лермонтова был таков, как указывалось в письме, и еще хуже. Нервы Мартынова, ошетилившись для защиты, затвердели в этой оборонительной позиции и очнулись только тогда, когда Лермонтов лежал на земле под дождем, а сам он вслепую скакал к коменданту. Но не в злоязычии винил он Лермонтова, а в том, что он завлек в свою сильную предрешенную судьбу постороннего человека, чей путь лежал мимо, но его позвали — он подошел, показал бездну — и она его втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная «Александром Македонским» и знаменитая не менее полководца, иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — он вольничал с небом, накликал на себя его раздраженное внимание, сам папоминал провидению о своей скорой гибели, и только когда все определилось и гроза откликнулась ему, он успокоился и стал говорить Глебову о жизни, о двух задуманных романах. В тесных отношениях Лермонтова с роком не оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкрутил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в первую очередь — Мартынова. Недаром все участники события вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких самостоятельных действий.

Он сознавал недостаточность этого мистического объяснения для пристрастных судей: если считать, что гибель Лермонтова была предрешена свыше (не уточняя степени высоты), то все-таки почему осуществил ее именно он, а не, например, Лисаневич, прижавший свою долю насмешек и склоняемый к мести? Лисаневич пусть как знает, а сам он знал публичной обиде один ответ и продолжение вызова кутежом в обнимку считал ниже чести. Да велика ли была обида? Ну, горец, ну, с кинжалом, и Наденька Верзилина засмеялась сквозь веср, а Эмилия рассудительно заметила: «Язык мой — враг мой». Не в «горце» и не в Наденьке было дело, а в том, что Лермонтов опять не считался с независимым значением его личности, с его избранной отдельностью, объявленной в романтическом и стилизованном облике. А потом — никогда не мог он предположить, что для огром-

ной смерти человека достаточно столь малого, меньше мгновения, времени, он только пальцем пошевелил — и сразу была одна смерть, без умирания, без единого, еще живого, движения, даже без последнего выдоха, сделанного уже по другую сторону вечности, при перенесении тела с тропы.

И вот Лисаневич давно забыт, а сам он, через тридцать лет после этой мгновенной и окончательной смерти, не может высвободиться из защемившего его тупика: он хотел не убить, а чего-то другого, но какое же другое поручение можно дать посланной в сердце пуле? Ему нужно было объяснить, что разгадка относилась к характеру Лермонтова, который как бы выманывал пулю из ствола еще со времен их юности.

«Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова».

Но он забыл, что прежде писал об этом иначе:

«Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял за собой».

Он стал припоминать Лермонтову его маленькие жестокости, деликатно доказывая, что тот всегда был ловким и опасным раздражителем гнева. Но ему уже скучно становилось. Лоб, истомленный дневной натугой, норовил отвернуться от бумаги к более близким и важным работам. Хотелось есть — не весело, по-молодому, а оттого, что надо же когда-нибудь есть. Но он еще написал: «Генерал Шлиппенбах, начальник школы...»

Это были его последние слова о Лермонтове.

## II

### ПИСЬМА

#### Первое (почерк автора записок)

Дорогой и глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

Как и все Ваши верные читатели, я люблю и благодарю Ваши «Сказки времени» — за все и за «Казнь убийцы», покарвавшую Мартынова долгим мучительным

возмездием: появлениями убитого Лермонтова в его доме и саду, в его убывающей жизни.

Не посчитайте ослушанием или сомнением в Вашей безусловно художественной правоте мое твердое убеждение, что Лермонтов не являлся и не снился Мартынову. Мартынову и до Сальери (во всяком случае, до пушкинского) — слишком далеко, хоть он и пописывал стихи, чья бедная нескладница все же не была его страстью и манией. Значение Лермонтова задевало его только как житейское неудобство для самолюбия. Его маленькое здравомыслие не допустило бы и не узнало видения и не приняло бы от него пытку. Для подобной муки его воображение и его совесть были слишком мало развиты. Может быть, именно его неодаренность, исчерпывающая и совершенная, как одаренность Лермонтова, предопределила несчастную связь этих имен в русской истории.

Но все это известно Вам лучше, чем мне, и я попусту расточаю Ваше время. Примите мою почтительную любовь и пожелание прочного здоровья.

Второе (почерк П. Г. Антокольского)

Дорогой друг!

Жизни Пушкина и Лермонтова настолько невероятны, так полны множества вариантов, непредвиденных и выходящих за пределы обычного человеческого пути, что здесь не оберешься удивления, восторга, печали и всех других чувств, мешающих трезвой оценке.

Лермонтов — обжигался и обжигал других. Такая ж острота была в его героях: в Печорине, Арбенине и прежде всего — в Демоне. При всех неустанных и доскональных исследованиях, Лермонтов — одна из самых волшебных сказок, раскрытых навсегда и никогда не досказанных до конца.

Что же до его убийцы, то скажу прямо: моя сказка об его казни вообще не должна была быть написана. Никакие домыслы и вымыслы об этом пустом месте, об этой пропавшей грамоте — просто не нужны. Мартынов сгинул так же, как Дантес. Оба они случайны, как соседи в вагоне. А жизням Пушкина и Лермонтова конца не предвидится. Только это есть и будет всегда — аминь во веки веков. Нам остается радоваться их присутствию

**и** учить радоваться всех, кто придет после нас. **Насчет** Мартынова можно выдумать множество концов. Но если правда, что люди или само время разорили и развеяли его прах, — это лучший и окончательный конец.

А как было бы хорошо сейчас поехать к Пушкину в Михайловское или к Лермонтову в Пятигорск, вновь найти их там и вновь искать повсюду!

Желаю лучших радостей, которых всегда вдоволь на белом свете!

П. А.

Третье (автору записок от неизвестного лица)

Эй,

вы повсюду разбрасываете ваши писания, в которых черт ногу сломит, и я кое-что прочел. Моя фамилия не Мартынов, но я слышал от бабки, что прихожусь тому Мартынову какой-то тридесятой родней. Мне это совершенно безразлично, но вам я с удовольствием об этом сообщаю. Не думайте, что если кто-то что-то пишет, он может хамить. Например, я бы с радостью проучил вас за «фамильную потливость», вернее, за вашу подлость, тоже, наверно, фамильную. Так что учтите.

Четвертое (ответ на предыдущее)

Милостивый государы!

Я еще раз невольно затрудняю Вас, обращаясь к Вам столь вычурным и архаическим способом, но Вы не оставили мне другой возможности, любезно сообщив о себе только то сведение, что Ваша фамилия — не Мартынов.

Не зная Вашего адреса, я вынужден с особенным усердием разбрасывать мои письма в надежде, что они снова попадутся Вам на глаза и Вы не преминете известить меня о всех условиях, угодных и удобных Вам для того, чтобы «проучить» меня или удовлетворить меня как должно.

Что касается Вашего удовлетворения, я специально ради него снесся с доверенным лицом из управления аптеки и теперь имею основание и удовольствие рекомендовать Вам польское средство «Дезодоро» как лучшее.

Засим — прощайте.

### III

#### ТОТ ЖЕ ИЮЛЬ, НО НЕСКОЛЬКО ПО-ДРУГОМУ

В том же июле тот же неказистый господин, который соринкой залетал Мартынову в угол глаза, объявился в совершенно другом месте и пытался проникнуть в покои князя Васильчикова, куда его не пустили — и правильно сделали. Плохой вид этого господина, не то, чтобы нетрезвый, а какой-то парящий, его платье, устаревшее до лысин и подтеков, позволили нижним лестничным чинам полюбопытствовать: какую нужду имеет он к их сиятельству? Дело свое незнакомец удержал в тайне, но не скрыл, что был обрызган грязью из-под копыт княжеского коня во время грозы тридцать лет назад. Ему тут же заметили, что за это время можно было бы пообчиститься и что та лошадь давно уже покойники и отвечать на его претензию не могут. Князю Александру Илларионовичу об этом маленьком случае не докладывали, а комат за шесть по сквозной анфиладе от его кабинета осведомилась: как быть с неопределенным просителем? Последовал ответ: ободрить деликатной наградой и отпустить с богом. Захудалый человек поупрямился и погордился, но—что было делать? — взял подаяние, заверил глупую челядь, что употребит его на помин чьей-то души, сошел с крыльца и исчез.

Тем временем Александр Илларионович Васильчиков, свежий, легкий и не поврежденный прибылью лет, задумчиво трудился при сильных настольных свечах. Острое внимание публики к трагическим делам давно минувших дней касалось и его — не так близко и больно, как Мартынова, но достаточно заметно. Среди исследователей, вернее, добровольных и запоздавших исследователей, отличался тщательный П. К. Мартынов, задорно окликнувший его в статье прошлогоднего журнала. Если Мартынов прямо выводился убийцей и с него, в нравственном отношении, были взяты гладки, то на князя Васильчикова распространялась пристальная двусмысленная вопросительность. Он был не только единственный живой свидетель, но был секундант Лермонтова, то есть последняя и важнейшая опора его жизни и чести. Жизнь была упущена беззаботно и сразу, после чего он принялся с большим достоинством оберегать честь Мар-



тынова — как свою. Поединку сопровождала известная неопределенность и темнота обстоятельств. Не в том было дело, что участие в нем Столыпина и Трубецкого — из разумных и благородных соображений — было скрыто от официального следствия, а в том, что участия никакого не было, кроме беспечного присутствия. Оставшиеся Васильчиков и Глебов в точности не проследили распределения своих ролей и обязанностей, сведя их к отмериванию тридцати шагов. По дуэльному кодексу секундант не должен был и не имел права заслонить собою уполномочившее его лицо, но предполагалось, что в нем достанет для этого невозможного жеста пристрастия и заинтересованности. Так что Лермонтов, окруженный друзьями, один из которых в него целился, у подножия Машука, как и всегда, был один-одинешенек.

Но в чем мог винить себя князь Васильчиков, кроме крайней молодости и проистекавшей из нее неосмотрительности всех участников, — ему самому шел тогда двадцать второй год? Он удостаивал своих критиков не исповеди — исповедоваться не в исповедальне было то же самое, что ходить нагим не в бане, — а внятного, делового и спокойного ответа. Тому же всегда он учил Мартынова, да не очень на него полагался. Он не ожидал, конечно, что все упрется в генерала Шлиппенбаха — что такое Шлиппенбах и при чем тут Шлиппенбах? — но и на что-нибудь совсем другое рассчитывать не приходилось.

Он писал быстро, толково, хорошо. Невинность Мартынова и его самого просто и ясно доказывалась все тем же несчастным характером, сопутствующим гению. Он тоже перечислял шалости, проделки и несносности, опуская те, от которых сам хлебнул горяшка, вплоть до последней дерзости, стоившей Лермонтову жизни. Он выразил было сомнение в справедливости столь высокой цены, но, сдерживаемый безупречной корректностью, зачеркнул эти слова. Картины общества и природы равно удались его перу. Осторожно и отважно упомянул он ту, опасную для Лермонтова немилость, которую только с большим преувеличением можно было назвать опалой небес. Сдержанный и независимый тон заметок соответствовал просвещенному уму и превосходной подтянутости духа. Смерть Лермонтова выглядела его собственным поступком, и возможные уточнения предостав-

лялись Мартынову. Так что в результате получался все тот же Шлиппенбах.

А невзрачный незнакомец давно уже сидел в трактире, одной рукой наливал себе угощения, а другой удерживал от падения свою никому не нужную голову. Иногда он встряхивался, взгляд его взмывал, руки освобождались для большого жеста, и на губах закипала невнятная гордая речь. Так что баба, выпущенная из грязных кулис для вытирания столов, оглядывалась на него с сомнением, пока не рассудила, что это, видно, актеришка бедный, выведенный из ума нуждой и вином. Но вокруг и другие театры разыгрывались — со слезами, пением и сильным вклеиванием губ в чужое, вдруг полюбившееся лицо.

Между тем наш плохонький человек говорил:

— Я, князь, не беседы с вами искал. Я искал пить с вами вдвоем и напиться, как свинья и свинья. Вы теперь один мне ровня. На нас с вами одна кровь. Вы соучастник ее пролития и я. Только вы и тогда были трезвы, а я пьян. Я действовал по службе, а вы — по дружбе. Я сам обрек мою душу бессрочной каторге, сто лет пройдет, а не кончится ее срок. Вы же теперь пишете, и я отсюда могу читать описание ваших миролюбивых усилий. Полноте, князь. Не в том ваша вина, что вы не слишком благоволили к вашему приятелю и не пеклись о его невредимости — насильно мил не будешь. А в том, что на этом основании вы не могли сказываться его секундантом, тем более что поначалу господин Глебов взял на себя эту роль. Э, да что теперь говорить. Единожды солгавши... вы, князь, и сами знаете.

Тут он занял уста питьем и умолк. Потом стал заглядывать себе за пазуху, в душную тьму, где таился и стесненно поблескивал маленький драгоценный предмет, посмеиваться на этот предмет и приговаривать:

— Ай да мадмуазель Быховец, ай да Катя! Одна только и осадил убийцу! Мартынка, говорит, глупый... ха-ха... ужасно, говорит, глупый Мартынка!

Но смех скоро сошел с его лица, он сидел неподвижно и молча, пока тоска и уныние не увеличились в нем до страсти и не вознесли его над нечистым столом для последнего монолога:

— Алексей Аркадьевич Столыпин, более известный как Монгол! Целое общество равнялось на вашу доблест-

ную высокородную осанку, и ни в ком другом не видел я такой вельможной и вместе добродушной стати. Про вас говорили, что вы образец красоты и порядочности для своего времени, и многие женщины оплакали вашу кончину под флорентийским небом. А я говорю вам, что в вас было ровно столько души и ума, сколько нужно для великолепного лоску. Что вы сквозь лениво разомкнутые пальцы пропустили, как ненужную воду, жизнь вашего родственника и друга. Что я из моего ничтожества смею звать к вашему и что я презираю вас!

Устрашив и унизив таким образом благородную тень, обеспокоенную ради этого вздора, обличитель пал духом и разрыдался, укрывая лицо и некрасиво дергая плечами:

— Я и сам, по мере сил моих, созидал вашу гибель, но знать это вам не так было бы обидно, как слова мои о вашем товарище, — уж вы, снизойдя к моей муке, разом за все простите меня, Михаил Юрьевич, голубчик...

Эти самонадеянные и скорбные слова также остались без всякого внимания, потому что в такие места люди ходят для своих горестей, а не для чужих. А порядочные люди и вовсе не ходят, используя благодатные вечерние часы для составления важных заметок или чтения книг, пока музыка вылетает в окна нижнего этажа и придает сумеркам сада особенную красоту и печаль.

#### IV

Письмо пятое (автору записок от еще одного неожиданного корреспондента)

Не зная вашего имени и не сожалея об этом, довожу до вашего сведения, что моя фамилия, искаженная давнишней и писарской ошибкой, все-таки, сколько я знаю, указывает на мою принадлежность роду Васильчиковых. Но мое возмущение вашими домыслами носит не семейный, а объективный характер. Хочу напомнить вам, что Александр Илларионович Васильчиков, которого вы, злоупотребляя своей безнаказанностью, опутали недостойными намеками, был известный публицист, прогрес-

сивный деятель, хлопотавший о нуждах земледельцев и даже привлеченный к подготовке реформы 1861 года. Не сомневаюсь, что, несмотря на молодость и неопытность, а также на неуместные вольности и эпиграммы в его адрес, он был искренний и терпеливый доброжелатель Лермонтова и во время его дуэли честно соблюдал должные правила. Он тяжело переживал его гибель, что подтверждает его письмо к приятелю, приведенное в сборнике воспоминаний, который вы, как я вижу, изучили тщательно, но без пользы. Так или иначе, у вас нет улики против Васильчикова и других участников события, и вы вынуждены заменять их недомолвками, равными клевете, достойной наказания. Жена моя особенно оскорблена за А. А. Столыпина, ближайшего друга Лермонтова, первого переводчика на французский язык «Героя нашего времени» и безукоризненного, на ее взгляд, человека.

Подтверждаю мое возмущение.

А. Весельчаков.

#### Шестое (ответ)

Досточтимый и любезный А. Весельчаков!

Не умея отгадать, какому случаю обязан я Вашей осведомленностью в моих записках, прогневивших Вас, я должен на него же рассчитывать, чтобы несколько Вас успокоить.

Не слишком терзайте себя тяжкими переживаниями Вашего предполагаемого прародственника. В известном Вам письме, сразу за словами о Лермонтове: «Жаль его!» и прочими, следует грустное, но спокойное описание водяного общества, стекол, вставленных в окна гостиницы, и вечерней музыки. Это оставляет нам надежду, что за две недели, прошедшие после поединка, автор письма успел совладать со скорбью о понесенной утрате. В этом же документе А. И. Васильчиков объявляет себя секундантом Лермонтова, но, когда спустя много лет Висковатов попытается уточнить это обстоятельство, он даст ему уклончивый и невразумительный ответ: он не знал, интересы какой стороны ему вверены, и не мог оберегать их. Если у Вас есть на этот счет сведения, противоположные моим, я с облегчением принесу Вам мои извинения.

Пока я вынужден называть роль князя Васильчикова в судьбе Лермонтова неблагоприятной. Восхищаясь широтой, с которой Вы считаете Вашего подзащитного однофамильцем и родней, я готов незамедлительно ответить за мои слова, оскорбительные для Вашего семейства. Чтобы Вас не стесняло превосходство Вашей генеалогии, напоминаю Вам, что в старину татар-старьевщиков величали «князьями», а я имею в их почтенной среде предка, чья фамилия перешла ко мне без изменений.

Совет: несмотря на его смерть в Италии в 1858 году, бдительно остерегайтесь А. А. Столыпина (Монго). Пристрастие к нему Вашей жены уверяет меня в ее недовольстве Вашими внешностью и манерами. В отличие от своего двоюродного племянника, он может иметь живые копии и повторения и стать Вашим соперником. Всегда к Вашим услугам.

Седьмое (автору записок от незнакомой дамы)

Не ждите ответа от моего мужа — он солидный и уравновешенный человек. Повидайтесь лучше со мной! Ваше высокопарное хамство мне симпатично. Так и быть, уступаю Вам ни в чем не повинного красавца и соглашаюсь говорить о Лермонтове. Я — по образованию — психолог, и психология творчества представляет для меня особый интерес.

Итак — жду Вас и не скрываю нетерпения.

А. Весельчакова.

(На письме, видимо, оставленном без ответа,—приписка адресата:

Когда, меня избравши наобум,  
ты ждешь меня, прелестница психолог,  
я не страшусь, что короток твой ум,  
но трепещу, что волос твой не долгов.  
Я не ищу учености очей!  
Хоть в том не велика моя заслуга,  
я, психикой и логикой моей,  
спасаю честь беспечного супруга.)

## КАВКАЗ, НАШИ ДНИ

## (Продолжение записок)

Опоздав на сто тридцать один год, бродил я по Пятигорску и всюду видел только то, что опоздал непоправимо. Воздух маленького белого домика был неодушевленный и совершенно пустой — душа придиричиво его обыскала и отвергла как явную подмену, а на что, собственно, она надеялась? Я сразу ушел, хотя в саду трогательный запах цветущих растений ластился и цеплялся к лицу, словно обещал, что не все еще потеряно и где-то в его сложной сумме таится искомое дыхание. Но у меня было ощущение, что я мчался к кому-то сломя голову, а его не оказалось на месте, и потому к самому месту я сделался несправедлив и слеп. С тоскою уставился я на Машук, увенчанный телевизионной башней, распространявшей вокруг незримое марево дневных новостей.

Возле обелиска на месте дуэли теснилось множество людей, и твердый женский голос уже подошел к вечеру тринадцатого июля в доме Верзилиных. Я торопливо отступил к павильону, где, не уstraшенная величием смерти, длилась живая, насыщенная жизнь, поглощающая чебуреки и веселое едкое вино. Неподдалеку от меня поместились два человека, чье знакомство казалось недавним и неслабополучным. Первый — большой, распахнутый, с мелким угрюмьем исподлобьем и ленивыми мышцами на сильных белых руках — опекал и угощал второго — хрупкого, деликатного, может быть, кандидата наук, очень подавленного непрошеным покровительством. Глава их маленькой компании загрызал сыроватое тесто и пил портвейн. Милость его к собеседнику росла, и тот робел, давился, но кротко внимал благодушным наставлениям.

— Ты держись меня, не то свихнешься от скуки. Я тут седьмой год отдыхаю. Я все эти байки про Лермонтова не хуже доцентов знаю. Была тут одна экскурсоводка приятной наружности, так я притиснул ее в аллее для культурной беседы — плакала, а призналась, что все это из-за бабы произошло. Писал-то он хорошо, да выгля-

дел плохо: ноги кривые, лицо желтое (наука это, конечно, скрывает). А этот, который его потом убил, был видный, приметный мужчина, вот он и перебежал ему дорогу.

С этого момента его речи в меня стала поступать какая-то замечательная легкость, словно я спал и собирался лететь. Верзила рассуждал, а две боязливые, с бледной шерстью собаки из осторожного отдаления смотрели на забытый им чебурек, истекающий масляной жижей. Вдруг он обернулся и неожиданно резвым и точным жестом ткнул в собачью морду окурком — обе собаки отпрянули и скрылись. Дальнейшие мои действия совершались помимо меня, как если бы они были не поступком, а припадком, но размеренно и даже плавно. Я подошел, заботливо взял в одну руку скользкий расстегнутый ворот, в другую — раскаленный остаток сигареты и стал медленно приближать его к растерянному, неподвижному лицу. Я знал, чего я хочу, но я бы ужаснулся, если бы понял, чего я тогда не хотел: я не хотел, чтобы он топтал эту гору, жрал воздух, чтобы девушка, знающая наизусть столько стихов, плакала от ужаса в аллее, чтобы собаки, рожденные для доверия и любви, шарахались в сторону при виде человека, — я не хотел, чтобы он жил. Мне казалось, что все будет хорошо, стоит только свести воедино его лицо и окурок, но в это время кто-то повис у меня на руке, и все участники сцены словно проснулись. Первое, что я услышал, были слова мужа Веры. «Благородный молодой человек!» — с ними обратился ко мне тот, кто до сих пор удерживал мою руку с тлеющим табаком. Вид его поразил меня. Он был очень бледен, не бел, а прозрачен, как засушенный лепесток, зрачки казались чуть гуще воды, как талый снег, волосы слабы, как у новорожденного, ветхие плечи и ноги облачены во фрак и панталоны расхожего покроя начала прошлого века, в свободной от меня слабой руке колыхался антикварный цилиндр. Пока я озираю его причудливую и бедственную внешность, те двое исчезли, я даже не успел обдумать, почему я, вплотную приблизившись к целости и сохранности одного из них, не встретил никакого сопротивления.

Не зная, чему приписать странность моего усмирителя: цветению местной самодеятельности или беде одинокой нездоровой души, — я тихонько отнял у него мою руку и неловко спросил:

— Может быть, вы не откажетесь съесть что-нибудь? Или выпить?

Жидкость в его глазах увеличилась и чуть не перелилась через край. Он отвечал мне с большим чувством и со странным, смущающим разум акцентом — несомненно русским и в то же время никогда мной не слышанным:

— Если бы вы знали, кто и когда обращался ко мне в последний раз с таким же любезным предложением! Нет, вы не то подумали, — я не имею нужды в еде. Просто тот случай был для меня драгоценный и даже переживший всю жизнь мою, но пока я не решаюсь вам признаться.

Я испытывал при нем безвыходную тревогу, как будто должен был вспомнить что-то, чего не знал. Мы попрощались, и мне было заметно, что он долго и пристально смотрит мне в спину.

Лермонтов примечал, что среди извозчиков много осетин. Много их и среди таксистов. Мой был упрямейший из них и согласился везти меня после долгих и мрачных пререканий. Я хотел проведать Хромого Хусейна и к ночи вернуться обратно. Хромой Хусейн был мой друг, мой кунак и даже мой брат. Мы познакомились в Москве, где он постоянно волновался и ликовал, как на празднике. Он шел с банкета, с радостью вина и дружбы в душе, и я шел себе по улице, — он оглядел меня с пылкой симпатией и спросил: не казах ли я? Я отвечал, что нет, но он с этого места улицы стал дружить со мной и все-таки считать меня казахом. В детстве Хусейн (хрым он стал потом, после того, как упал вместе с лошастью) жил в Казахстане. Его отец сражался на фронте, а мать болела и не умела жить вдали от родины. Так что Хусейн с матерью стали совсем погибать, но казахи поделились с ними всем, что имели, и спасли их для долгой жизни, для встречи с отцом, для родных гор. Поэтому Хусейн так сильно и верно любил казахов. Мы не расставались несколько дней, и я любовался его изящной худобой, скучающей по коню, вспышками добрых глаз и неукротимой страстью к дарению. Между прочим, Хусейн особенным образом относился к Лермонтову и, наверное, в глубине души считал его отчасти казахом. Он с живостью одобрял его храбрость, способность к верховой езде и — это во-первых! — расположе-



ние к народам Кавказа, которые Лермонтов, как и все русские в то время, неточно отличал один от другого и часто смешивал кабардинскую и «татарскую», то есть тюркскую, балкарскую речь. Однажды Хусейн сказал мне:

— Ты не рассердишься, если я в чем-то признаюсь? Я рад, что Лермонтова убил русский. Не тому рад, что именно русский, а тому, что не наши его убили. Ведь царь на это надеялся. Если бы его убил горец, я не знаю, как бы я жил. Тогда война была, а в моем роду никто ни разу не промахнулся.

Вообще Хусейн глядел на Лермонтова не издалека, а из доверительной и задушевной близости. Он даже нарисовал мне план пространства, где носился и мыкался Демон, и получалось, что, направляясь в сторону Грузии и Тамары, Дух изгнания неминуемо пролетал над родным аулом Хусейна.

Но не везло мне в этой поездке! Хромого Хусейна я тоже не застал, он теперь работал на далекой туристической базе, и старые его родители уехали к нему на субботу и воскресенье. Все это сообщили мне его родственники. В первом ряду их собрания стояли зрелые и осанистые мужчины: Ишай, Даньял, Ахья и Сафарби. Во втором — юноши, все с красивыми и доверчивыми лицами. За ними, вдалеке, разместились женщины и малолетние. Говорил только Ишай — по-видимому, старший. Он же спросил меня: не казах ли я, — и мне жаль было сказать: нет. Вдруг все они пришли в волнение, те, кто курил, бросили и пригасили сигареты, стало совсем тихо, только Ишай успел шепнуть мне: Аубекир! Вот так Аубекир, подумал я, сразу же разделив общую робость и заведомое послушание. Аубекир был старый человек в крестьянской одежде, с лицом поразительной силы и гордости. Все это лицо, тяжелое и золотое при солнце, было один спокойный и достойный ум, окрепший в трудах и тяжелых испытаниях до совершенства, до знания истины. В этом лице и в этом уме не было места для пустого и тщетного движения. Он глядел просто и приветливо, но я был подавлен и стыдился всего, что знал о себе. Вдруг его лицо ослабело, расплавилось, растеклось, и я остолбенел от этой перемены, которая объяснялась тем, что, безбоязненно раздвигая старших родственников, вперед выдвигался мальчик, едва умеющий ходить, с крепким голым животом и круглыми

черными кудрями. Аубекир схватил его и жадно понес к глазам, и такая мощь нежности выразилась в его лице, которой достало бы целому многоопытному народу для раздумья о своей неистребимости, о прибывающей жизни, уходящей далеко за горизонт будущего времени. Аубекир вскоре ушел. Мне объяснили, что меня повезут в горы, чтобы отпраздновать мое прибытие. Это будет как бы благодарственный пир — «курмалык» — в честь того, что несчастье нашей разлуки кончилось. Аубекир ушел раньше, потому что не любит ездить в автомобиле, хотя у него есть «Жигули», — на этой машине отправимся мы, Даньял за рулем. Еще на равнине мы обогнали всадника, Даньял вежливо притормозил — тот слегка кивнул, позволил ехать дальше. Солнце, уже близкое к горам, отражалось в его лице, в смуглой шерсти коня. Аубекир прямо смотрел на солнце, на блеск снежных вершин.

Уже горы теснили дорогу. Чтобы увидеть деревце на краю обрыва, надо было откинуть затылок на спину. Я не видывал такой высоты. Лермонтов не мог быть здесь — в то время эти места были закрыты для пришельцев, и предки моих спутников зорко смотрели за этим.

Все это сделалось очень быстро. У реки, принимающей в себя отвесный водопад, расстелили на земле скатерть, развели огонь. Всем ведал Ишай. Если он был недоволен помощью, он мимоходом шлепал любого, и Даньял, сильнейший в их роду, по-детски прикрывался от него руками. Над шумом воды и огня главенствовал особенный звук тишины. При горах душа нечаянно подтягивалась, как при Аубекире. Аубекир приехал к концу пира. К нему почтительно придвинули баранью голову и наполненный стакан. Он ласково кивал головой на заздравные тосты, но ничего не пил. Я шепотом спросил: почему? Ишай ответил:

— Аубекир никогда не пил. Он видел много горя. Две войны, чужбина, смерть близких и смерть маленького сына — чтобы пережить это, надо иметь много силы и много работать. Глаза его всегда трезвые и сухие. Только две слезы побывали в них — когда увидел горы после долгой разлуки.

Остальные мужчины пили весело, но без развязности и суматохи, как и подобает здоровым, сильным и добрым людям. Единственный среди них городской жи-

тель — Ахья — был слабее других. Они ни о чем не спрашивали меня, но смотрели с любовью и поощрением. И я быстро и крепко их полюбил, хотя обычно схожусь с людьми не просто и не близко. Я подумал, что Лермонтову было бы ловко и хорошо с ними. Вот бы он удивился, узнав от них, что Бэла — скорее балкарка, чем черкешенка, а все остальное: ее красота, тоска, любовь и гибель — совершенная правда, происходившая неподалеку. И великий Карагез был балкарским конем, потому то по-балкарски его имя означает: «Черные глаза». У кабардинцев и черкесов другой, не тюркский, язык. Русские тогда относили балкарцев к татарам, а сами они называют себя «таулу», потому что «тау» — гора — стоит в заглавии их жизни.

В начале ночи я уже был возле Машука и смотрел на землю, когда-то принявшую кровь, текущую из сердца сквозь малиновую канаусовую рубашку. Вдруг прямо возле уха услышал я вкрадчивый голос:

— Михаил Юрьевич лежал не здесь. Упал он вон в том месте, а уж потом был перенесен вон туда — пожалуйте за мной, я вас провожу.

В темноте робко мерцал мой дневной знакомец. Он увлекал меня в сторону и второпях говорил:

— Я тоже имел несчастье несколько опоздать — впоследствии я не скрою от вас причины. Но кровь на тропинке застал я еще не остывшей.

— Да вам сколько лет? — спросил я с раздражением.

Он объяснил, что родился в девяносто шестом году, и я похвалил его молодость. Он заметно обрадовался и выпалил, даже подпрыгнув от молодого кокетства:

— Да вы не дослушали! В девяносто шестом году осьмнадцатого столетия — вот когда я родился в благородной семье и был крещен. Но имя мое в дальнейшем сам я оконфузил и осрамил и, отстранившись от своего рода, стал зваться иначе. Сказать ли вам — как? Да не будете ли смеяться?

— Скажите, — тупо ответил я. — Какой уж тут смех.

Он поклонился:

— Аспид Нетович Аплошкин. Вас я давно имею честь знать и даже способствовал вашей переписке с известными лицами. У меня и теперь есть письмо к вам от госпожи Весельчаковой, содержащее в себе приглашение к дружбе.

— В таком случае благоволите передать ей на словах, что я на дружбу не расточителен и ничем служить ей не могу. — Я уже освоился с неожиданным перепадом времени и был спокоен.

А почему бы и нет? Мартынов стоял вот здесь, выстрелил и не промахнулся. Но, если Лермонтова **нисколько и нигде нет**, к чему вся эта история? Зачем сидел я по вечерам при свече, не допуская других гостей, и утром пес дыбил шерсть и махал хвостом на узкий след гусарского сапога? Зачем чудесный тамбовский житель Николай Алексеевич Никифоров писал письмо, в котором **живмя-живехоньки и ненаглядно-румяная казначейша**, высватанная в селе Рассказово, и сухопарый казначей, и даже купец Воротилин, сдававший ему дом, — «приземистый, скорее — широкий, плоский, чем толстый, с бабьим голосом»? Зачем Федор Дмитриевич Поленов в Поленове, художник Васильев, архитектор Кудрявцев, инженер Миндлин, разделяя мою заботу, рылись в архивах и книгах для цели, о которой пока не время говорить, и ни разу не усомнились в насущном и близком присутствии Лермонтова? И если у Гейченко в Михайловском нет Пушкина, то что же тогда есть на белом свете?

Так-то оно так, а не послушать ли нам господина Аплошкина, старейшего среди нас?

— Я рано остался сиротой, учился на казенный счет, служил, бедствовал, а в 1840 году, по наущению темных сил, проиграл в карты не свои деньги. Меня простили, не побудили к посильной службе отечеству важного и тайного свойства. Обязанности мои были незначительные и вознаграждение скудное. В конце мая 1841 года получил я наставление следовать в город Пятигорск для бдительной и неприметной **опеки** над господином Лермонтовым, который временно уклонился от назначения в Тенгинский полк, якобы по нездоровью. По прибытии я тщательно проверил медицинские свидетельства и другие документы, касающиеся остановки господ Лермонтова и Столыпина для лечения... Номера этих бумаг, оказавшихся в порядке, были 360, 361, 805, 806.

Тут я его перебил:

— Простите, а прежде — видели вы Пушкина?

Рассказчик сокрушенно потупился:

— Хотел бы солгать, да не могу — нет, не видел. Я

при его жизни служил по другому ведомству. А вот су-  
пругу его, уже вдовою, видел выходящую из кареты. Она  
была женщина большой и трогательной красоты.

— Замечательная новость! — съязвил я. Я уже начал  
капризничать, и Аплошкин обиделся:

— Я вижу, вам мало того, что я более месяца был  
неотлучною тенью Михаила Юрьевича Лермонтова, ве-  
ликого поэта, украсившего собою русскую словесность!

— Ну-ну, я виноват, — торопливо поправился я, —  
продолжайте, сделайте милость. Только как же преус-  
пели вы в вашей неотлучности? Я полагаю, что в дома  
Чилева или Верзилиных вы не были вхожи?

Он всполошился:

— А лето? А открытые окна? А соблазны природы?  
А Елисаветинский источник, доступный всем стражду-  
щим? Да и внешность моя тогда не как теперь — не на-  
влекала на себя внимания. Впрочем, после одного слу-  
чая господин Лермонтов стал меня отличать и заботли-  
во кланяться со мной, чем не однажды удивлял своих  
товарищей и спутников. Началось это с того, что я про-  
следовал за ним в ресторацию, в ту пору пустую, поместил-  
ся вдальке и спросил себе какую-то малость. Господин  
Лермонтов от услуг отмахнулся и сидел, грустно и от-  
крыто глядя перед собой, опершись подбородком о спле-  
тенные пальцы, руки у него были белей и нежней лица.  
Вдруг он быстро подошел ко мне, и я встал. Тут сразу  
прошу прощения у него и у вас, что передаю речь его  
моими неумелыми и нескладными устами, слова его то-  
лько приблизительно были такие: «Милостивый госу-  
дарь, я очень виноват, что беспокою вас в вашем уеди-  
нении, но, может быть, вы окажете мне честь и позавтра-  
каете вместе со мной? Вы меня очень обяжете, если не  
обидитесь моим дерзким приглашением». Я не нашелся  
с ответом и в крайнем смущении последовал к его сто-  
лу — он шел сзади, не давая мне отступить. В большом  
возбуждении стал он заказывать вина и закуски, поми-  
нутно взглядывая на меня с лаской и вопросом: как мне  
угодить?—и хмурясь от смущения. Ему очень хотелось,  
чтобы я ел, да мне кусок не шел в горло, даже вино не  
лилось, хотя я уже не умел обходиться без помощи об-  
манной влаги. Он участливо спросил: нет ли у меня ка-  
кого горя? — и пожелал мне долгой жизни, прибавив:  
«Да я вижу: вы будете долго жить». В этом он, как ви-

дите, не ошибся. Потом, отряхнувшись от раздумья, заметил (опять я перевру его слова): «А хорошо бы долго жить. Ведь, как ни спешу, раньше времени ум не образуется. Говорят, человеческая мысль проясняется в зрелые лета, — а где их взять?» Тут его окликнули из дверей, он поднялся и проговорил быстро-быстро: «Не потому, что вы имеете нужду в деньгах, а потому, что они для меня лишние, — освободите меня!» Сделал по-своему и убежал, как мальчик. Деньги эти я вернул ему через его человека Андрея Соколова, а одну купюру оставил и ни в одной беде не расточил. (Он достал николаевскую ассигнацию, но в руки мне не дал, полюбовался и спрятал.) Видимо, я очень жалок показался ему, да я таков и был. После матери моей господин Лермонтов был единственный человек, сожалевший обо мне. А ведь я был его вредитель! Следуя указаниям, поступавшим ко мне через других лиц, я, завидев на улице Мартынова, крикнул ему французские слова о нем Лермонтова, хорошо известные еще в начале лета. А уж те мои соратники, которые много превосходили меня рангом, попеняли Мартынову на вялость его чести — вот-де прохожие и те величают вас горцем с кинжалом. Подступали они к Лисаневичу, да он не годился в убийцы. Но я уже стал задумываться, тосковать и искать стихотворений Лермонтова, хотя самый талант его был не по моей части — этим занимались люди более сведущие. И скажу вам, что стихотворения эти ранили меня, зачем это было так важно и просто? И как случилось, что эта сокровенная печаль не отвергла меня, не гнала в чужаки и изгой, а была совершенно мне понятна, как если бы я сам был человек и высокий страдалец, а не мелкая подслеповатая сошка? С тех пор стал я манкировать моим долгом и в службе моей явились пробелы. Так, однажды, я услышал, как Столыпин невзначай посетовал Лермонтову на Мартынова: «Опять наш Николай сморозил глупость». А тот ему: «Ты о каком Николае? Оба — наши, и оба умом не горазды, что с них взять!» Я об этой беседе в докладе не упомянул. Да ведь не один я ходил под окнами! Так что оба заинтересованных лица были извещены о сделанной им характеристике. Начиная с конца июня, я твердо ждал беды. Еще раз случилось мне говорить с Михаилом Юрьевичем в галерее. Опять он был ласков и застенчив

ко мне и осведомился: идут ли мне на пользу целебные воды? Вместо ответа я взмолился: «Уезжайте вы отсюда подобру-поздорову, не медлите!» Он улыбнулся и спросил: «Куда?» Вечером тринадцатого июля я наперед знал все, что будет. Весь следующий день метался я между Пятигорском и Железноводском, схватил на бульваре руку князя Васильчикова, он брезгливо отдернулся и не стал меня слушать. Бросился к Монго — он мне заметил, что дело это до меня не может касаться никоим образом. Пятнадцатого утром положил я быть на месте дуэли, пасть в ноги Мартынову или, что вернее, выскочить из кустов и сорвать ему выстрел — пусть лучше он меня порешит. Я восторженно приготовился к смерти и исповедался у отца Павла, служившего потом панихиду по Лермонтову с большой неохотой. Волнение изнуряло мои силы, и я прибег к услугам вина в армянской лавке. Я пил и вырастал над собой, над прежней кикчемной жизнью. Только проснулся я уже от грозы и пешком бросился к Машуку. По дороге я встретил князя Васильчикова — конь его поднял на меня воду и грязь. Я понял: все кончено! Далее я вполне предался вину, на служебные призывы не отвечал, пока на меня не махнули рукой и не забыли навсегда. Успел я еще сделать маленькую покражу. Михаил Юрьевич во время поединка имел при себе золотой обруч с головы молоденькой госпожи Быховец, оброненный ею в тот день и присвоенный им для шутки. После уже господин Дмитриевский взял этот предмет для передачи владелице, а я его выкрал и храню. Год еще болтался я в Пятигорске, пьянствуя и дразня бывших моих сподвижников. Когда прах господина Лермонтова повезли в Тарханы, я двинулся вслед. Там видел я, как вели под руки в церковь бабушку его Елизавету Алексеевну, и не приведи бог кому-нибудь видеть такое лицо. Оно было хуже и непробудней мертвых лиц, потому что те помечены отдыхом, а ее убили, но не дали забвения, и вот влекли под локти. Приметив меня, она оттолкнула поддержку и твердо спросила: «Кто ты таков?» Я молчал, но она вызнала сквозь мое лицо мою вину и прокляла меня на веки вечные — я склонился, как под благословение. С той поры нарек я себя Аспидом и повадился являться Мартынову, да это был тщетный труд.

Я еще раз прервал речь симпатичного мученика:

— А зачем вы при его бракосочетании озорничали? Он испугался меня?

— Откуда вы знаете?

Я усмехнулся. Он подумал и развеселился воспоминанием:

— Я имел цель смутить его и погубить, заживо спалить взглядом. Но добился лишь того, что он и от аналая воротил ко мне голову и растратил на меня глупые глаза свои. В жене его было больше живости. Она меня потом выглядела и хотела привадить деньгами, но мартыновской милостыни никогда я не брал. Все спрашивала о Лермонтове, и я уверил ее, что он был прекрасен собой — для меня он таков и был. Она мне покачалась, что ужасная слава ее суженого была ей лестной. Потом она к нему остыла и говаривала: «Да точно ли он совершил столь великое злодеяние? Какой он убийца?! Разве такой, что от него мухи мрут». Ей невдомек было, что так оно и водится на свете. Я ей про ее мужа много делал плохих намеков — надеюсь, не без удачи. А потом, что же, умирали люди на белом свете, рождались, а моей скорбной юдоли нет конца. Я уж совсем устал и соскучился, теперь вот развлекаюсь вашими трудами и путешествиями.

Я поблагодарил его. Солнце уже освещало высокий снег. Вдали с утренней силой заржал и пронесся конь. Всадник был коренаст, а держался в седле ловко и крепко.

... Вот пока и все о кавказских приключениях и бессмертном господине Аплошкине.

## VI

### ПРИВЕТ ФРАНЦУЗАМ!

Когда самолет уже задрожал и напрягся для подъема, я увидел, что по полю хромает Хусейн и сильно машет рукой. Да уж нечего было делать!

В самолете со мною соседствовал француз, посетивший Пятигорск для служебной надобности, а именно для изучения знаменитой минеральной воды. Ее превосходные свойства поразили его не менее, чем неукрошенный



избыток, образующий возле Эльбруса целые потоки и заводы. Заинтересовался он и Лермонтовым и всенародным паломничеством к месту его жизни и смерти. Но у него были некоторые недоумения. Он с обидой спросил меня, зачем русские иногда говорят, что в Пушкина по крайней мере целила французская рука, а с Лермонтовым было ужасней, потому что его убил соотечественник. Нужно ли тут примешивать Францию? Я его совершенно успокоил на этот счет, сказав, что по языку, духу и всему устройству Мартынов приходился Лермонтову таким же глухонемым чужеземцем, как Дантес Пушкину, и национальность тут ничего не значит. Ростопчина писала прекраснейшему французу Дюма: «Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку». И это пустяки, они ближе, чем однополчане, они — одно. Он осторожно намекнул, что русские, как ему кажется, склонны несколько преувеличивать всемирное значение своих поэтов — ведь непередаваемая прелесть их созвучий замкнута в их языке (Толстой и Достоевский, сказал он, — это другое дело). А вот он слышал, как один человек называл Лермонтова: «Высочайший юноша вселенной», — не слишком ли это? И не кажется ли мне, что, например, Гюго больше повлиял на общечеловеческую культуру, хотя бы потому, что французский язык не был закрыт для всех читающих людей прошлого века? Я возразил, что трудно высчитать степень влияния, ведь Толстой и Достоевский зависели же от Пушкина и Лермонтова. Я выразил ему мое восхищение Гюго и воспитавшим его народом и передал самый сердечный привет всем французам без исключения. Потом добавил:

— Мне остается еще та утешительная радость, что ни про одного великого русского поэта никто никогда не может сказать, что он был скареден, или хитроумен, или непременно хотел в академики.

Француз с легкостью согласился:

— О, да, русские вообще очень беспечны к материальной жизни. Надеюсь, вас не обидит мое предложение, что скромность вашей заработной платы несколько не влияет на ваше поведение?

Он был прав.

Так что обе стороны были вполне удовлетворены приятной беседой.

## VII

### ПИСЬМА, ВЕРНЕЕ, ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

(автор записок — художнику Васильеву)

Милый и дорогой друг!

Благодарю Вас за то, что Вы приняли в моей печали такое живое участие и подвигли к тому же других добрых и ученых людей. Во всем этом я узнаю Ваши талант, свободную изобретательность ума и великодушие.

Я всем сердцем оценил описание усадьбы в бывшей Тульской губернии, сада и дома над Окой. Для меня драгоценны сведения о медальоне с портретом Лермонтова, раздавленном каблуком, — чьим? Мстительным женским? Ревнивым мужским?

Мы к этому еще вернемся. Пока примите в дар стихотворение, вырытое из моих бумаг.

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,  
стекающий с горы лавиной многоцветья.

Начнемте же игру, любезный друг, ау!

Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:  
не спрашивать зачем и поманить рукою  
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,  
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведением двух  
кисейных рукавов, за блеском медальона,  
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!  
сокрывшего — и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,  
забыть грядущий век для сущего события.

Ау, любезный друг! Идете ли? — Иду. —

Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук  
Арсеньевой. — Какой? — Столыпной. — Ну, что же,  
храни его господь. Ау, любезный друг!  
Далекый свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды,  
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.  
И, как ни отступай в столетья и сады,  
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.

## VIII

### ВЕЛИКАЯ БАБУШКА

Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, пензенская помещица, влиятельная и властная барыня, брившая для поучения бороды крепостных, не доверявшая книжникам, говорившая про Пушкина, что он добром не кончит, несчастливая в замужестве, сгорбившая молодую дочь, лелеявшая единственного внука. Жития ее было семьдесят два года (1773 — 1845). Вот и все.

Да славится ее имя во веки веков!

Она одна дала Лермонтову всю любовь, которой не дал ему отец, уже не могла дать мать, еще не могли дать грядущие поколения, в которой отказали ему множество знакомых и современников. Одна — против вздорных, слепых, надменных, ленивых, алчных, желающих истребить и истребивших, каждый день, каждое мгновение, всей жизнью, не имеющей значения и цены без него.

И Лермонтов был любим, как только может быть любим человек.

Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет потом, — не больше той, одной, бабушкиной.

Мы всегда будем его видеть таким, каким она его видела: осененным божественным даром, хрупким, беззащитным перед обидой и гибелью и — несказанно красивым.

## IX

### ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ, ЛЕРМОНТОВ И ПУШКИН

Никакого литературоведения — я ему не учен, это дело не мое, а только зачем Вяземский жаловался, что навряд ли Лермонтов заменит России Пушкина? Замена тут вовсе ни при чем.

Пушкин еще был жив, а уже было понятно, что в России есть еще один великий поэт.

Появился Лермонтов — его молодости оставалось четыре года для достижения зрелости и совершенства. История не спрашивает у человека: сколько ему лет? Слишком мало для величия? — ступай, оставайся в безвестных способных юношах. Еще не было решено: велик Лермонтов или не велик, но он заговорил на языке Пушкина как на своем, и это уже был язык всей русской литературы. Вдвоем их стало больше, чем только двое: Пушкин и Лермонтов — это была целая и великая поэзия народа, определившаяся раз и навсегда.

Имена их неразлучны в русской памяти, сведены в единое средоточие всего родного.

А Лермонтов не встречался с Пушкиным, не видел, не хотел видеть — так нестерпимо любил. Думаю, что не раз ему говорили: иди, там твой кумир стоит у колонны, на берегу бала, или гуляет меж статуй и дерев Царско-сельского сада. Он вскакивал — и падал ничком на кровать, закрыв лицо, один со своею любовью. Принять на себя взгляд Пушкина — казалось грубой развязностью, лишним расходом его зрения, и больно было за свою недостаточность, и гордость мешала: да ведь есть же и во мне хоть что-нибудь?!

Пушкина оплакали люди и народ, но заступился за него всею жизнью один Лермонтов.

Большим, заметным, недобрим взглядом смотрел он в гостиных на Наталью Николаевну, вдову Пушкина. Она робко, с детской обидой — за что? — обращала к нему чудное, кроткое, вопросительное лицо, он отворачивался. Что это? Ревность безумия? — она, с глазами для разглядывания драгоценностей и кружев, а не для чтения, видела его каждый день, а я — никогда? Ненависть — за вину? или за неравноценность? Но она ни в чем не повинна! Пусть, Тамара тоже ни в чем не повинна, а жалко Демона, и вся ее красота и все добродетели не стоят волоса с его грешной головы. Или просто бедная месть за неказистую робость перед спокойной и знаменитой красавицей?

Он и сам понимал в этом чувстве только его силу — и смотрел.

И вот последний вечер у Карамзиных. При общем внимании и недоумении он не отходит от нее, ласково

глядит — не может наглядеться, почтительно и пылко говорит — и не может наговориться. Что это? Новая уверенность в себе после признания и успеха? Счастливый случай, открывший ему глаза на прелесть женского ума и грациозного сердца? Да уж не любовь ли безумия? Да, любовь — к тому, любящему ее так сильно, давшему ей детей, наполнявшему ее собой, создавшему ее из воздуха, взявшему ее в бессмертие под фамилией: Пушкина-Ланская.

Она потом рассказывала об этом дочери, радуясь, как чудесное дитя, заполучившее во власть очарования всех, и великого угрюмца, воздавшего должное не красоте, — это не ново! — а собственным достоинствам личности.

А он — прощался с Пушкиным, до встречи — навсегда.

И еще — вместе с Пушкиным и Лермонтовым, другой стороной сердца, — клянусь всегда любить писателя Соллогуба, имевшего величие сказать: «Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение; оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особым талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевел на французский язык Лермонтов».

## Х

### ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

(автор записок — критику В. С.)

Глубокоуважаемый В. С.!

Вы оказали мне честь, упомянув меня в статье, общего значения которой я, по роду моих склонностей и занятий, не могу оценить в должной мере. Ваша память обо мне тем более для меня почетна и лестна, что я не имею привычки и страсти к публикациям, и внимание критики для меня чрезвычайная редкость.

Я совершенно согласен с Вами в отрицательной оценке слабого и вульгарного стихотворения, некстати упоминающего имена Пушкина и Лермонтова. Единствен-

ное, что может оправдать меня перед Вами, это то, что указанное стихотворение, писанное в давнишней и непривлекательно-невежественной молодости автора, сознательно не включено в разбираемую Вами книгу. Так что огорчение Ваше — заслуга не моей, а Вашей энергии. Но все это для меня ровно ничего не значит.

Важно лишь то, что Вы в Вашей статье прямо и точно говорите, что мне «не жалко Лермонтова».

Я полагал, что Вы сами примете меры для наказания человека, в котором Вы предполагаете злодейское сочувствие убийцам Лермонтова. Не только такое обвинение, но даже такое подозрение заслуживает немедленного и решительного разбирательства.

Я настоятельно прошу Вас безотлагательно сообщить мне, каким образом могу я получить от Вас удовлетворение моей чести и совести.

Любые Ваши условия, кроме перевода бумаги, буду считать для меня подходящими.

Примите уверение и прочая...

## XI

### ЭПИЛОГ

На этом записки неизвестного обрываются.

## ЧУДО ТАНЦА

Как в детстве в день праздника — проснуться не завсегдатаем быта, а избранником судьбы, приближенным Елки, когда твои умыванье, одеванье, поеданье завтрака относятся не к тебе, а к придворным хлопотам о ее воцаренье. Не то же ли самое с Театром, возводящим нас в чин ребенка, ожидающего волшебства? Ты еще отмываешь лицо от недолгого сна, глотаешь кофейную гущу, борешься с предметами: ненужные рвутся за тобой, нужные норовят остаться — а между тобой и

---

Отклик на балет Р. Щедрина «Анна Каренина» с Майей Плисецкой в роли Анны. Постановка М. Плисецкой, Н. Рыженко, В. Смирнова-Голованова.

бело-алой, каменно-бархатной громадой шатра уже протянулся пунктир неминуемой связи, оркестранты вразнобой применяются к вашему единству и Та, ради которой — всё, уже бледна и еще раз испытывает соотношение ног и божьей милости. Одновременно где-нибудь в Салтыковке, при последнем издыхании сирени, рослая нескладная девочка запускает многоугольник локтей и колен в погоню за электричкой и, едва не обогнав ее, прыгает в вагон. На ней белое платье в черный горох с красным цветком из бумажного сада. Тебе нет до нее никакого дела, но отвращение того пунктира нащупывает ее в мирозданье и упирается в красный цветок. Солнце точно в зените, а ты опаздываешь, и затрудненное движение такси, не соразмерное со спешкой нервов, терзает тебя, как продирающее тела сквозь кустарник. Твое явление на солнцепеке меж белых колонн поистине величественно, к тебе взывает множество страждущих рук, ты наугад снабжаешь их чудом и таким образом на три часа помещаешь в угол глаза черный горох на белом фоне. Для лишнего блаженства спрашиваешь перламутровый бинокль у грациозного антикварного старца в гардеробе, упираешься локтем в бархат, в глубину времени, источающую привет-намек-упрек: при этих-то чудесах, при детском золоте Театра—зачем, возможно ли затевать злое дело или грубые помыслы, не проще ли предаться музыке, всегда повествующей о любви?

Пусть просвещенные и досточтимые ценители музыки обдумывают и говорят свои справедливые слова, мне следует знать свой шесток и не рассуждать о музыке, но обратиться к ней доверчивый лопухий слух. Тем более, что эта музыка умна, сильна, независима, не склонна любезничать со слушателем, впрямую растолковывая что к чему, и предлагает скорее раздумье, чем бессознательный трепет. Увертюра сдержанно и неболтливо уведомляет нас о значительности предстоящих событий, и торжественно обнажаются декорации — важные, лаконичные, с очень глубоким, угрюмо поблескивающим объемом, удобным для безысходной муки и редких ослепительных просветов радости. Спешу поздравить художника В. Левенталья (и заодно похвалиться во всеулышанье, что некогда мы занимались в одном Доме пионеров) — привет и bravo!

Все начинается при снегопаде, при грустных фонарях, с кружения снега и изящных силуэтов вокзальной публики — надо сказать, что все группы и множества людей — на перроне, на балу и везде по ходу спектакля — сплочены гармонией и играют свою, второстепенную роль по правилам первоклассного мастерства.

И вот черные горохи приходят в неистовое волнение и даже кажется, гремят в погремушке восторга — появляется Та, которой предстает любить и страдать. Ее объявляет единый влюбленный вздох огромного зала, но и без этого совершенно ясно, что это именно она, хотя она вступает в свой круг скромно, без восклицательных движений, в платье черней темноты. Высоко занеся над общим порядком острое, знаменательное лицо, она поигрывает почти нескладным избытком грации и заведомо прельщает внимание. Конечно же, это Та, в которой так сильно чувство судьбы, уже материализовавшейся в образе Станционного мужика (приблизительно того, чья многозначительная гибель под колесами паровоза предопределяет исход романа). Артист Ю. Владимиров играет эту реальную и мистическую роль под отдельные аплодисменты, с удачью таланта, усвоившего все классические и современные уроки, и, может быть, именно поэтому подчас кажется не столько зловещим, сколько привлекательным, не грозным роком, а милой нечистой силой, разбушевавшимся домовым, например.

Если страсть к балету не вполне отвлекла вас от памяти о знаменитой книге, вы легко можете представить себе, что происходит дальше, — с естественной поправкой на условность жанра, кстати, не обидевшего литературную основу ни развязностью, ни педантичностью воспроизведения. Все гибельнее и неизбежней сокращается пространство разлуки между Той, которая обречена погибнуть, и тем, чей поверхностный блеск с глубоким блеском осуществляет М. Лиэпа — безупречный, как всегда, и не больше Вронский, чем прежде. Но воля великого автора и не предписывает его громоздкого и незаурядного характера, он и первоначально значителен лишь как партнер, выполняющий поддержку в лучшем страдании и крайнем крахе. Все идет своим чередом, все тягостнее недоумевает чопорный муж, не



умеющий и вынужденный мучиться, — мне кажутся отвагой Н. Фадеечева его преднамеренно не балетные, заземленные движения: после нескольких быстрых, почти житейских шагов, означающих раздумье, нога нервно рисует на полу часть какого-то безвыходного круга, руки сомкнуты за спиной, в лице — демонстративно драматическое выражение, смягченное хорошо скрытым актерским лукавством: дескать, таков прием и я его блестяще выполняю.

И — первый триумф, назревший в конце несколько рационального и медлительного действия. Та, которая выбрала — любить, пришла сама, не оставила себе ничего, их лица сведены вплотную в опустевшей вселенной. Эта сцена так сильна, так целомудренна в своей неплатонической сути и так исполнена обволакивающего артистизма, что сослаться на быстрый холодок мурашек по спине проще, чем подыскать слова похвалы. Бумажный цветок рядом со мной распускается в живую плоть и отчетливо пахнет розой — и все в честь Той, для которой сегодня погибло столько цветов. Она еще надолго отдана вашему зрению — облаченная в разноцветные туманы, огромно-хрупкая, плавная, как сосуд, и резкая как разбитое стекло. Просияют бальные шествия, огибающие ее сиротскую отдельность, промчатся сверкающие, эффектно и остроумно решенные скачки, возвысятся своды надменного дома — и везде ей предстоит страдать, а вам — сострадать и прослезиться, когда она придет к покинутому сыну. (Правда, на этот раз уже не только по причине искусства, как это было в тот миг, когда она пошатнулась, раненная падением предполагаемой Фру-Фру, видимо, случившимся где-то над нашими головами, но и потому, что как же не прослезиться при виде живого, настоящего, чудного ребенка, вовлеченного во взрослые игры). Затем сгустится танец Рока, световые и музыкальные силы сольются в истребляющее железо (отчасти заглушающее невыносимую мысль о том — помните? — красном мешочке, который она почему-то не хотела брать с собой туда), и она падет ниц, обретя искомое совершенство несходства и неблагополучия. Горохи последний раз запрыгают над бьющимся сердцем.

Но подлинными драгоценностями, соединяющими

промежутки элегантно, дисциплинированного и холодноватого зрелища, останутся пылкие и мучительные диалоги двух влюбленных — «о свойствах страсти», возбуждающей прекрасное искусство.

Вы скажете, что все это не вполне совпадает с балетом. Но ведь и балет не вполне совпадает с романом. Пусть это будет нечто по мотивам балета по мотивам романа. Пусть это будет бедный бумажный цветок к ногам той, чей образ, помещенный в юные золотые зрочки, движется в сторону Салтыковки.

### СНАЧАЛА — МУЗЫКА..

«Сначала — музыка, но речь вольна о музыке глаголить», — все вертелось на языке две строки из стихотворения, автор которого по своему усмотрению и произволу как бы удостоверяет одновременно наше право рассуждать о музыке и бесполезность этого рассуждения: с красноречием музыки тщетно тягаться. Тот же автор неосторожно попадает в двойной тупик, поскольку в этой заметке речь идет о фильме, в котором речь идет о музыке.

Между тем, лишь великим поэтам удавалось выйти с честью из вечной схватки двух соседствующих, соперничающих, взаимно ревнующих стихий: звука и слова. И тогда на память человечеству оставались чудно дwoящиеся шедевры: музыка о музыке. Разумеется, наша задача сейчас — более деловая и скромная. Хотя человек в начале любой художественной затеи все-таки должен намереваться совершить чудо, а не заведомое что-нибудь так себе.

Итак, «Воспоминание о Шостаковиче» — фильм о великом музыканте. В Фильме о... всегда есть опасность видимой легкости. То есть доверчивые авторы подчас так полагаются на гений природы или человека, который собираются воспеть, что словно освобождают себя от творческих обязанностей, от усилий собственного таланта. Но художникам, и документалистам в том числе, никакие обстоятельства не предлагают такой поблажки. Конечно, природа или музыка безукоризнен-

по сыграют свою роль, но надобен еще особенный взгляд на предмет, сильное присутствие авторской личности. Вот и все, пожалуй, что можно сказать о единственном недостатке этого тщательного и поучительного фильма (сценарий Леонида Белокурова, режиссер Борис Гольденбанк, «Центрнаучфильм»).

Фильм, преднамеренно и благородно просветительский, растолковывающий, иллюстрирующий, обращенный к самой широкой, по-разному искушенной аудитории. Наверное, по нему, как по букварю, многие пытливые новички пытаются проникнуть в грамоту бессмертных симфоний. Подлинные же любители музыки и сами знают тайну, ведомую только им, — кстати, замечательные кадры фильма относятся к ним, к человечеству, внимающему музыке.

В содержании фильма — две драгоценности: музыка и живое лицо сотворившего ее человека. Застигнутый камерой врасплох или по договоренности, беззащитный перед помехой стороннего внимания, человек этот явно не может отвлечься, освободиться от того, что слышно лишь ему, по сравнению с чем все остальное — лишь пустяк, досадная малость житья-бытья. Его обнаженно-живущее, мерцающее, быстрое лицо: блеск, блик, тень — равно тому, что он слышит, и несказанно прекрасно. Слова же его трогательно сбивчивы, затруднены: ах, что ему все наши слова, это ли способ объясняться!

Речь о музыке, как ей и подобает, не то, чтобы уступает музыке, она и не силится с ней состязаться, скромно сопутствует ей, прилежно объясняя доходчивыми аксиомами то, что остается волшебным необъяснимым, заманивающим думать.

Если добычей зрителя станут волнение и мысль — лучшей удачи нельзя и пожелать авторам фильма.

## СЛОВО, РАВНОЕ ПОСТУПКУ

Спросили: каким представляете вы себе вашего читателя?

И я, пригасив зрение веками и ладонью, стала вглядываться в милый отвлеченный образ, творимый зрачком

по моему усмотрению. Уже под веками и ладонью брезжил свет предполагаемой лампы, затевались в окне приметы неизвестного города, прояснялось чье-то дорогое лицо. Когда это лицо, с пристрастием и обожаньем составленное мною из прекрасных черт и выражений, сбылось во всем великолепии, картина, видимо, изображала идеального в моем представлении читателя, и оставалось врисовать в нее том Пушкина или другую великую книгу, я в ней не была обозначена. С присущей мне витиеватостью я прямолинейно клоню к тому, что из читателей мне наиболее близки те, которые со мною как с читателем совпадают в главном выборе, — а я не из тех, кто зачитывается собственными строками. Совершенная правда, что чрезмерная похвала, выдвижение меня на недолжное место если и льстили моему грешному самолюбию, то все же внушали уму скуку и отчуждение. Так же трогала и пугала меня излишняя пылкость взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев, ищущих немедленного и тесного житейского общения, — я как читатель этого не понимаю. Почему-то это совершенно не противоречит тому, что среди иных взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев я обрела близких и необходимых соучастников жизни — как-то не насильно, само собою случилось. Впрочем, все это просто: между пишущим человеком и читающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

Если и была у меня нужда измышлять острашенный образ читателя, то лишь затем, чтобы полюбоваться лицом человека, склоненным над книгой, обращенным к тому, что в нашем сознании может быть озаглавлено именем Пушкина или соответствует смыслу этого имени в другом языке, в другой географии. Я, подобно всем, кому прихожусь собратом и коллегой, не только кровно и зависимо соотношусь с читателем даже без явных сигналов его внимания и участия, но получаю письма и едва ли не каждый день вижу его воочию во время выступлений или других, преднамеренных или случайных, встреч. Среди неисчислимых любителей поэзии есть, — пусть немного, пусть сколько-то, — тех, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Это значит лишь, что я разделяю с кем-то особенную страсть к родимой речи, к ее усугублению по

мере жизни и к неврежденной сохранности и что кто-то одобряет способ труда и жизни, которым я намеревалась этому послужить и не имела другой корысти. Способов столько, сколько поэтов, и куда я не преуспела в том, чтобы мой показался мне совершенным. Но я знаю, что тот читатель, о котором я говорю, полагает, как и я, что слово равно поступку, и сознает его нравственное значение. Та любовь к поэзии, которая оборачивалась благосклонностью ко мне, бодрит и укоряет меня и держит мою совесть в надобном напряжении. И вовсе безотносительно ко мне, особенно во время дальних путешествий, меня не раз поражала высокая просвещенность современного читателя.

И еще я видела множество людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении и был краше и больше моего, с ними связана я всею жизнью до последней кровинки.

Я надеюсь отслужить жизни, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг и видела доброту людей, которым сейчас, на рассвете, я так сильно, так сосредоточенно желаю счастья в Новом году и всегда.

1 января 1976 года

## ЖИЗНЬ ТИЦИАНА ДЛИТСЯ...

Человек, написавший в стихах о том, что он не слагает стихи, не пишет их, а сам написан ими, как всегда, сказал правду. Тициан Табидзе действительно являет собою измышление поэзии, ее шедевр, в гармонии объединяющий все достоинства без единого изъяна. Он отчетливо и прекрасно нарисован нами в белом пространстве. Нам предъявлена красота его черт, его доброта, его неуязвдаемая гвоздика в петлице, и роза на устах, которые никогда не открывались для тщеты, для хулы или для вздора. Этот человек словно желает показать нам, каков должен быть и каков есть поэт в человечестве. Он лишает

---

Выступление на вечере, посвященном Тициану Табидзе, в ЦДЛ  
29. X. 1976 г.

нас раздумий о совместимости гения и злодейства, он убеждает нас в том, что гений есть великодушие, благородство, доброта.

Сегодня много раз упоминалось драгоценное имя Бориса Пастернака, и вновь душа возвращается к нему, потому что встреча двух этих людей, замечательных не только потому, что речь России и речь Грузии вновь с нежностью и силой объединились, но потому, что их жизнь, их торжественная и доблестная дружба, оставляют нам на память о человечестве, о нашей принадлежности к человеческому роду, замечательный документ, который говорит о том, что люди все-таки прекрасны, и не следует винить их в жестокости, а наоборот, нужно дивиться их мужеству, долготерпению и умению спасти друг друга.

Переписка Нины Табидзе и Пастернака останется для грядущих поколений как свидетельство величайшего напряжения человеческой нравственности, человеческого ума. Меж бездной и бездной в мироздании дует сквозняк и задувает то одну, то другую свечу. Наташа Пастернак, дорогая, вот здесь внук Тициана, вот внуки Бориса Леонидовича Пастернака, чьи таинственные прекрасные лица обещают нам, что эта свеча не задута, что свет ее будет длиться во времени. Может быть, в чьей-нибудь бедной и скудной жизни бывает так, что смерть является самым существенным событием в судьбе человека. У поэта — не то. Он тратит мановение на краткую последнюю муку, и потом становится вечным приливом к нашему уму, способствующим нашему спасению. Жизнь Тициана длится в его внуках, длится в неиссякаемых гвоздиках, в цветниках человечества, длится в каждом из нас, кто расположен к добру, расположен к поэзии. Два этих дома — обласкают еще многих; дом Тициана в Тбилиси — все мы еще раз увидим картины Пиросмани, пианино, подаренное когда-то Борисом Пастернаком, и дом в Переделкине — тоже будет обязывать нас к доблести духа. Я прочту два стихотворения — одно Тициана Табидзе — «Маш гамарджвеба» по-грузински. — «Итак, да здравствует»:

Брат мой, для пенья пришли, не для распрей,  
для преклоненья колен пред землею,  
для восклицанья: — Прекрасная, здравствуй,  
жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани  
алою влагой? Кем солнце ведомо,  
чтоб в осиянных долинах Арагви  
зрела и близилась алавердоба?  
Кто-то другой и умрет, не заметив,  
смертью займется, как будничным делом..  
О, что мне делать с величием этим  
гор, обращающих карликов в дэвов?  
Господи, слишком велик виноградник!  
Проще в постылой чужбине скитаться,  
чем этой родины невероятной  
видеть красу и от слез удержаться.  
Где еще Грузия — Грузии кроме?  
Край мой, ты прелесть и крайняя крайность!  
Что понукает движение крови  
в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?  
Если рожден я — рожден не на время,  
а навсегда, обожатель и раб твой.  
Смерть я снесу и бессмертия бремя  
не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

И второе — мое:

Сны о Грузии — вот радости!  
И под утро так чиста  
виноградная сладость,  
осенившая уста.

Ни о чем я не жалею,  
ничего я не хочу —  
в золотом Свети-Цховели  
ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во Мцхета  
воздаю хвалу и честь.  
Господи, пусть будет это  
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будет в новость  
и колдует надо мной  
милой родины суровость,  
нежность родины чужой.

Что же, дважды будем живы —  
двух невероятных стран  
речь и речь нерасторжимы,  
как Борис и Тициан.

## ПРОЩАЯСЬ

### С ПАВЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ АНТОКОЛЬСКИМ...

Так вот какова эта ночь на самом деле. Темно, и в мозгу — стороннее причитание безутешного пульса: где ты сейчас, где ты, любовь моя, радость? Там, где твой мальчик в шинели, там, где твоя Зоя, там, где настигну тебя. Но где это? Почему это так непроницаемо для мысли? Или это запекшееся изнывающее место в груди, видимо, главное в ночной муке, и есть твое нынешнее вместилище, твоя запасная возможность быть и страдать?

Давно, трепеща за него и обрываясь, душа уже попадала в эту ночь из предыдущего времени, примеряла к себе ее неподъемность, но в должный час оказалась неопытной, не готовой перенести. И сам он, зимою сидючи со мною на кухне, описывал мне эту ночь, предписывая и утешая, но и вглядываясь в нее особенным взором, стараясь разглядеть, Как тяжек тогда мне был этот взор, а ведь это было счастье: он издалека смотрел на эту ночь, он был жив. Я сказала «Полно, полно! Я не собираюсь доживать до этого!» — чем испугала и расстроила его, и он прикрикнул: «Молчи!»

Вот по его зышло, не по-моему. А я и впрямь не собиралась, не умела вообразить этого. Из нас никто никогда не жил и не обходился без него, этому только предстоит учиться. Мы родились — он обрадовался нам, мы очнулись от детства — он уже ждал, протягивал навстречу руки, мы старились — он благословлял нашу молодость. Мы разнежились в этой длительности, обманчиво похожей на бесконечность. Простое знание, что он — несомненно—чудо, было на стороне не тревоги, а детской надежды: он будет всегда, без него ничего не бывает.



Впервые я увидела его осенью 1955 года: он летел по ту сторону окон, чтобы вскоре влететь. Пока же было видно, как летит: воздев палку, издавая приветственный шум. Меня поразили его свирепая доброжелательность и его хрупкость, столь способная облечь и вытерпеть мощь, пыл, азарт. Он летел, неся деньги человеку, который тогда был молод, беден и захворал. Более с ним не разминувшись, я вскоре поняла, что его положение и занятие в пространстве и есть этот полет, прыжок, имеющий целью отдать и помочь. В его существовании обитала непрестанная мысль о чьей-то нужде и невзгоде. Об этом же были его последние слова дочери Наталии Павловне. Раздаривание — стихов, книг, вещей, взглядов, объятий и всего, из чего он неисчислимо состоял, — вот его труд и досуг, прибыль расточителя, бушующего и не убывающего, как прибор: низвергаясь и множась.

И вот, мыкаясь в этой ночи, до которой довелось-таки дожить, что кажется мне пронырливым, хитроумно-живучим, я считаю все данное им. Без жалости к себе я знаю, что взяла все его дары и подарки, и это единственное, что я для него сделала. Я не удержала его жизни — пусть вычитанием дней из своей. То есть они вычтены, конечно, но уже без пользы для него, наоборот. Долго идя к нему в последний раз, я опоздала на час — навсегда. Почему, пока мы живы, мы так грубы, бестолковы и никуда не успеваем? Он успевал проведать любую простуду и осведомиться о благополучии всех и собаки.

И как сформулировать то, что подлежит лишь художественной огласке? Он это знал, когда писал о Сыне и Зое Бажановой.

Чтобы описать эту ночь, предоставленную нам для мысли о том, что он приходился нам жизнью, это степень нашего родства с ним, — надо писать, а здравого ума пока нет.

Я знаю, что книги остаются. Я убедилась в этом, открывая его книги на исходе ночи, когда преступал уже день, обезображенный его отсутствием, понимаю, конечно, что просто новый день ни в чем не повинный. Он продолжал оставаться чудом: жалел и ободрял, и его обычный голос отвечал мне любовно и внятно.

Я знаю его внуков и правнуков, в которых длится бег его крови.

Знаю, что жизнь его обращена к стольким людям, сколько есть их на белом свете, и это не может быть безответно и бесследно.

Но на самом деле я знаю, что утешения нет.

Октябрь 1978 года

## ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ

...Да, в декабре, теплыни декабря, в жаркий день декабря несколько человек сидели за столом и говорили друг другу добрые слова. Один человек прикрыл глаза рукой и вышел. Он скрывал влажность глаз, но все же сквозь влагу, которой он стыдился, увидел чудный сияющий день, прелесть воздуха и земли, детей, играющих с собакой. Короче говоря, заплакал человек, не знающий, чем отслужить людям и природе их доброту и красоту.

Кто-нибудь спросит: да бывает ли так — теплый декабрь, неожиданная зелень поверх земли, только добрые люди и только дети, играющие с собакой? Так бывает. Тот человек — это была я, и все соучастники того декабрьского дня знали, что все это — совершенная правда. Кто-нибудь спросит: может быть, это в Грузии было? Там в декабре стояли жаркие дни, и там принято говорить друг другу добрые, долгие слова, которые называются тостом. Да, там это было. И вот что сказал мне мой друг и коллега:

— Подлинный тост — это те слова, которые подтверждены сосредоточенностью души на благе и благоденствии человека, о котором ты сейчас говоришь и думаешь. Это твое страстное слово в пользу другого, других. Я верю во все это. Я хочу, чтобы человек раскрывал уста лишь затем, чтобы сказать доброе слово. Если ночью он не спит и глядит в смутный потолок, то лишь затем, чтобы сосредоточить на ком-то другом добрый помысел, сильный, как колдовство; неизбежно охраняющее чью-то

жизнь, чье-то здоровье. А за это, за это — все. За это — приходит в гости ель, и дети томятся в ожидании волшебства, не зная, что оно уже с ними. Ель еще за закрытой дверью, но она уже посылает им свой привет.

Алиса опять и всегда в стране чудес, как в моем и в вашем детстве. «Алиса в стране чудес» — вот еще один подарок — пластинка, выпущенная к Новому году фирмой «Мелодия», пришла ко мне новым волшебством. И как бы обновив в себе мое давнее детство, я снова предаюсь обаянию старой сказки, и помог мне в этом автор слов и мелодии песен к ней Владимир Высоцкий.

Я клоню к тому, что Новый год — это наиболее удобная пора для людей делать друг другу подарки, любоваться друг другом и желать счастья.

29. XII. 1976 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ. Когда на нас глядит поэт 5

### СТИХИ

Сны о Грузии	15	
Грузинских женщин имена	15	
● Смеясь, ликуя и бунтуя...	16	
Абхазские похороны	17	
● Все это надо перешить...	18	
Чужое ремесло	18	
Светофоры	19	
● Ты говоришь — не надо плакать...	20	
● Мне невтерпеж...	21	
Древние рисунки в Хакассии	23	
Кемерово	23	
Цветы	24	
День поэзии	25	
● И снова, как огни мартенов...	26	
Хемингуэй	27	
Новая тетрадь	29	
Старинный портрет	29	
Мазурка Шопена	31	
Вулканы	31	
Садовник	32	

● О, слово точное — полонки!	34
Лунатики	35
● Человек в чисто поле выходит...	35
Зимний день	36
● Влечет меня старинный слог...	38
Снегурочка	39
● Живут на улице Песчаной...	39
Невеста	40
Королева	41
В метро на остановке «Сокол»	42
Бог	44
● Я думала, что ты мой враг...	45
● Глубоким голосом пророка...	46
● Жилось мне весело и шибко...	47
Жалейка	47
Лодка	48
● Вот звук дождя...	49
Твой дом	50
Август	52
Апрель	52
Нежность	53
Несмеяна	54
● В тот месяц май...	56
● О, еще с тобой случится...	56
● Нас одурачил нынешний сентябрь...	58
● Не уделяй мне много времени...	58
Сентябрь	59
Декабрь	64
● Мы растаемся — и одновременно...	65
● Опять в природе перемена...	65
Мотороллер	66
Газированная вода	67
Тоска по Лермонтову	68
Стихотворение, написанное во время бессонницы в Тбилиси	71
Прощание	72
● По улице моей который год...	72
Мои товарищи	73
Маленькие самолеты	76
Магнитофон	77
Сон	79
● Кто знает — вечность или миг...	80
Закливание	80

● Однажды, покачнувшись на краю...	81
Слово	82
Немота	83
Другое	84
Вступление в простуду	84
Воскресный день	85
Сумерки	87
В опустевшем доме отдыха	88
Дождь и сад	90
● Зима на юге...	91
Осень	93
Болезнь	93
Пейзаж	94
Зима	95
Биографическая справка	96
Клянусь	98
Уроки музыки	99
● Четверть века...	101
Свеча	102
Снегопад	102
Метель	103
Симону Чиковани	104
Гостить у художника	105
Зимняя замкнутость	108
Варфоломеевская ночь	111
● Последний день живу я в странном доме...	113
Рисунок	113
Не писать о грозе	114
● Весной, весной, в ее начале	115
● Прощай! Прощай!..	116
Пререкание с Крымом	117
● Мне вспоминать сподручней, чем иметь...	118
Воспоминание о Ялте	119
Семья и быт	120
Описание ночи	122
Описание комнаты	123
Описание удода	124
Описание боли в солнечном сплетении	124
● Случилось так, что двадцати семи...	126
Ночь	127
Плохая весна	128
● Я думаю: как я была глупа...	131
● Так дурно жить, как я вчера жила...	132

● Как долго я не высыпалась...	134
● Бьют часы, возвестившие осень...	137
Снимок	137
● Опять сентябрь...	138
Это я...	139
● Что за мгновенье!..	141
● В той тоске, на какую способен...	142
Лермонтов и дитя	144
Медлительность	145
Андрею Вознесенскому	146
Метель	147
Строка	151
Подражание	152
● Предутренний час драгоценный...	153
☉ Собрались, завели разговор...	154
Дачный роман	155
☉ Как никогда, беспечна и добра...	159
● Я вас люблю, красавицы столетий...	159
Сон	161
Дом и лес	162
● Я завидую ей — молодой...	164
Из цикла «Женщины и поэты»	165
Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине	168
● Глубокий нежный сад...	170
Взойти на сцену	170
● Потом я вспомню, что была жива...	171
Дом	172
Два гепарда	176
● Какое блаженство, что блещут снега...	176
● Прохожий, мальчик, что ты?..	177
Воспоминание	177
Февраль без снега	179
☉ За что мне все это?..	181
☉ Пришла. Стоит...	182
☉ Сад еще не облетал...	183
☉ Завидна мне извечная привычка...	184
☉ Я школу Гнесиных люблю...	185
☉ У тысячи мужчин...	187
Стихотворение, написанное давным-давно	187
☉ Моя машинка — не моя...	188
Москва ночью при снегопаде	189
● Стихотворения чудный театр...	189
Победа	190

Анне Каландадзе	191	
● Я столько раз была мертва...	193	
● Помню — как вижу...	193	
● Я знаю, все будет...	194	
Путник	195	
Путешествие	196	
Ленинград	198	
● Не добела раскалена...	199	
Возвращение из Ленинграда	199	
● Вот не такой...	200	
Роза	201	
Тифлис	203	
Запоздалый ответ Пабло Неруде	204	
● Деревни Бёхово крестьянин...	204	
Луна в Тарусе	205	
Таруса	206	
Приметы мастерской	207	
Памяти Генриха Нейгауза	208	
Переделкино после разлуки	210	
Письмо Булату из Калифорнии	210	
● Покуда жилкой голубою...	212	
Павлу Антокольскому	212	
Сказка о дожде	215	
Озноб	223	
Приключение в антикварном магазине	227	
Экспромт Кобе Гурули	233	
Посвящения Нани	234	
Песенка для Булата	237	
Глава из поэмы	238	
Луг зеленый	242	
Стихи к симфониям Гектора Берлиоза	252	
Моя родословная	260	

## П Е Р Е В О Д Ы

### НИКОЛОЗ БАРАТАШВИЛИ

Мерани 283

### ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ

Поэзия — прежде всего 285

Тебе тринадцать лет 285

Персиковое дерево 286



Мери	287	
Снег	288	
Орлы уснули	290	
Скорее — знамена!	291	
Платаны Шиндиси	291	
● Мир состоит из гор...	292	
Натэла из Цинандали	293	
Из рассказанного луной...	293	
● Все желтое становится желтей...		295

#### ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

● Брат мой, для пенья пришли...	296
---------------------------------	-----

#### ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

Мой Паоло и мой Тициан	297
● Чего еще ты ждешь?...	297
● Как в Каспийской воде...	298

#### СИМОН ЧИКОВАНИ

Начало	299	
Морская раковина	300	
● Две округлых улыбки...	301	
Метехи	302	
Прекратим эти речи на миг	303	
На набережной	304	
От этого порога...	305	
Олени на гуме	306	
Быки	307	
Анания	308	
В Сигнахи, на горе	308	
Гремская колокольня	309	
По пути в Сванетию	310	
Задуманное поведай облакам	311	
Девять дубов	312	
Три стихотворения о Серафите	314	
Сказанное во время бомбежки	318	
Осколки глиняной чаши	319	

#### КАРЛО КАЛАДЗЕ

Жизнь лозы	321	
● С гор и холмов...	324	
● На берегу то ль ночи, то ли дня...		325

- Эти склоны одела трава... 326
- Летит с небес плетеная корзина... 327
- Когда расцеловал я влагу... 327
- Русскому поэту — моему другу 328
- На смерть поэта 329

#### ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

- Корни 330
- Хвамли 331
- Опустевшая дача 332
- Я книжечей, я в гемень книг глядел... 333
- Жаждешь узреть — это необходимо... 333
- Ты увидел? Заметил?... 334
- Далекая Шхелда 334
- Камень 335
- Весна 336

#### ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ

- Память 337
- Я сам не знаю, что со мной... 338
- Из стихов Турмана Торели 338

#### ИОСИФ НОНЕШВИЛИ

- Вот я смотрю на косы твои грузные... 340

#### АННА КАЛАНДАДЗЕ

- Мравалжамнер 342
- Все, что видела и читала... 343
- Ты такое глубокое... 345
- Вот солнце... 345
- В Зедазени 346
- В Шиомгвие 346
- Входила в Гурию каланда 347
- По дороге в Бетанию 348
- Снег аджаро-гурийских гор... 348
- Охотник сумрачно и дерзко... 349
- Звезды 349
- Громче шелести, осина... 350
- Разговор с чиамарией в день Победы 350
- Я слечу, сирень... 351
- Когда прохожу... 353
- О бабочек взлеты и слеты!.. 354

- Я совсем маленькая веточка... 355
- Как пелось мне и бежалось мне... 356
  - О магнолия, как я хочу быть с тобой! 356
  - Молитва змеи 357
  - Татарке девушке 359
  - Бубны 359
  - Что за ночь — по реке и по рошам!.. 360
  - Я тебя увенчаю короной... 360
  - Скажи мне, чиамария... 360
  - Свирель поет печально... 361
  - Он безмолвствует... 361
  - Какие розовые щеки... 362
  - Ладо Асатиани 363
  - Долгой жизни тебе, о фиалка!.. 364
  - Облака 364
  - О, пусть ласточки обрадуют нас... 364
  - Тень яблони... 365
  - Перекликаются куропатки... 365
  - Тута 366
  - Когда наступит ночь... 367
  - Что делает весна... 367
  - О ты, чинара... 368

#### АРЧИЛ СУЛАКАУРИ

- Опять нет снега у земли... 369

#### МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

- Я и ты 370
- Гагра 370
- Пан 372
- Из непосланного письма 373
- В поезде 373
- Продолжение следует 374
- 31 декабря 374
- Соблюдающий тишину 375
- Конец охотничьего сезона 375
- С тех пор 375
- «О милая!» — так я хотел назвать... 376
- Лирический репортаж с проспекта Руставели 376
- Дачная сюита 377
- Когда бы я, не ведая стыда... 378
- Северная баллада 378
- Очки 379

● В ночи непроходимой, беспросветной...	379
Ностальгия	380
● Он ждал возникновенья своего...	381
Масштабы жизни	381
● Когда я целую тебя...	382
Северный пейзаж	382
● Родное — я помню немало родных...	382
Стихотворение с пропущенной строкой	383
Песня	384
● Когда б я не любил тебя — угрюмым...	384
● Я, человек, уехавший из Грузии...	385
Посвящение	385
Бегство от тебя в Мцхету	386
● Домик около моря ..	387
На смерть Э. Хемингуэя	387
Тийю	388

#### ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ

Солнечный зимний день	389
Петергоф	390
● Да не услышишь ты...	391
● Колокола звонят...	392

#### ОТАР ЧИЛАДЗЕ

Снег	393
● В быт стола, состоящий из яств и гостей...	394
● Я попросил подать вина и пил...	395
Шел дождь...	396
Пицунда	397
Бессонница	398
● Бог памяти...	399
Первый день осени	399
Комната	399
Сон	400
Бело поле	400

#### МОРИС ПОЦХИШВИЛИ

Ферзевый гамбит	402
-----------------	-----

#### ИЗА ОРДЖОНИКИДЗЕ

● Вот слово — оскудевшее...	403
-----------------------------	-----

## *ИЗ АБХАЗСКОЙ ПОЭЗИИ*

### **БАГРАТ ШИНКУБА**

- Слово 405
- Для выгоды бренного тела... 406
- Завещание 407
- Как я желал осилить перевал... 408
- Слышу голос... 408
- Жажда 409
- Этот месяц зовется июлем... 410
- От Сухуми до Члоу 411
- Не старая, но странная она... 413

### **ИВАН ТАРБА**

- Кто что умеет... 415
- Отправляясь в Сухуми... 416

## *ИЗ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ*

### **ОВАНЕС ТУМАНЯН**

- Никто в ночи не ведает... 417
  - Не проси меня петь... 417
- Изгнанник я, сестрица 418
- Сестра моя, иди своей дорогой... 419
- Экспромт 419
- Явился из снегов... 420
- Моя песня 421
- Прощальный взгляд Сириуса 421

### **АВЕТИК ИСААКЯН**

- Бледная осень в садах... 423
- В небесах: курлы-курлы... 423
- Шел бедуин, и в мираже... 424
- На яхонтовых, золотых... 424
- Я утром видел голубя... 425

### **СИЛЬВА КАПУТИКЯН**

- Та женщина... 426

## *ИЗ БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ*

### **КАЯСЫН КУЛИЕВ**

- Лунный свет 427
- Прислушайся к словам 428

Мы слушали музыку	429	
Белизна зимней ночи	430	
Сон зимней ночью	430	
Тишина	430	
Чска	431	
Веселые люди	433	
● Как много в городе людей!..	434	
● Деревья, вы—братья мои...	435	
Стихотворение, написанное в больнице		435
Говорю в пути	436	
● Что бы ни делалось...	436	

### ПРОЗА

Воспоминание о Грузии	439	
Поэзия — прежде всего	440	
Отрывок	444	
«Прекратим эти речи на миг»	445	
Анне Каландадзе	449	
Стихотворение, подлежащее переводу..		450
Грузинская поэзия всегда будет со мной		453
К тайне первоначального звучания	457	
На сибирских дорогах (отрывок из рассказа)		459
Вечное присутствие	461	
Чудная вечность	467	
Здесь он ходил...	470	
Пушкин. Лермонтов...	472	
Лермонтов	478	
Чудо танца	517	
Сначала — музыка...	521	
Слово, равное поступку	522	
Жизнь Тициана длится...	524	
Прощаясь с Павлом Григорьевичем Антокольским...		527
Однажды в декабре	529	

**АХМАДУЛИНА БЕЛЛА АХАТОВНА**  
**СНЫ О ГРУЗИИ**

Редактор **Л. Шахназарова**  
Художественный редактор **А. Сарчимелдзе**  
Технический редактор **А. Якимова**  
Корректор **И. Ахсахалян**

ИБ — 312

Сдано в набор 21.06.1978 г. Подписано в печать 10.04.1979 г.  
УЭ 05937, Формат 84×108 1/32. Бум. тип. № 1. Гарнитура  
литературная. Печать высокая. Усл.-печ. л. 28,56. Уч-изд.л.  
25,22. Тираж 40.000 экз. Заказ № 2400.

**Цена 2 р. 70 к.**

Издательство «Мерани». 380008 Тбилиси, пр. Руставели, 42. Тбилис-  
ская книжная фабрика Госкомиздата ГССР. 380059 Тбилиси, пр.  
Дружбы, 7.

ბელა ახაბის ასული ახმადულინა  
სიზმრები საქართველოზე  
(რუსულ ენაზე)



